

SlavVaria

1

2022

PTE BTK Szlavisztika Intézet

SlavVaria

1/2022

SlavVaria

1/2022

Szerkesztette

Bockovac Tímea, Komjáti Diána, Wolosz Robert

Pécs

2022

SlavVaria



A Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészeti- és Társadalomtudományi Kar
Szlavisztika Intézetének
folyóirata

Szerkesztőbizottság
Editorial Committee

Blazsetin István, Blazsetin Vjekoslav, Bockovac Tímea,
Komjáti Diána, Kovács Ekaterina, Povarnyicina Marina,
Pozsgai István, Végh Andor, Wolosz Robert

Főszerkesztő
Editor-in-Chief
SZABÓ TÜNDE

Technikai szerkesztő
Technical and Layout Editors
Pozsgai István, Wolosz Robert

HU ISSN 2786-2550 (Online)
HU ISSN 2786-2569 (Print)

A cikkeket a következő e-mail címre küldjék
Articles should be sent to the following e-mail address
slavvaria@pte.hu

TARTALOMJEGYZÉK

FÓKUSZBAN: Ju. M. Lotman (1922–1993)

Кузовкина Татьяна Дмитриевна: Лотман и Гуковский. Диалог в историко-культурном контексте	9
Ужаревич Йосип: Взрыв и время	21
Вершич Саня: Заметки о сознании культуры в семиотическом наследии Юрия Лотмана	33
Кроо Каталин: К вопросу концептуализации бинарных оппозиций и «противоречий» в семиотике литературы Ю. М. Лотмана	45
Тюпа Валерий Игоревич: Место Лотмана в становлении нарратологии.....	59

IRODALOMTUDOMÁNY és KULTUROLÓGIA

Дуккон Агнеш: Заметки к переписке Н. М. Карамзина в контексте сравнительной литературы	71
Бержайте Дагне: Проблема представления материнства в русской литературе XIX века	85
Александрова Мария Александровна: Стихотворение Давида Самойлова «Поэт и гражданин» в свете рецепции «Войны и мира» Льва Толстого	93
Kalafatics Zsuzsanna: Идеиный контекст повести Владимира Сорокина «День опричника».....	105
Иоскевич Ольга Александровна: Аксиологический релятивизм понятий «норма» и «отклонение» и его проявление в литературе переходных эпох	115
Уразаева Куралай Бибиталыевна: Коммуникативная онтология А. Пушкина в одесской лирике. «Впечатленья бытия» и текст как инобытие автора	129
Кравець Лариса Вікторівна: Метафоризація концепту життя в мові української поезії	141
Vegh Andor: Demografski i društveni razvoj Martinaca u 18. i 19. stoljeću	151
Blažetin Vjekoslav: Kolonijalizam u socijalističkom diskursu (1948. – 1953.)	167
Няголова Наталия: Човекът на 60-те – българо-хърватски паралели. Предварителни бележки	181

NYELVÉSZET és SZAKMÓDSZERTAN

Bockovac Timea, Mikić Čolić Ana: Tvorba pandemijskih neologizama u mađarskom i hrvatskom jeziku	193
Dudás Előd: Kajkavska grafija u 18. stoljeću	207
Györfi Beáta: Как мне тебя назвать? Статус глагольных энклитик в текстах русских летописей	217

Ковач Екатерина, Поварницына Марина: Глаголы группы учить, учиться, изучать в аспекте системного подхода на уроках РКИ	231
Лаппо Марина Александровна, Уразбекова Алина Айжарыковна: Интерпретация семантики и функционирования иноязычных элементов в художественном тексте: лингвистический и психолингвистический аспекты	245
Matijević Maja: Gramatika u rječniku na primjeru valentnosti.....	257
Ратайчик Кристина: О фразеологических инновациях в речи детей (на материале русского языка)	273

KÖNYVISMERTETÉS és RECENZIO

Kiš Kristina, Kiš Boris: Silvestar Balić: O Bibliografiji hrvatskih časopisa u Mađarskoj (1989. – 2009.)	285
Blažetin Stjepan: Robert Bacalja, Nikola Benčić: Zlata riba, gradišćanskohrvatska poezija za dicu i mladinu, Hrvatski kulturni i dokumentacioni centar, Eisenstadt, 2021. 288 str.	287
Восковач Тимеа: Ernest Barić: Rječničko blago i pučka kultura Martinaca – Felsőszentmárton szókincse és népi kultúrája	291
Кожабергенова Анель: Жизнь Льва Толстого: опыт прочтения	295
Szymańska Aleksandra: Анатолий Самуилович Собенников: Творчество А. П. Чехова – пол, гендер, экзистенция (Москва, 2021)	301
Комяти Диана: Пути ужасной красоты – идеи, темы, взаимосвязи в мире классической русской литературы	305
Сабо Тюнде: «Феномен затекста». Монография под общей редакцией Т. А. Снигиревой и А. В. Подчиненова. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2021. – 394 с.	311

FÓKUSZBAN: Ju. M. Lotman (1922–1993)

ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА КУЗОВКИНА
(Таллинн, Эстония)

**Лотман и Гуковский.
Диалог в историко-культурном контексте**

Аннотация: В статье 1) дан хронологический очерк отзывов Ю. М. Лотмана об идеях и преподавательской деятельности Г. А. Гуковского: от времени довоенного и послевоенного студенчества до позднейших мемуарных текстов; 2) рассмотрены наиболее значимые сюжеты полемики Лотмана с историко-литературными концепциями Гуковского в области истории русской литературы; 3) введены в научный оборот фрагменты неопубликованных лекций Лотмана 1960 года, ставших основой для его первой монографии в области структурной поэтики. Лекции свидетельствуют о сильном влиянии идей Гуковского о единстве содержания и формы в художественном произведении на структуралистическую теорию Лотмана.

Ключевые слова: Лотман, Гуковский, Карамзин, структурный анализ текста, этапы развития русской литературы

О Григории Александровиче Гуковском (1902–1950) Юрий Михайлович Лотман (1922–1993) узнал еще школьником в 1935 году от своей сестры Лидии Михайловны Лотман, студентки второго курса ЛИФЛИ. Молодой профессор читал лекции по литературе XVIII века, на которые Лидия Лотман приводила и своего младшего брата. Она вспоминала, что постепенно Григорий Александрович полностью овладел «разношерстной» аудиторией и все студенты «с горячим сочувствием и интересом следили за перипетиями идейной борьбы и литературных споров XVIII века». Отметим Лидия Михайловна и особую – «живую и непринужденную» – атмосферу лекций Гуковского: «Поведение Г. А. на лекциях для нас, задавленных учебной дисциплиной и официальной, было выражением духа свободы. [...] Гуковский был в высшей степени наделен талантом лектора: прекрасный голос, личное обаяние, артистизм, тонкое чувство аудитории, мгновенная реакция на скрытые настроения слушателей и способность импровизировать делали его неподражаемым лектором» (Л.М. ЛОТМАН 2007: 101). Лидия Михайловна посещала также семинар и научный кружок по изучению литературы XVIII века, которыми руководил Гуковский. По итогам работы семинара и кружка под редакцией Гуковского в 1939 году был выпущен сборник студенческих работ, в который вошли статьи Ильи Захаровича Сермана, Анатолия Ми-

хайловича Кукулевича, Л. М. Лотман и других (см. УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1939). Друзья Лидии Михайловны часто бывали в доме Лотманов на Невском проспекте (№ 18). Юрий Михайлович позже вспоминал, что именно студенческое окружение сестры повлияло на его профессиональный выбор. Решающим оказалось общение с А. М. Кукулевичем. «Этот блестяще одаренный и обаятельный человек, которому Гуковский сулил исключительное научное будущее, успевший опубликовать несколько статей о Гнедиче в Ученых записках Ленинградского университета и главу в только что тогда вышедшем томе «Истории русской литературы», погиб под Ленинградом в конце 1941 года. [...] Он оказал на меня большое влияние. До этого я собирался заниматься энтомологией. [...] Под влиянием Ефима Григорьевича¹ и Толи Кукулевича у меня пробудился интерес к литературе и – шире – к филологии вообще» (Ю.М. ЛОТМАН 1995а: 6–7).

В 1939 году Лотман поступил на русское отделение филологического факультета Ленинградского университета и сразу попал на лекции Гуковского по введению в литературоведение. По-видимому, уже на первом курсе у Лотмана с Гуковским бывали дружеские разговоры. Об этом свидетельствует фраза из его письма (7 ноября 1940 года) родителям и сестрам из армейской учебной части (Лотман был призван со второго курса в конце октября 1940 года): «Я пришел к выводу, что, если свято выполнять заветы Гуковского, т. е. не рассужд<ать> и не переть на рожон, то служить можно сравнительно легко» (ЛОТМАНЫ 2022: 54). В письмах из армии Лотман называет Григория Александровича Гуком и часто передает ему приветы. Лидия Михайловна вспоминала, как Гуковский, сетуя на отсутствие ученого, «который смог бы достаточно глубоко анализировать творчество Баратынского», вспомнил о Лотмане: «Впрочем, на экзамене мне отвечал мальчик – разбирал „Осень“ Баратынского – он, пожалуй, сможет» (Л.М. ЛОТМАН 2007: 63).

Из переписки сороковых годов очевидно, что Гуковский был для брата и сестры Лотманов главным авторитетом в области теории литературы: они полностью разделяли его постулат о единстве художественной формы произведения и его идейного содержания². В письме от 26 октября 1944 года Юрий Михайлович, по-видимому отвечая на рассуждения сестры о «Прощай, оружие» Хемингуэя (письмо не сохранилось), упрекает ее

¹ Речь идет о Ефиме Григорьевиче Жарницком (? –1941), учителе русского языка и литературы в Петришуле, погибшем в Ленинградском ополчении.

² Ср. с рассуждением Гуковского в монографии «Пушкин и русские романтики»: «А ведь задача исследователя литературы – понять и изучить поэта так, чтобы любой мадригал, любое любовное признание в стихах, если только оно в художественной системе данного поэта является произведением искусства, говорило бы о мировоззрении поэта, о принципах его отношения к действительности, о типе его мысли, сознания, – в применении к художественной структуре – о стиле поэта. Потому что стиль – есть эстетическое преломление совокупности черт мировоззрения» (ГУКОВСКИЙ 1946: 24).

в «страшном преступлении» против «гуковизма» – «отделении художественного в этой книге от философского» (ЛОТМАНЫ 2022: 283).

Из переписки 1940-х годов очевидно, насколько глубоко были усвоены и идеи Гуковского о необходимости рассматривать литературу в тесной взаимосвязи с идеологией, историей, бытом и культурным контекстом в целом. Эти идеи получили подробное развитие в трудах Лотмана и в конечном итоге привели его в середине 1980-х годов к идее семиосферы. Эскизные наброски к позднейшим лотмановским определениям культуры (с различением диахронического и синхронического подходов) присутствуют уже в письмах военного времени: «Каждый, сколько-либо целостный, историч<еский> период мне представляется чем-то вроде единого организма, любую часть которого невозможно понять, не поняв целого, а целое нельзя понять, не поняв предельно большего количества частей. [...] идеи, происходящие, как нам кажется, из идей предыдущих периодов (связи и влияния, конечно, есть), на самом деле происходят из сущности самого историче<ского> периода. [...] Невозможно понять эпохи (а без этого любая ист<орическая> наука немислима), не зная, напр<имер>, женских мод, бытовых подробностей, не почувствовав того, почему между импрессионистами и дальнобойной пушкой больше связи, чем между импрессионистами и романтиками – между первыми связи как между рукой и ногой, а между вторыми как между моей рукой и рукой римлянина» (ЛОТМАНЫ 2022: 335–336).

На это письмо Лидия Михайловна отвечала: «Я в общем совершенно согласна со всеми положениями, высказанными тобою в письме. Это, конечно, не значит, что это истина, ибо все мы вышли из шинели Гуковского,³ а потому смотрим на вещи одинаково. [...] Конечно, надо знать эпоху, и ты прав: нужно это потому, что литература не райский сад, существующий вне времени и пространства, а сфера идеологии, которая не существует вне других сфер идеологии» (ЛОТМАНЫ 2022: 354).

Пребывание Лотмана в армии затянулось до ноября 1946 года: он был демобилизован по возрасту только в четвертую очередь. Преподаватели Ленинградского университета хлопотали о его скорейшем возвращении. В семейном архиве Лотманов сохранилась справка, написанная рукой Бориса Михайловича Эйхенбаума, в которой профессор, исполнявший в тот год обязанности заведующего кафедрой истории русской литературы, подтверждал, что все сотрудники кафедры присоединяются к характеристике, данной Лотману Гуковским, и ходатайствуют о скорейшем возвращении его из армии (см. ЛОТМАНЫ 2022: 432).

Гуковский вернулся из эвакуации летом 1946 года и возобновил работу в Ленинградском университете и Пушкинском доме. И уже в сентябре

³ Отсылка к популярной фразе «Все мы вышли из гоголевской „Шинели“», приписываемой, в том числе и самим Гуковским, Ф. М. Достоевскому (см. ГУКОВСКИЙ 1959: 348).

1946 года появились первые признаки кампании, направленной на «идеологическое разоблачение» ученого. В «Литературной газете» была опубликована статья о выступлении Гуковского на Пушкинских чтениях, транслировавшемся по радио. Автор – Я. Е. Эльсберг, известный своими доносами на коллег и причастностью к их арестам, – обвинял Гуковского в искажении учения «великих революционных демократов».⁴ Лотман из армии написал сестре: «[...] с огорчением прочел заметку, в которой какой-то болван Эльсберг очень поверхностно и грубо ругает Гука за лекцию о Евгении Онегине» (ЛОТМАНЫ 2022: 495).

В декабре 1946 года Лотман восстановился в университете на втором курсе: «Надо было определять семинар. Общим кумиром студентов был Г. А. Гуковский. Я продемонстрировал самостоятельность и не пошел к Гуковскому, а записался к тогда еще числившемуся среди молодых профессоров и не пользовавшемуся такой популярностью Н. И. Мордовченко. Но у Мордовченко, который занимался Белинским, я взял тему по Карамзину – то есть по теме Гуковского, не думая, что это кого-либо заденет. Но Гуковский, видимо, обиделся» (Ю.М. ЛОТМАН 1995а: 34).

Л. Н. Киселева объяснила лотмановский выбор руководителя семинара разницей трактовок творчества Карамзина у Гуковского и Мордовченко. Для Гуковского был характерен иронично-покровительственный тон в описании мировоззрения и позиции Карамзина, которого он считал консерватором, представителем дворянского сентиментализма (революционный сентименталист – Радищев), «эдаким аркадским пастушком, прячущимся от действительности в эстетизированный мир „приятных“ эмоций и психологических переживаний, чуждающимся реальной жизни и ее жгучих социальных проблем, испугавшимся Французской революции».⁵ Н. И. Мордовченко рассматривал творчество Карамзина без идеологического схематизирования, интересуясь прежде всего его ролью в развитии русской критики и показывая его как значительную фигуру в литературном процессе того времени.

Студенческие работы Лотмана Гуковский высоко ценил и предложил опубликовать две его статьи в сборнике «XVIII век». Первая была посвящена французским источникам статей Карамзина в «Вестнике Европы»

⁴ Эльсберг громил «пустую» концепцию эволюции Онегина, которой Гуковский «[...] пытался, по-видимому, ошеломить своих слушателей и заставить их позабыть о том, чему учили великие революционные демократы. [...] Поставить знак равенства между лишним человеком – Онегиным и „богатырями, кованными из чистой стали с головы до ног“, – значит извратить исторически верное представление о подлинном передовом, героическом человеке прошлого» (ЭЛЬСБЕРГ 1946: 4).

⁵ Доклад на Лотмановском конгрессе, 27 февраля 2022 года. Благодарим автора за возможность ознакомиться с текстом до публикации.

(см. Ю.М. ЛОТМАН 1995а: 34). Вторая представляла собой комментированную переписку масонов Алексея Кутузова и Ивана Тургенева (см. позднюю публикацию Лотман 1963). Рукописи обеих статей пропали при аресте Гуковского.

Усилившиеся идеологические нападки на Гуковского достигли своего апогея весной 1949 года. В рамках «борьбы с космополитами» на собраниях в Ленинградском университете Гуковский, В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум и М. К. Азадовский были обвинены в «чуждых партии и советскому народу» «космополитических и формалистических» взглядах, преклонении перед «буржуазной наукой» (см. подробнее ДРУЖИНИН 2012: 296–336). В одном из выступлений Гуковский был назван «самым воинствующим, самым увертливym противником марксистско-ленинской литературной науки» (см. ДРУЖИНИН 2012: 298). В мае 1949 года Гуковского уволили из университета и из Пушкинского Дома, в июле арестовали, а в апреле 1950 года Григорий Александрович умер от сердечного приступа в московской тюрьме Лефортово. Известно, что Лотман в это время дружески общался с дочерью Гуковского (см. Ю.М. ЛОТМАН 1995а: 51).

«Борьба с космополитами» отразилась и на судьбе Лотмана. Блестяще окончив университет в июне 1950-го года, он не только не был оставлен в аспирантуре, но и не смог найти какую-либо работу в Ленинграде. Случайно узнав о том, что требуются преподаватели в Тартуском учительском институте, Лотман позвонил директору и, несмотря на анкетные данные («национальность: еврей»), был принят на работу. Сразу же по приезду в Тарту Юрий Михайлович параллельно начал работать и лектором-почасовиком в Тартуском университете, а в 1954 году получил в нем штатную должность.

Для Лотмана труды Гуковского по литературе XVIII и XIX веков, работы о творчестве Пушкина и Гоголя были объектом постоянного научного диалога. Не имея возможности в рамках одной статьи реконструировать его во всех подробностях, назовем некоторые значимые сюжеты.

Во-первых, Лотман был не согласен с однозначностью характеристик некоторых деятелей русской литературы XVIII века. Так, например, в третьей главе фактически написанной еще в студенческие годы кандидатской диссертации «Александр Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Николая Карамзина» (см. Ю.М. ЛОТМАН 1951),⁶ где речь шла о восприятии Карамзиным идей Жан-Жака Руссо, Лотман собрал материал, опровергающий утверждение Гуковского о «„дворянской“ аполитичности Карамзина и его „консервативно-идиллическом“ отношении к наследию французского Просвещения» (Ю.М. ЛОТМАН 2000: 464). К этому сюжету Лотман вернулся и в 1967

⁶ Рукопись диссертации хранится в Лотмановском архиве Таллиннского университета.

году в статье «Руссо и русская культура XVIII – начала XIX века», где цитируя высказывание Гуковского о том, что Карамзин «совсем не хочет видеть Руссо – бунтаря, демократа, учителя Робеспьера», отмечал, что это мнение «страдает известной неточностью» и показывал, как Карамзин усваивал и развивал наследие Руссо и Французской революции (см. Ю.М. ЛОТМАН 2000: 195–196).

В 1962 году в пятом томе «Трудов по русской и славянской филологии», посвященном памяти Гуковского и его 60-летию, Лотман поместил программную статью об истоках «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов (Ю.М. ЛОТМАН 1962). Заявив в ней, что литературное развитие этого периода детально изучено и определено как переход от романтизма к реализму, Лотман подчеркнул, что установившиеся представления «не охватывают всех сторон литературной жизни» (Ю.М. ЛОТМАН 1962: 3) и, в частности, не объясняют истоков мировоззрения и творчества Л. Н. Толстого. В статье выдвинут «антигуковский» тезис о необходимости изучения всех без исключения текстов, написанных тем или иным писателем, а не только «работающих» на концепции литературоведов. Отметим, что в лекционных курсах по Гоголю Лотман неоднократно подчеркивал, что для Гуковского не существовало Гоголя – автора второго тома «Мертвых душ», «Рима» и «Выбранных мест из переписки с друзьями» (см. Ю.М. ЛОТМАН 1995b: 64). Лотман показал, что истоки толстовского направления как раз и нужно искать в ряде произведений, оставшихся за рамками утвержденных Гуковским схем литературного процесса – в творчестве позднего Гоголя, позднего Жуковского, в «Анжело» и «Тазите» Пушкина. В поздних работах Лотман характеризовал созданную Гуковским концепцию стадияльного развития литературы как социологическую: она «строилась (под сильным влиянием Гегеля) на том, что в основе искусства полагались идейно-философские структуры. Идея государственности, отраженная в классицизме, сменяется идеей личности, формирующей романтизм, а затем идеей народа – основой реализма» (Ю.М. ЛОТМАН 2010: 30).⁷

Со второй половины 1950 годов Лотман внимательно следил за новыми методологическими поисками в гуманитарных науках. Обсуждал с коллегами книгу Норберта Винера «Кибернетика и общество», дискуссию о структурной лингвистике в журнале «Вопросы языкознания», работы по стиховедению математика Андрея Николаевича Колмогорова, был одним из инициаторов введения в Тартуском университете курса математики для гуманитариев (идея не получила поддержку ректората; см. подробнее ЕГОРОВ 1999: 91–92). В 1960 году заведовавший тартуской кафедрой русской литературы Борис Федорович Егоров вернулся в Ленинград,

⁷ См. подробнее о пересечениях идей Гуковского с идеями Гегеля и Маркса: МАРКОВИЧ 2002.

и Лотман принял его должность. С этого момента начинаются самые известные научные и организационные проекты ученого.

Характерно, что именно в 1960 году появилась первая пушкиноведческая работа Юрия Михайловича – об эволюции построения характеров в «Евгении Онегине», в которой он показал, как «структура образа» героев менялась вместе с эволюцией мировоззрения автора (Ю.М. ЛОТМАН 1960: 168). В этой статье была и критика выводов Гуковского о зависимости человека от среды и, в особенности, утверждения о быте в произведениях Пушкина как о «базе формирования» характеров героев.

Важным этапом научного диалога с Гуковским является упоминание его имени и работ в курсе «Лекций по эстетике», прочитанном Лотманом осенью 1960 года. Этот курс знаменовал собой новый период в научной биографии ученого, впервые обратившегося к теории литературы. 26 сентября 1960 года Лотман писал Б. Ф. Егорову: «[...] читаю курс „Теории“, где крою напролом. [...], Зара все стенографирует – переверну науку!» (Ю.М. ЛОТМАН 2012: 84). Конспекты 13 лекций из этого курса, сделанные супругой Лотмана профессором Зарой Григорьевной Минц, хранятся в Лотмановском архиве Таллиннского университета. Основной пафос лекций – в том, что художественное произведение структурно, что содержание произведения нельзя отделить от формы, что специфика отражения мира в искусстве состоит в том, что это отражение синтетично – «искусство воссоздает мир заново». На основе этих лекций Лотман написал свою первую большую теоретическую работу – монографию по структурной поэтике (Ю.М. ЛОТМАН 1964).

Уже в самых первых лекциях Лотман называл практические работы Гуковского почвой для объединения истории и теории литературы: «Он стрем<ился> подойти к анал<изу> идей через анализ худ<ожественной> ткани. Все миров<оззрение> можно выделить из анализа одного лирич<еского> стих<отворения>. Непоср<едственно> полит<ические> высказ<ывания> (дневн<ики>, письма) – лишь вспомогат<ельный> материал» (ЛЕКЦИИ).⁸

Юрий Михайлович сравнивал писателей как мыслителей и писателей как художников: «Вкусы становятся сознательными. Человек начинает осмыслять свою собственную позицию. И дальнейшая практическая деятельность художника подчиняется его теоретическим взглядам» (ЛЕКЦИИ).

Далее следовал вольный пересказ основных положений книги Гуковского «Пушкин и русские романтики», хотя сама книга и не называлась. Так, например, Лотман соотносил писателя как мыслителя (участника идейных движений) и писателя как художника и разделял миропонимание (иногда он называл его мироощущением) и мировоззрение. Мировоззре-

⁸ Здесь и далее цитируются записи лекций, хранящиеся в Лотмановском архиве Таллиннского университета (шифр и нумерация листов пока отсутствуют).

ние формируется на основе миропонимания, но потом может и управлять им: «Структура произведения оказывается сложным выражением разных идейных тенденций, подчас противоположных» (ЛЕКЦИИ). Подобного рода противопоставление стиля и «суждения, утверждения» было и у Гуковского: «[...] анализ мировоззрения поэта есть в то же время и в специфических условиях анализ его стиля, ибо стиль может оказаться наиболее общим и типическим качеством мировоззрения в искусстве, присутствующим в нем всегда и там, где нет никаких суждений и утверждений» (ГУКОВСКИЙ 1965: 39; первое издание – 1946 год). «Мысль и мировоззрение», по Гуковскому, входят в образную структуру произведения: «Каждый стиль имеет свою идею, сам есть, в конце концов, идея, как и каждый элемент стиля» (ГУКОВСКИЙ 1965: 42).

Лотмановские размышления о природе поэзии Жуковского как о воссоздании душевного мира авторского «Я» являются логическим продолжением концепции романтизма Гуковского. Сравним цитаты:

ЛЕКЦИЯ ЛОТМАНА	КНИГА ГУКОВСКОГО
<p>«Жук<овско>го в этом плане м<ож>но понять, не читая его дневн<иков>, писем, не зная его биограф<афии>, т<олько> из структуры стиха, кот<орая> подчинена лишь одной цели: отражению души. Веществ<енное> значение, об<ыч>но присущее словам, изъято из слов (что оч<ень> не просто!) Стихи его – не окно в мир, а зеркало вн<утри> окна. Лишь душа. Таковы его сущ<ественные>, его эпитеты, его пейзаж («Невыразимое»). Его «прохлада» и «аромат» – не 2 свойства явл<ения>, а 2 чувства авт<орско>го «я», кот<ор>ые м<огут> быть произвольно слиты. Пейзаж – пейзаж души, он – не перед героем, а за ним, ибо обусловлен героем. [...] Мир – цепь моих состояний. [...] Итак, Ж<уковский> воссоздаёт строем своей лирики не мир реальный, а мир авт<орско>го «я» (он не сомневается в сущ<ествова>нии действительно сущ<ествующе>го об<ычно>го мира, но не считает его предметом иск<усст>ва)».</p>	<p>«Сущность и идея стиля Жуковского, его поэзии в целом – это идея романтической личности. Жуковский открыл русской поэзии душу человеческую, продолжив психологические искания Карамзина в прозе и решительно углубив их. Однако дело здесь было не просто в том, что Жуковский открыл новую тему; его тема – это его мировоззрение и его метод. Романтическая личность – это идея единственно важного, ценного и реального, находимого романтиком только в интроспекции, в индивидуальном самоощущении, в переживании своей души, как целого мира и всего мира. Психологический романтизм Жуковского воспринимает весь мир через проблематику интроспекции. Он видит в индивидуальной душе даже не отражение всего мира, а весь мир, всю действительность саму по себе» (ГУКОВСКИЙ 1965: 42).</p>

Утверждая, что «структурная идея произведения» столь же важна, как и логическая, Лотман отсылал к размышлениям Гуковского о поэтике и дидактике в творчестве Василия Жуковского: «Из „дидактики“ Жук<овско>го нельзя понять основного в его творчестве (Гуковский). Из логич<еской> идеи нельзя понять основного или, по кр<айней> мере, многого в иск<уст>ве (Гук<овский>)» (ЛЕКЦИИ).

Следует также отметить, что Лотман в лекциях подробно анализирует стихотворение Баратынского «Осень», то самое, за разбор которого на экзамене по введению в литературоведение похвалил его в 1940 году Гуковский. В монографии 1964 года этот разбор отсутствует, но в дальнейшем Лотман дважды обращался к этому, – по его мнению, центральному в творчестве поэта – стихотворению (см.: Ю.М. ЛОТМАН 1972: 97–99; Ю.М. ЛОТМАН 1994: 394–406).

Таким образом, мы видим, что новый теоретический этап эволюции научного метода Лотмана вырастает в том числе и из переосмысления работ Гуковского, имя которого Лотман неоднократно упоминал в ряду ученых – предшественников структурализма, ставивших вопрос об «изучении внутренней организации художественного текста» (см., например, Ю.М. ЛОТМАН 2018: 99).

В промежутке между лекциями и монографией Лотман познакомился с трудами московских структуралистов и наладил с ними научные контакты, приведшие к созданию Тартуско-московской семиотической школы. Первые варианты монографии Лотман отсылал на рецензию Владимиру Николаевичу Топорову и Исааку Иосифовичу Ревзину. По всей вероятности, общение с московскими структуралистами привело Юрия Михайловича к перечитыванию работ формалистов и в первую очередь – Юрия Николаевича Тынянова, имя которого ни разу не упоминалось в лекциях. Особенно заинтересовала Лотмана концепция Тынянова о динамическом развитии литературного процесса, которую он неоднократно упоминает в монографии. Этим, вероятно, объясняется и тот факт, что в лекциях имя Гуковского было одним из ключевых, его работы подробно реферировались, тогда как в монографии Гуковский упомянут лишь дважды: как представитель «подхода к произведению как к единой, многоплановой, функционирующей структуре» и как автор теории «стадиальности литературного процесса», предшествующей постановке проблемы структурной типологии (Ю.М. ЛОТМАН 1964: 13).

В 1990-е годы в мемуарных текстах Лотмана и его итоговых монографиях неоднократно говорится о лекторском мастерстве Гуковского, «свободной непредсказуемости его устных импровизаций», «несравненном чувстве стиля» (Ю.М. ЛОТМАН 1995b: 61). Лотман восхищался тем, что Гуковский знал наизусть всю поэзию XVIII века и сумел оживить в своих работах литераторов XVIII века, например, Сумарокова. Важнейшее теоретическое достижение Гуковского, по Лотману, – формулирование

«концепции русского литературного процесса» как «динамической системы» и понятия меняющейся в разные периоды доминанты. Но самым значимым для концептуальных построений Лотмана был тот подход Гуковского к тексту, о котором Лотман неоднократно говорил в лекциях 1960 года: «Для него было существенно не то, *что* говорят (под этим понимался тот аспект так называемого «содержания», который можно пере-сказать прозой), а то, *как* говорят – непередаваемая прозой основа поэтического текста» (Ю.М. ЛОТМАН 1995b: 63).

Полемизируя с «некоторыми неточностями и натяжками в концептуальных построениях» Гуковского: уточняя его анализы общественно-политических взглядов литераторов XVIII века, критикуя выборочный анализ текстов для построения теоретических концепций, схематичность социологической по сути стадияльной теории развития литературы и выводы о зависимости человека от среды, Лотман, однако, признавал, что «[...] никто не обладал талантом так вдохновлять, открывать глаза и, главное, вызывать ответную способность исследовательского вдохновения» (Ю.М. ЛОТМАН 1995b: 61).

Интенсивное научное общение студента Лотмана с профессором Гуковским выпало на тот период, когда Гуковский не называл себя формалистом и даже критиковал своих учеников за формализм. Об этом вспоминала, например, Л. М. Лотман. В 1936 году на научном кружке она делала доклад о поэме-сказке XVIII века и ее соотношении с поэмой Пушкина «Руслан и Людмила». Гуковский указал на недостатки работы и раскритиковал автора за описание «самоцельного движения и развития жанра», назвав такой метод формализмом (см. Л.М. ЛОТМАН 2007: 103–104). Критическое отношение к формализму находим и в письме Лидии Михайловны брату весной 1945 года: формалисты «абсолютизировали литературную традицию и изучали исключительно форму, игнорировали содержание» (ЛОТМАНЫ 2022: 355). В поисках новой теории литературы Лотман переосмысливает наследие формалистов, развивая их идеи о единстве содержания и формы в художественном произведении и динамике литературного процесса. Гуковский, с научным творчеством которого Лотман был хорошо знаком, становится первым и самым доступным проводником этих идей. При этом Лотман отделяет в наследии Гуковского формалистические поиски от социологических, продолжая первые и полемизируя со вторыми.

Литература

- ЕГОРОВ 1999 = ЕГОРОВ Б.Ф. Жизнь и творчество Ю.М. Лотмана. Москва, 1999.
ГУКОВСКИЙ 1940 = ГУКОВСКИЙ Г.А. Пушкин и поэтика русского романтизма: Проблема национально-исторического колорита в романтической поэзии // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка / Bulletin de

- l'Académie des sciences de l'URSS. Classe de sciences littéraires et linguistiques. Москва, 1940. [Т. I]. № 2. 56–92.
- ГУКОВСКИЙ 1946 = ГУКОВСКИЙ Г.А. Очерки по истории русского реализма. Саратов, 1946. Ч. 1: Пушкин и русские романтики.
- ГУКОВСКИЙ 1959 = ГУКОВСКИЙ Г.А. Реализм Гоголя. [Под редакцией Г. П. Макогоненко], Москва; Ленинград, 1959.
- ГУКОВСКИЙ 1965 = ГУКОВСКИЙ Г.А. Пушкин и русские романтики. Москва, 1965.
- Л.М. ЛОТМАН 2007 = ЛОТМАН Л.М. Воспоминания, Санкт-Петербург, 2007.
- Ю.М. ЛОТМАН 1958 = ЛОТМАН Ю.М. Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1958. Вып. 63.
- Ю.М. ЛОТМАН 1951 = ЛОТМАН Ю.М. А.Н. Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Карамзина: Автореферат диссертации на соискание степени канд. филол. наук. Тарту, 1951.
- Ю.М. ЛОТМАН 1960 = ЛОТМАН Ю.М. К эволюции построения характеров в романе «Евгении Онегин» // Пушкин: Исследования и материалы. Москва; Ленинград, 1960. Т. 3. 131–173.
- Ю.М. ЛОТМАН 1962 = ЛОТМАН Ю.М. Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1962. Вып. 119. 3–77. (Труды по русской и славянской филологии. [Т.] 5.)
- Ю.М. ЛОТМАН 1963 = ЛОТМАН Ю.М. «Сочувственник» А. Н. Радищева: А.М. Кутузов и его письма к И.П. Тургеневу // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1963. Вып. 139. 281–297. (Труды по русской и славянской филологии. [Т.] 6.)
- Ю.М. ЛОТМАН 1964 = ЛОТМАН Ю.М. Лекции по структуральной поэтике. Вып. 1: (Введение, теория стиха) // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1964. Вып. 160. (Труды по знаковым системам. [Т.] 1.)
- Ю.М. ЛОТМАН 1972 = ЛОТМАН Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Ленинград, 1972.
- Ю.М. ЛОТМАН 1994 = ЛОТМАН Ю.М. Две «Осени» // Ю.М. Лотман и Тартуско-Московская семиотическая школа. [Составитель А. Д. Кошелев]. Москва, 1994
- Ю.М. ЛОТМАН 1995а = ЛОТМАН Ю.М. Не-мемуары. [Запись и публикация Е. А. Погосян] // Лотмановский сборник 1. Москва, 1995. 5–53.
- Ю.М. ЛОТМАН 1995б = ЛОТМАН Ю.М. Двойной портрет. [Запись и публикация Т. Д. Кузовкиной] // Лотмановский сборник 1. Москва, 1995. 54–71.
- Ю.М. ЛОТМАН 2000 = ЛОТМАН Ю.М. Русская литература и культура Просвещения. Составление, подготовка текстов и комментарии Л.О. Зайонц, Л.Н. Киселевой, А.С. Немзера, Е.А. Погосян. Москва, 2000.
- Ю.М. ЛОТМАН 2010 = ЛОТМАН Ю.М. Непредсказуемые механизмы культуры. Подготовка текста и примечания Т. Д. Кузовкиной при участии О.И. Утгоф. Таллинн, 2010.
- Ю.М. ЛОТМАН 2012 = Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, Б.Ф. Егоров. Переписка 1954–1965. Подготовка текста и комментарии Б.Ф. Егорова, Т.Д. Кузовкиной и Н.В. Поселягина. Таллинн, 2012.
- Ю.М. ЛОТМАН 2018 = ЛОТМАН Ю.М. О структурализме. Работы 1965–1970 годов. Составление, подготовка текста, комментарии И.А. Пильщикова, Н.В. Поселягина и М.В. Трунина. Таллинн, 2018.

- ЛОТМАНЫ 2022 = Лотманы. Семейная переписка 1940–1946 годов. Составление, подготовка текста, предисловие и комментарий Т.Д. Кузовкиной, Л.Э. Найдич, Н.Ю. Образцовой при участии Г.Г. Суперфина. Таллинн, 2022.
- МАРКОВИЧ 2002 = МАРКОВИЧ В.М. Концепция «стадиальности литературного развития» в работах Г.А. Гуковского 1940-х годов // Новое литературное обозрение. 2002. № 55. 77–105.
- УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1939 = Ученые записки Ленинградского государственного университета. № 33. Серия филологических наук. Ленинград, 1939. Вып. 2.
- ЭЛЬСБЕРГ 1946 = ЭЛЬСБЕРГ Я. Онегин в роли декабриста // Литературная газета, 1946. № 40. 28 сентября. 4.

Lotman and Gukovsky. Dialogue in the historical and cultural context.

Article 1) provides a chronological overview of Y. M. Lotman's reviews of G. A. Gukovsky's ideas and teaching activities: from the pre-war and post-war time of study to the latest memoir texts; 2) the most significant plots of Lotman's polemic with Gukovsky's historical and literary concepts are considered in the field of history of Russian literature; 3) fragments of Lotman's unpublished lectures from 1960 are introduced into scientific field as they became the basis of his first monograph in the field of structural poetics. These lectures testify to the strong influence of Gukovsky's ideas about the unity of content and form in works of art on Lotman's structuralist theory.

Keywords: Lotman, Gukovsky, Karamzin, structural analysis of the text, stages of development of Russian literature

ЙОСИП УЖАРЕВИЧ
(Загреб, Хорватия)

Взрыв и время

Аннотация: В статье рассматривается соотношение взрыва и времени в последних книгах Юрия Лотмана. Композиция работы основана на двух исходных ракурсах: один в центр внимания ставит *время во взрыве* (настоящее время), а второй – *взрыв во времени* (прошедшее и будущее время, история). Современная теория не в состоянии логически связать сам взрыв с фазой, непосредственно предшествующей взрыву, а также с фазой, которая следует сразу после взрыва.

Ключевые слова: взрыв, время, настоящее время, история, будущее

1. Идея взрыва

Идею взрыва Лотман в основном разрабатывал в двух последних своих книгах, вышедших уже после его смерти: «Культура и взрыв» (1992) и «Непредсказуемые механизмы культуры» (2010). Борис Егоров утверждает, что «категория взрыва – главное увлечение, главный интерес позднего Ю. М.» (ЕГОРОВ 2010: 209). В данной статье я попытаюсь реконструировать эту идею с точки зрения ее соотношения с проблематикой времени. При этом не надо забывать, что «взрывные» идеи имелись уже у Гегеля (квантитативные и качественные изменения), позже – и у других авторов, напр., у Томаса Куна (смена «нормальной науки» и научных «революций») или Ильи Пригожина («равновесный мир» и «мир неравновесия»).¹ Но и в более ранних работах самого Лотмана нетрудно узнать

¹ Ссылаясь на Гегеля, Лотман более важным считает Витгенштейна и Пригожина: «Еще Гегель различал, как известно, изменения количественные и качественные, указывая, что первые имеют плавный характер, а вторые совершаются скачками. Но для нас важнее тезис Л. Витгенштейна о том, что в пределах логики нельзя описать ничего нового. Эта глубокая мысль разделяет динамические процессы на 'совершающиеся в пределах логики' – предсказуемые и не создающие принципиально нового – и те, которые строгая логика определяет как 'неправильные'. Именно эти последние и генерируют все принципиально новое. [...] Симметричными ('равновесными' в терминологии И. Пригожина) мы будем называть процессы, которые, будучи запущенными в противоположном направлении, возвращают нас к исходной точке. Процессы же, которые при обратном движении или, совершив полный цикл кругового движения, к исходной точке не возвращаются, мы будем называть асимметричными ('неравновесными')» (ЛОТМАН 2010: 143). Отметим также, что сюда примыкают и некоторые термины

концепты поздних его работ, напр., в трактовке несовместимости в художественных текстах (см. UŽAREVIĆ 1984).

Динамику культуры Лотман определяет, с одной стороны, внутренними (имманентными) и внешними факторами (влияниями), а с другой – сменой постепенных и взрывных процессов: «Обе эти тенденции реализуются во взаимном напряжении, от которого они не могут быть абстрагированы без искажения самой их сущности» (ЛОТМАН 1992: 205, 212). Кроме того, границы замкнутого мира семиозиса все время пересекаются с внесемиотической реальностью, и этот обмен образует неисчерпаемый резервуар динамики (ЛОТМАН 1992: 178).

Уподобляя историко-культурную смену постепенных процессов и состояний взрыва колебаниям маятника, Лотман состояние взрыва характеризует как «момент отождествления всех противоположностей. Различное предстает как одно и то же. Это делает возможным неожиданные перемены в совершенно иные, непредсказуемые структуры организации. Невозможное делается возможным. Этот момент переживается как выключенный из времени, даже если в реальности он протягивается в очень больших временных отрезках. [...] Момент этот завершается переключением в состояние постепенного движения. То, что объединялось в одном интегрированном целом, рассыпается на различные (противоположные) элементы. Хотя фактически никакого выбора не было (он был заменен случайностью), ретроспективно прошедшее переживается как выбор и целенаправленное действие. В дело вступают законы процессов постепенного развития» (ЛОТМАН 1992: 245–246).

В процитированном отрывке намечаются два взгляда на взрыв – внутренний и внешний. Внутренний взгляд (аспект) указывает на «взрыв в себе», на его «имманентные» характеристики, а внешний взгляд (аспект) рассматривает взрыв в контексте культурной, научной, общественной истории. При описании взрыва первая точка зрения активизирует понятия типа «уникальность», «отождествление всех противоположностей», «бесконечная информативность», «свобода», «неопределенность», «вневременность», а вторая – «линейность», «непредсказуемость», «случайность», «новизна» («новая реальность»).

2. Взрыв – фактор динамики культуры

Как мы уже отметили, осмысление категории взрыва связано у Лотмана с динамикой культуры, т. е. с ее движением, изменением, развитием. При этом взрыв понимается в первую очередь как явление, относящееся к *культурному времени (истории)*, а не только и не столько к *культурному про-*

«диалектического материализма» – «эволюция» и «революция», «скачок», уже упоминаемый «закон перехода количества в качество (и наоборот)», и др. (ср. РОЗЕНТАЛЬ 1972: 311, 468; СПИРКИН 1983: 488).

странству. Между двумя крайними формами культурной динамики – постепенным развитием и взрывами – помещаются промежуточные формы: циркульное движение, пульсирующее движение и др. (ЛОТМАН 1992: 213–214). Подразумевается, что в истории разные типы подобных процессов «переплетаются и действуют друг на друга, то ускоряя, то замедляя общее движение» (ЛОТМАН 1992: 218).² Хотя и в других местах повторяется мысль о тесной связи указанных тенденций (взрывами обеспечивается *новаторство*, а постепенными процессами *преemptивность*; 1992: 26), Лотман, тем не менее, постепенному и круговому движению предпочитает взрывы и все, что с ними связано: новизну (создание новой информации), творчество, свободу, линейность (а не цикличность), открытость, непредсказуемость. Для него предсказуемое развитие представляется значительно менее существенной формой движения, чем изменения в порядке взрыва (ЛОТМАН 1992: 17). Аргумент, который Лотман при этом использует, не кажется слишком убедительным: он считает, что специфическая черта человеческого коллектива – это «замена циклического движения направленным» (ЛОТМАН 2010: 58).

3. Взрыв в себе. Настоящее время

Логической и реальной основой не только взрывных процессов, но и любых событий, является настоящее время (презент). Дело в том, что только настоящее время следует считать «реальным» в полном значении этого слова, поскольку прошедшее время уже «ушло», а будущего времени «еще нет». Поэтому особенно важной (и интересной) кажется попытка реконструировать лотмановский взгляд на взрыв изнутри – с аспекта его имманентной структуры.

Лотман тесно связывал (и даже отождествлял) взрыв с настоящим временем, поскольку в настоящем потенциально «содержатся все возможности, которые могут совершиться. [...] Взрывные процессы представляют собой реализацию одной из пучка вероятных возможностей. Момент подобной реализации есть вместе с тем и момент исчерпывания неопределенности: на следующем витке событий опять подключается механизм их ретроспективной интерпретации в терминах причинно-следственных связей. – Неисчерпаемость возможностей в момент взрыва придает процессу бесконечную информативность – он не может быть предсказуем» (ЛОТМАН 2010: 48). В цитированном фрагменте следует обратить внимание

² На основе лотмановских наблюдений можно построить следующую схему (иерархию?) типов культурной динамики: стабильность (статика) → циклическое движение (псевдодвижение) → пульсирующее развитие → линейное постепенное движение → линейное взрывное движение (ср. ЛОТМАН 2010: 152; см. и ЛОТМАН 1992: 213–214).

на выражения типа «пучок возможностей», «неисчерпаемость возможностей», «момент реализации», «исчерпывание неопределенности», «бесконечная информативность», «непредсказуемость». Они, как мне представляется, указывают на ряд трудных мест, нуждающихся в дальнейшей разработке. Во-первых, не совсем понятно отношение «пучка возможностей» («пучок» указывает на *ограниченное число возможностей*) и «неисчерпаемости возможностей» (т. е. *неограниченное число возможностей*). Во-вторых, не понятно, почему «неисчерпаемые возможности» взрыва сводятся после окончания взрыва к реализации только «одной из пучка возможностей»? Какая сила препятствует реализации двух, трех или более возможностей, если все они изначально равновероятны? Третий вопрос касается, с одной стороны, «бесконечной информативности», характерной для взрыва, а с другой – предполагаемой «скудной информативности» (или даже не-информативности), характерной для поступательных, пост-взрывных процессов. Проблема эта связана с пониманием «информации» и «информативности». Если информацию определить как «способность данного (сведения) редуцировать неопределенность в системе» (Булчу Ласло), то так понятая информация не соизмерима с «бесконечной информативностью» взрыва. Дело в том, что информативность взрыва – другого порядка, она скорее сопоставима с хаосом, и никоим образом не связана с требованиями и целями обычной коммуникации (см. УЖАРЕВИЧ 2016: 12–13).

Переход от настоящего к будущему «не определяется ни законами причинности, ни вероятностью – в момент взрыва эти механизмы полностью отключаются. Выбор будущего реализуется как случайность. Поэтому он обладает очень высокой степенью информативности. Одновременно момент выбора есть и отсечение тех путей, которым суждено так и остаться лишь потенциально возможными, и момент, когда законы причинно-следственных связей вновь вступают в свою силу» (ЛОТМАН 1992: 28). И здесь возникают те же вопросы. Как мы можем быть уверены в том, что в момент взрыва все возможности равноправны и что только одна из них, чтобы стать «реальной», выбирается совершенно случайно? Лотман утверждает, что «критерий, позволяющий определить процесс как взрывной, [...] заключается в принципиальной непредсказуемости событий. Реализованные и нереализованные события в момент взрыва – варианты, и легко могут заменять друг друга» (ЛОТМАН 2010: 163). Мне более убедительным кажется предположение Б. Ф. Егорова, что «равновероятность почти всегда маловероятна! Чаще всего среди возможностей возникает более сильная» (ЕГОРОВ 2010: 213; см. также УЖАРЕВИЧ 2016: 12–13). Снова касаясь «высокой информативности» взрыва, могу только добавить, что информативность такого рода похожа на начальную ситуацию создания Космоса (сингулярность, Великий взрыв), когда совокупное огромное пространство будущего (настоящего) Универсума было сжато в

бесконечно уплотненную и бесконечно жаркую точку, т. е. когда еще не было ни пространства, ни времени. В определенном смысле ситуацию «создания мира» воспроизводит художественное творчество, особенно в тех случаях, когда оно создает первоклассные артефакты – «конечные модели бесконечного мира».

Неудивительно поэтому, что взрыв изнутри характеризуется как «выключенный (вырванный) из времени» (ЛОТМАН 1992: 245; 2010: 48), как момент, в котором происходит «отождествление всех противоположностей» и «различное предстает как одно и то же», а «невозможное делается возможным». Выходит, что взрыв – это своего рода прото-время, прото-пространство, прото-мир. Выражаясь языком современной космологии, взрывы – это своеобразные черные дыры,двигающие разными формациями (фазами, эпохами) общественно-культурной истории...

4. Взрыв в истории. Активизация сознания и памяти

Не менее сложной оказывается попытка понять взрыв как часть временной канвы, состоящей из трех временных модусов (измерений) – прошлого (того, что предшествовало взрыву), самого взрыва (происходящего в настоящем) и будущего (того, что следует за взрывом). С этим тесно связана проблематика предсказуемости и непредсказуемости событий в каждой из рассматриваемых фаз, т. е. предсказуемость процессов до взрыва, непредсказуемость взрыва, предсказуемость процессов после взрыва. Я уже в другой своей работе отмечал, что современная теория не в состоянии удовлетворительным образом объяснить ни звено, которое соединяет взрыв с предшествующим ему моментом, ни звено, непосредственно следующее за взрывом. Здесь, повторяю, намечается глубинное сходство лотмановского взрыва с космологической трактовкой Большого взрыва (УЖАРЕВИЧ 2016: 12).

4.1. Ретроспективный ум историка

Регулярная смена постепенных и взрывных эпох заставляет рассмотреть взаимную их связь в рамках историко-культурных процессов, понимаемых как сложные целостные временные формации.

Когда речь идет о соотношении совершившегося события и временных модусов, Лотман различает две точки зрения: ретроспективный взгляд из будущего в прошлое и взгляд из прошлого в будущее. При этом разные точки зрения решительным образом меняют наблюдаемый объект: «Глядя из прошлого в будущее, мы видим настоящее как набор целого ряда равновероятных возможностей. Когда мы глядим в прошлое, реальное для нас обретает статус факта и мы склонны видеть в нем нечто единственно возможное. Нереализованные возможности превращаются для нас в такие, какие фатально не могли быть реализованы. Они приобретают эфе-

мерность» (ЛОТМАН 1992: 194–195). Из процитированного отрывка все же кажется очевидным, что меняется не самый *объект познания*, а *наш взгляд* на познаваемый объект. На это, по крайней мере, указывает форсированное употребление личных местоимений в вышеприведенной цитате: «когда *мы* *глядим*», «*мы* *видим*», «реальное *для нас* приобретает статус факта», «*мы* *склонны видеть* в нем», «превращаются *для нас*».

История, так же, как и само время, понимается Лотманом как нечто необратимое, линейное, направленное «вперед» («стрела времени», «река времен»). В связи с этим Вяч. Вс. Иванов утверждает, что Лотмана «в истории и движении культуры занимали прежде всего такие процессы, при которых происходит максимальное увеличение количества информации. Отсюда – прямое объяснение непредсказуемости процесса, описываемого как взрыв» (ИВАНОВ 2010: 13). Именно взрывы обеспечивают линейность развития: они всегда являются началом нового этапа, предавая забвению все, что было (ЛОТМАН 1992: 34). Новизна же предполагает непредсказуемость: «Возникновение подлинно нового всегда включает в себя момент непредсказуемости. [...] Создание нового в действительности связано с преодолением сопротивления реально сложившегося традиционного» (ЛОТМАН 2010: 152).

Но дело осложняется тем, что в «естественную» схему временных отношений (старое → взрыв → новое) включаются, уже после того, как взрыв произошел, «неестественные» (вторичные) историографические категории *сознания* и *памяти*.³ Дело в том, что после взрыва включаются «механизмы самосознания», которые переносятся обратно, в момент, предшествующий взрыву, и при этом «реально протекающий процесс заменяется его моделью, порожденной сознанием участника акта» (ЛОТМАН 1992: 33). Результатом маневра *ретроспективной трансформации* является своеобразная фальсификация реальности, поскольку происшедшее провозглашается единственно реальным и неизбежным, не совершившееся – невозможным, а случайное – неизбежным. Кроме того, историк, по Лотману, из понятия «взрыв» исключает момент «информативности», подменяя его «фатализмом». (Отметим еще раз, что «информативность взрыва», несмотря на то, признает ли ее историк или не признает, не может помочь ему справиться даже с непосредственным будущим.) Таким образом, акт фальсификации историка состоит в следующем: антитеза взрывного и предсказуемого агрессивно заменяется понятиями быстрого (энергичного) и медленного (постепенного) (ЛОТМАН 1992: 246).

³ Вспомним здесь строки из стихотворения Тютчева «Певучесть есть в морских волнах...» (1865): «Невозмутимый строй во всем, / Созвучье полное в природе, – / Лишь в нашей призрачной свободе / Разлад мы с нею сознаем. // Откуда, как разлад возник? / И отчего же в общем хоре / Душа не то поет, что море, / И ропщет мыслящий тростник?»

Иначе говоря, историк в глазах позднего Лотмана всеми силами старается аннулировать эффекты взрыва...

Получается довольно сложная ситуация, в которой первичная реальность взрыва «редактируется» моделирующим сознанием и памятью. А именно: то, что произошло, обретает в сознании «новое бытие», поскольку случайность и непредсказуемость заменяются (подменяются!) закономерностью и причинно-следственными связями. Лотман по этому поводу пишет: «Трансформация, которую переживает реальный момент взрыва, будучи пропущен через отборную решетку моделирующего сознания, превращая случайное в закономерное, еще не завершает процесс сознания. В механизм подключается память, которая позволяет вновь вернуться к моменту, предшествовавшему взрыву, и еще раз, уже ретроспективно, разыграть весь процесс. Теперь в сознании будут как бы три пласта: момент первичного взрыва, момент его редактирования в механизмах сознания и момент нового удвоения их уже в структуре памяти. Последний пласт представляет собой основу механизма искусства» (ЛОТМАН 1992: 232).

Исторический процесс видится Лотману как эксперимент, но не как наглядный опыт учителя физики (педагога), который заранее знает результат, а как эксперимент ученого (исследователя), который хочет обнаружить еще неизвестные закономерности (ЛОТМАН 1992: 29). Отрицая телеологичность (целенаправленность) истории, Лотман скептически относится к ретроспективно-вторичному уму историков, которые интерпретируют события, «глядя назад». Но самый большой вред работы историков состоит в том, что сам их подход, основанный на воспроизведении реальных событий в памяти и сознании, *деформирует материал*: «Реальность меняется в зависимости от того, с какой точки зрения мы на нее глядим. Глядя из настоящего в прошлое, мы видим единственную цепь совершившихся событий, глядя в будущее, мы выделяем в этом настоящем пучок равновероятных возможностей» (ЛОТМАН 2010: 47–48). Здесь нетрудно заметить, что историографическая аксиома «Реальность меняется в зависимости от того, с какой временной точки мы на нее смотрим» вполне согласна с важнейшей аксиомой квантовой механики: познавательный объект («реальность») существенным образом зависит от субъекта познания и его исследовательских процедур. Поэтому можно думать, что Лотман не соглашался с положениями квантовой механики...

На другом месте Лотман свою концепцию истории противопоставляет гегелевской. Семиотик отмечает, что в гегелевской концепции нет случайности и что события будущего втайне содержатся в событиях прошлого. История в таком понимании представляет собой эсхатологический миф, поскольку все движется к конечной, пред-положенной цели. Лотман же предлагает модель, в которой «непредсказуемость вневременного взрыва постоянно трансформируется в сознании людей в предсказуемость

порождаемой им динамики и обратно». В такой концепции исторического развития, как мы уже видели, «Господа великого педагога» заменяет «образ творца-экспериментатора, поставившего великий эксперимент, результаты которого для него самого неожиданны и непредсказуемы» (ЛОТМАН 1992: 246–247).

В данном контексте стоит поставить вопрос о смысле (причинах) ретроспекции. Сам Лотман пишет, что «причины, побуждающие культуру воссоздавать свое собственное прошлое, сложны и многообразны» (ЛОТМАН 1992: 196). Но если у историков есть, кроме желания извращать факты, фальсифицировать действительность и манипулировать историей, и другие исследовательские мотивы, напр., любознательность, жажда познания, поиск идентитета, реконструкция происшедшего, исправление ошибок, то тогда при оценке их деятельности надо учитывать и мотивировки такого рода... В конце концов, разве потребность людей в объяснении и осмыслении совокупной реальности, в том числе и феноменов прошлого, не является антропологической универсалией, т. е. одним из существенных определений человека как человека?

Особенно интригующим кажется вопрос о нереализованных в истории возможностях. Когда Лотман утверждает, что реализация одной потенции «может быть охарактеризована как нереализация целого набора других» (ЛОТМАН 1992: 94), он варьирует известное высказывание Спинозы: „*Omnis determinatio est negatio*“. Дело в том, что традиционная история – это история реализованных событий, а не история того, что не реализовано. Кроется ли в таком положении дел какая-нибудь закономерность? Мы уже видели, что в момент взрыва реализованные и нереализованные события считаются вариантами, которые могут заменять друг друга (ЛОТМАН 2010: 163). При этом нереализованные возможности превращаются для пост-взрывного сознания в «фатально» невозможные, т. е. «в такие, какие фатально не могли реализоваться» (ЛОТМАН 1992: 194–195). Поэтому ученый-семиотик предлагает изучать и «потерянные дороги», т. е. «не только то, что произошло, но и то, что не произошло, но могло бы произойти» (ЛОТМАН 1992: 98). Если бы и была разработана научно-исследовательская методология такого рода, она бы, наверно, в историографии открыла пространство дурной бесконечности, потому что число возможных, но нереализованных событий и историй было бы неограниченным. Реальность, может быть, «выбирает» только одну из множества реальных возможностей именно для того, чтобы избежать дурной бесконечности...⁴

⁴ В данном контексте было бы полезно различать, с одной стороны, *нереализованные возможности, которые нереальны (невозможны)* и, с другой стороны, *нереализованные возможности, которые реальны (возможны)*; проще: *нереализованное нереальное* и *нереализованное реальное*. Дело в том, что история реали-

Когда же речь идет о соотношении «эпох непредсказуемости» (взрыва) и «эпох предсказуемости» (постепенного развития), возникает еще одна интригующая проблема. Дело в том, что указанные два состояния культуры, по идее, сменяют друг друга (чередуются), но они могут в культурно-историческом пространстве существовать и синхронно (симультанно): «Последовательная цепь взрывов и постепенных развитий в реальности никогда не существует изолированно. Она погружена в пучки синхронных с ней процессов, и эти боковые влияния, постоянно вмешиваясь, могут нарушать четкую картину чередований взрывов и постепенностей. Однако это не мешает теоретически рассматривать изолированно эту последовательную цепь. Особенно ясно она проявляется в социальных и исторических процессах» (ЛОТМАН 1992: 99–100). Проблема может быть сформулирована так: если взрывы и постепенные процессы существуют синхронно (симультанно) в рамках одного и того же культурного пространства, то как, и почему, формируется прямое (направленное, необратимое) движение культуры – в виде «стрелы времени»? В теории хаоса (теории *нелинейных* динамических систем), именно «боковые влияния» играют ключевую роль в процессах, не позволяя предсказать состояние системы в будущем. Такая ситуация тем более характерна для историко-культурных процессов, которые разворачиваются под влиянием множества непредсказуемых факторов человеческого поведения. Все это значит, что культура на самом деле представляет собой нелинейную динамическую систему и что лотмановскую концепцию взрыва полезно было бы дополнить достижениями теории хаоса.

5. Взрыв и будущее

Несмотря на то, что взрыв в себе представляет нечто непредсказуемое, «вырванное из времени» (до-временное), он, тем не менее, не может быть ни осознан, ни понят вне времени/истории. Дело в том, что, как кажется, взрыв не может стать *нормой истории*. Надо согласиться с Пьером Бурдьё, когда он в своей книге «Наука о науке и рефлексивность» утверждает, что в условиях «радикальной революции» (в нашем случае «взрыва») ставятся под сомнение сами принципы, во имя которых такая

зованных событий (реализованная история), осуществляя только одну из реальных возможностей, по-своему легитимизирует (экзистенциально «оправдывает») не только собственную реализацию, но и нереализацию всех других реальных и, тем более, нереальных возможностей. Важно отметить, что «потерянные дороги» истории, понятия как нереализация реально возможных событий, таким аргументом не обладают... Размышления о реализованной и нереализованной истории не помогают ответить на вопрос всех вопросов: «Почему вообще есть Нечто, а не Ничто?», но не надо забывать, что подобный вопрос можно поставить только с позиции Нечто, а никак не с позиции Ничто.

революция могла бы быть оценена (ср. BOURDIEU 2014: 30–31). Эту мысль можно понять следующим образом: не постепенные процессы оцениваются взрывом, а наоборот, взрыв оценивается постепенными процессами.

Напряженность, которая наблюдается в отношении взрыва и постепенности, следующей за ним, состоит в том, что с точки зрения традиции *возникновение взрыва непредсказуемо*, но взрыв, тем не менее, *должен произойти*. Инерция замедленности, которая характерна для «замкнутой последовательности» (где замедленная динамика порождает образы статики, а эти образы статики в свою очередь замедляют динамичность жизни), указывает на то, что приближается неизбежность взрыва (ЛОТМАН 2010: 162–163). Можно даже говорить о своего рода *предчувствии взрыва*: «эпоха перед взрывом уже освещалась его загорающимся светом» (ЛОТМАН 1992: 101). В связи с этим Борис Егоров отмечает, что в концепции Лотмана «взрыв предполагает усиление временного вектора, направленного вперед, в будущее» (ЕГОРОВ 2010: 214–215). При этом и сам взрыв должен быть подготовлен всей предшествующей ему эпохой постепенности и замедленности. Если же принять представление о будущем как о процессе увеличения информации (ср. ИВАНОВ 2010: 13), то из такого предположения следует парадоксальный вывод: большая информация порождает большую непредсказуемость. Иначе говоря, факт превращения взрыва в постепенность, случайности в фатальность, сингулярности в Космос, и наоборот, остается пока для теоретического ума непреодолимым препятствием.

Литература

- ЕГОРОВ 2010 = ЕГОРОВ Б.Ф. Три последние книги Ю.М. Лотмана как трилогия-завещание // Ю.М. Лотман, Непредсказуемые механизмы культуры. Таллинн, 2010. 207–219.
- ИВАНОВ 2010 = ИВАНОВ Вяч. Вс. Предисловие // Ю.М. Лотман, Непредсказуемые механизмы культуры. Таллинн, 2010. 11–18.
- ЛОТМАН 1992 = ЛОТМАН Ю.М. Культура и взрыв. Москва, 1992.
- ЛОТМАН 2010 = ЛОТМАН Ю.М. Непредсказуемые механизмы культуры. Таллинн, 2010.
- ПРИГОЖИН 1991 = ПРИГОЖИН И. Философия нестабильности // Вопросы философии, 1991. №. 6. 46–52.
- РОЗЕНТАЛЬ 1972 = РОЗЕНТАЛЬ М.М. (ред.). Философский словарь. Москва, 1972.
- СПИРКИН 1983 = СПИРКИН А.Г. Переход количественных изменений в качественные // Философский энциклопедический словарь. Москва, 1983. 488.
- УЖАРЕВИЧ 2016 = УЖАРЕВИЧ Й. Смеховой взрыв – имплозия анекдота // Н.В. Злыднева (отв. ред.), П.В. Королькова, Е.Я. Яблоков (ред.), Категория взрыва в текстах славянской культуры. Москва, 2016. 8–24.

- BOURDIEU 2014 = BOURDIEU P. Znanost o znanosti i refleksivnosti. Zagreb, 2014. Preveo i pogovor napisao Rade Kalanj.
- KUHN 2013 = KUHN Th.S. Struktura znanstvenih revolucija. Zagreb, 2013. Prevela Mirna Zelić.
- UŽAREVIĆ 1984 = UŽAREVIĆ J. Inkompatibilnost // A. Flaker i D. Ugrešić (ur.). Pojmovnik ruske avangarda 2. Zagreb, 1984. 49–65.

Explosion and Time. The article discusses the interrelations between an explosion and time in the latest books by Yuri Lotman. The composition of the article is based on two initial perspectives: one focuses on *time in an explosion* (present tense), and the second focuses on *an explosion in time* (past and future tense, history). Modern theory is unable to logically connect the explosion itself with the phase immediately preceding the explosion, as well as with the phase that follows immediately after the explosion.

Keywords: explosion, time, present, history, future

САНЯ ВЕРШИЧ
(Загреб, Хорватия)

Заметки о сознании культуры в семиотическом наследии Юрия Лотмана

Аннотация: В статье обращается внимание на феномен сознания, к которому Лотман проявляет особый интерес в своих работах по семиотике культуры, и замечается, что понятие сознания является неотъемлемой частью построенных семиотиком метамоделей культуры. Благодаря идеям Лотмана открываются новые возможности в подходе к вопросам культурного сознания.

Ключевые слова: культура, сознание, ум, метамоделей культуры

Введение

Научное наследие Ю. М. Лотмана состоит из многочисленных трудов по истории русской литературы, литературоведению, работ о структурализме и по семиотике культуры. В создании метаязыка описания (текстов) культуры, тартуский ученый опирается, между прочим, на термины топологии, кибернетики и теории информации, работы Вернадского, Лейбница и Пригожина.

Тексты культуры, модели коммуникации, типология культур, внутренняя культурная динамика и сама культура как специфически организованное целое (структура, или 'система', 'устройство', 'механизм'¹) объединяются в научном творчестве Лотмана в теоретико-семиотических моделях культуры и рассматриваются ученым в свете сознания и самосознания. Учитывая метаязык, следует отметить, что он у Лотмана довольно сложен. Если язык у Лотмана – 'знаковая' и 'семиотическая система', то культура – «знаковая система, определённым образом организованная», «исторически сложившийся пучок семиотических систем (языков)» (МАТЕРИАЛЫ: URL). Культура, однако, у Лотмана определяется не только как 'система' (коммуникативная; самоорганизующаяся), но и как 'устройство' (мыслящее; вырабатывающее информацию), 'механизм' (коллективной памяти), 'структура' (мыслящая), 'модель мира' и т.п. Поэтому, на наш взгляд, правильнее говорить о нескольких построенных Лотманом теоретико-семиотических моделях культуры, метамоделей культуры. В них,

¹ Эти термины, так же как и 'код', 'модель' (термин Лейбница), 'моделирование', 'изоморфизм' и др. заимствованы Лотманом из кибернетики, теории информации и топологии.

начиная с текстов культуры, прослеживаются воззрения ученого на сознание культуры, на коммуникативные процессы от 'мыслящего устройства' до 'культурной личности', от семиосферы 'живого организма' до семиосферы 'семиотического универсума' (см. VERŠIĆ 2004). В семиотическом наследии Лотмана наше внимание сосредоточивается на понятии сознания, присущем лотмановским метамоделям культуры.

Тексты культуры

Центральным понятием в лотмановском подходе к культуре является текст культуры, и «его можно определить как 'картину мира' данной культуры», которая «соотнесена всему миру и в принципе включает в себя всё» (ЛОТМАН 2000: 465). В текстах содержится историко-культурная информация, которая кодируется и которая связана с «коренными формами общественного самосознания, организации коллектива и самоорганизации личности» (МАТЕРИАЛЫ: URL). Несмотря на текстоцентричность лотмановской семиотики культуры, в исследованиях (художественных) текстов Лотманом учитывается и сознание как 'контекст': так, нередко в анализах и комментариях находим понятия 'романтическое сознание', 'средневековое', 'народное', 'коллективное', 'бытовое', 'эстетическое', 'литературное' и т. д. Для ученого сознание вторично по отношению к художественной модели, которая «воспроизводит образ мира для данного сознания, ...моделирует отношение личности и мира» (ЛОТМАН 1970: 320). В конце 1960-х – начале 1970-х гг. Лотман саму культуру определяет (и) как 'совокупность текстов' (ЛОТМАН 2000: 434). У Лотмана не только культура отождествляется с текстом, но и любое культурное явление, в том числе и поведение человека, можно 'читать' как текст на данном языке.

Художественный текст, согласно Лотману, является не только носителем информации, но и генератором новых смыслов; он имеет творческую функцию. Но есть еще одна, не менее важная функция текста – функция памяти. Текст – 'конденсатор' культурной памяти. Смысловое пространство, которое создается текстом, «вступает в определенные соотношения с культурной памятью (традицией), отложившейся в сознании аудитории» (ЛОТМАН 2000: 162).

Механизмы культуры в последующих работах Лотмана будут уподобляться механизмам текстов, а культура будет пониматься как «ненаследственная память коллектива» (ЛОТМАН 2000: 487). Культуре приписывается и коллективное сознание, и коллективное бессознательное. В разработанных Лотманом метамоделях культуры, так же как и в текстах, обнаруживаются те же характеристики структуры, которая строится на бинарных оппозициях. Говоря о ее границах, ученый, между прочим, выделяет: границы, которые воспринимаются как разделяющие внутреннее пространство культуры (напр. 'правое' и 'левое' полушарное сознание); границы, разделяющие 'внутреннее' пространство от 'внешнего' (напр. 'наше'

от 'чужого', 'земное' от 'потустороннего'), и границы как места перевода одних сообщений в другие, места «пересечения смысловых пространств, которые порождают новый смысл» (там же: 26). Таким образом, сама культура, будучи 'мыслящим целым', является «творческим сознанием, способным вырабатывать новые мысли» (ЛОТМАН 1992: 35) и хранить информацию. В связи с этим важной является дихотомия 'внешнего языка' с семантикой значений (в обращении к 'другому') и 'внутренней речи' с семантикой смыслов (в обращении к 'самому себе') (БИБЛЕР 1995: 281–282). Ссылаясь на 'внутреннюю речь' Выготского, «отсутствие вокализации», Лотман считает, что «существование особого канала автокоммуникации» (система Я – Я) должно приниматься во внимание в общей системе культуры, «если в качестве отправителя/получателя сообщения рассматривать национальный организм или же человечество в целом» (ЛОТМАН 2000: 168, 425–426).²

Текст ≈ культура ≈ семиотическая модель мира ≈ коммуникация ≈ сознание культуры

Определяя культуру как «всю совокупность ненаследственной информации», как «общую память человечества» или «более узких коллективов», таких как национальные или классовые, Лотман анализирует «сумму составляющих культуру текстов на двух уровнях: как определенные сообщения и как реализацию кодов, при помощи которых... сообщение дешифруется в тексте» (ЛОТМАН 2000: 400). Это, по его словам, позволяет описать типы культуры как 'особые языки', тексты. Если исходить из современных интегральных теорий сознания, в которых исследуются культурные (коллективные) аспекты сознания (УИЛБЕР 2006: GEBSER 1986), то можно заметить, что некоторый культурный код, на языке которого читаются тексты в семиотическом ключе, соответствует некоторому культурному сознанию, трактуемому в ключе интегрального подхода к сознанию. Сами тексты определенного типа культуры, исследуемые Лотманом с семиотической точки зрения, могут рассматриваться с точки зрения коллективного сознания на определенном этапе культурного развития общества.

Лотман определяет культуру и как «систему коллективной памяти и коллективного сознания», которая одновременно «является некоторой единой для данного коллектива ценностной структурой»: культура нуждается в 'самоописании' (самосознании) или «необходимости на определенном этапе ценностно и структурно упорядочить себя как целое» (ЛОТМАН, УСПЕНСКИЙ 1977: 3). На примере текстов русской культуры

² В рассмотрение Лотманом коммуникации в системе культуры и границы – «механизма перевода текстов чужой семиотики на язык 'нашей'» входит и сон – подсознательный текст культуры, «идеальный ich-Erzählung» (ЛОТМАН 2000: 262, 126).

ученый выделяет четыре 'модели мира' – четыре 'типа кода культуры'.³ Эти 'знаковые реальности' можно также понимать как типы культурного сознания. На основании данных моделей мира ученый исследует с точки зрения знаковости, каким образом в типах текстов, относящихся к определенному мировоззрению, отражается моделирование действительности⁴ (ЛОТМАН 200: 400–416). 'Моделирование действительности' и 'систему коллективного сознания' в свете интегрального подхода к вопросам сознания можно интерпретировать как измерение коллективного сознания членов данной культуры, которые создают – или 'моделируют' – свою действительность через язык. С точки зрения интегральных теорий сознания тоже замечается, что в текстах данной культурной эпохи – в восприятии и использовании обществом языковой семантики – отображается особым образом сложившаяся и соответствующая культуре коллективная 'структура' сознания или 'уровень' сознания (GEBSER 1986; УИЛБЕР 2006).

В текстах культуры раскрываются различные типы семиотического моделирования мира (мировоззрения, закодированного в языке/тексте), соответствующего определенному культурному сознанию. Есть моменты, согласно Лотману, когда культура находится «на стадии самосознания», и тогда она «выделяет из себя автомоделирующие тексты и вводит в свою память концепцию самой себя» (ЛОТМАН 2000: 419). Самосознание – самоописание – культуры означает, что она «создает для себя самой собственную модель», самоорганизуется (ЛОТМАН, УСПЕНСКИЙ 1977: 3). Между лотмановскими понятиями текста, культуры, семиотической модели мира, коммуникации и сознания культуры можно поставить знак приблизительного равенства: широко понимаемый Лотманом 'текст' является 'носителем информации', но остается вопрос о том, является ли он с интегральной точки зрения также 'носителем сознания' (VERŠIĆ 2020), который и есть 'генератор новых смыслов'.

Особое внимание Лотман уделяет мифологическим текстам, анализируя в них 'мифологическое сознание', присущее нашим предкам. Мир «глазами мифологического сознания» составляют объекты «одноранговые» (нет понятия иерархии), «нерасчленимые на признаки» и «однократные» (не включаются в общие множества) (ЛОТМАН, УСПЕНСКИЙ 1992: 59). В семиотических исследованиях мифологических текстов

³ Семантический ('символический') тип; синтаксический; асемантический и асинтаксический; семантико-синтаксический.

⁴ Так, например, в семантическом типе 'моделирования действительности' (мировоззрении Средневековья) *мир представляется как слово, а акт творения – как создание знака. Изменения в значении – это... не новые смыслы, а степени смысла в его приближении к абсолюту* (ЛОТМАН 2000: 402). В авангардных же текстах, в которых нет структурированного идеала как идеологической системы из-за отсутствия иерархии ценностей, авангардная переоценка проводится во имя, по словам Лотмана, *оптимальной проекции, осуществления идеала в будущем* (FLAKER 1986: 259–260).

отмечаются те же характеристики сознания, что и в интегрально-теоретических исследованиях мифологического сознания: так, Уилбер отмечает, что в мифологическом мировоззрении нет различия между 'субъективным' (я), 'культурным' (мы) и 'объективным' (это), так как эти пространства еще не разграничены (УИЛБЕР 2006: 89–91).

В мифологическом сознании знаки аналогичны собственным именам. В современном сознании не существует общего значения, напр., слова Fido: «есть множество собак по имени Fido, но они не обладают никаким общим свойством Fidoness 'фидоизм'» (ЛОТМАН, УСПЕНСКИЙ 1992: 60). Ссылаясь на приведенные Якобсоном принципиальные примеры, Лотман указывает на то, что общее значение собственного имени не может быть определено без ссылки на некий код. Оказывается, что в действительности не всегда так бывает, если учитывать 'механизмы' коллективного подсознания. Лотман прав, когда замечает, что «носители современного сознания» реконструируют 'семиозис', присущий мифологическому сознанию, именно по причине «гетерогенности мышления», в котором сохраняются «определенные пласты, изоморфные мифологическому языку» (ЛОТМАН, УСПЕНСКИЙ 1992: 67).⁵

Всякое сознание, согласно Лотману, «включает в себя элементы и того и другого мышления. ...Научное мышление характеризуется преобладанием логических структур, художественное – творческих, а бытовое сознание расположится где-то посередине этой оси» (ЛОТМАН 1992: 112). Значимую роль Лотман отводит акту творческого сознания: это «всегда акт коммуникации... информационного обмена, в ходе которого исходное сообщение трансформируется в новое» (там же: 116). Культурное сознание в период смены парадигм можно отнести к акту творческого сознания, который «есть акт обмена и постоянно подразумевает 'другого': другим как «носителем другого сознания» у Лотмана является другой текст, культурный код, или другая, внешняя культура, образ которой культура должна «интериоризировать... внутрь своего мира» (там же: 117).

Культура как надиндивидуальный интеллект

Память культуры, по Лотману, минимально двуязычна: он относит ее как к структуре человеческого мозга, так и к метамодели культуры, представляющей собой коллективный ум, воплощенный в устройстве. Ученый обнаруживает 'функциональный изоморфизм' между индивидуальным и коллективным интеллектами, акцентируя при этом принципиальную разницу между естественным и искусственным интеллектами. Она содержится в том, что внутренний механизм метамодели культуры является более

⁵ Лотман ссылается также на работу Выготского «Мышление и речь», в которой психологом рассматривается развитие мышления – от детского синкретического и комплексного до мышления в научных понятиях.

сложным, чем 'искусственный интеллект', если учитывать, напр. память или внутреннюю коммуникацию между подструктурами, имеющими «различную скорость завершения динамических периодов». Последние Лотман определяет как «узлы структурной организации» культуры и сравнивает их с «культурными личностями» (ЛОТМАН 2000: 557–567). Исследуя особенности коммуникативного акта и перевода при сравнении культуры – 'надындивидуального интеллекта' с искусственным, ученый обращает особое внимание на сложность коммуникационных связей, т. е. 'шум': «Рост непонимания или неадекватного понимания может свидетельствовать о технических неполадках в системе коммуникаций, но он не может быть показателем усложнения этой системы, способности ее выполнять более сложные и важные культурные функции» (там же: 563). Лотман также сопоставляет индивидуальное сознание с внутренней организацией (устройством) сложной системы в свете творчества и сознания (показательна в связи с этим статья 'Мозг – текст – культура – искусственный интеллект'), задаваясь вопросом о первосознании: «Сознанию должно предшествовать сознание» (там же: 583).

Относительно феномена сознания наше внимание привлекает то, что Лотман в сопоставлении культурного сознания с индивидуальным одушевляет метамодель культуры, опираясь при этом на кибернетические термины. Метамодель изображается как Культура (с прописной буквы), она «изоморфна интеллектуальному миру отдельной личности и как бы повторяет ее на другом уровне структурной организации» (МАТЕРИАЛЫ: URL). Приписывая метамодели культуры человеческие черты, Лотман описывает ее в терминах 'мыслящего объекта', 'мыслящего устройства',⁶ 'мыслящей структуры', 'мыслящего целого', 'интеллектуальной структуры', 'надындивидуального единства', 'интеллектуальной личности', т. е. 'индивидуальности культуры', состоящей из многочисленных 'культурных индивидуальностей'. Словом, Культура – 'надындивидуальный интеллект' (ЛОТМАН 2000: 579).

Культура – «механизм, организующий коллективную личность с общей памятью и коллективным сознанием», и 'сверхиндивидуальный интеллект', имеющий корректирующую функцию – «механизм, восполняющий недостатки индивидуального сознания» (ЛОТМАН 2000: 176; 1992: 44). Культура – культурная личность: «замкнутый... мир с собственной... организацией,... памятью, индивидуальным поведением, интеллектуальными способностями и механизмом саморазвития» (там же: 564); но это не характеристики устройства.

⁶ Кибернетический термин 'устройство' (англ. device, ит. dispositivo) обозначает не только аппарат, 'черный ящик', но и неизвестное внешнему наблюдателю внутреннее устройство, организацию или механизм. Имеются затруднения в переводе на другие языки лотмановского термина 'устройство' (SALUPERE 2015).

Еще одна особенность Культуры как коллективного интеллекта, в отличие от искусственного, – «способность 'сходить с ума'», которая «является хорошим рабочим признаком интеллекта» (ЛОТМАН 2000: 558). Антропоморфизируя культуру как коллективную личность, ученый ее психологизирует. Культура проявляет стыд и страх. Некоторые примеры семиотика: проявление «истерического страха» как «процессы ведьм» в Западной Европе конца XV – середины XVII вв. и «наукобоязнь, страх перед ученым, который рисовался массовому сознанию в образе злокозненного колдуна-мага» (ЛОТМАН 2000: 629). Культура выявляет 'коллективные психозы': революции, войны и с ними связанные коллективные эмоции, периоды смен больших социокультурных парадигм. Лотман обращает внимание на «резкие переломы в человеческой истории; Парадокс... в том, что движение вперед может стимулировать регенерацию весьма архаических культурных моделей и моделей сознания, породить и научные блага, и эпидемии массового страха» (там же: 638).

Внутренняя динамика культуры проявляется, по Лотману, и в ее отношении к внекультурному пространству, куда она и помещает свои страхи, и делает его вместительным своих идеалов. 'Потусторонний мир' в XX веке заменяется подсознанием: царство мертвых средневековой модели мира заменяется в современной культуре проекцией коллективного страха на инопланетян. В связи с этим Лотман точно замечает, что «враждебный античеловеческий мир переносится в космос по всем законам мифологических представлений» (ЛОТМАН 1992: 10).

Достигнув в процессе саморегуляции определённой 'структурной зрелости', Культура самоописывается с помощью метаязыка: «...возникает метауровень, на котором культура строит свой идеальный автопортрет» (ЛОТМАН 2000: 564). Когда идет речь об организации памяти культуры, Лотман саморегуляцию культуры относит к «самоописанию прошлого опыта культуры» (там же: 567). Рассматривая культурное сознание как 'монаду', ученый под самоописанием подразумевает 'саморефлексию' (там же: 639–647).

Сознание семиосферы

Семиосфера как последующая метамодель культуры в 1980-е годы создается Лотманом по аналогии с биосферой Вернадского⁷ – «пространством, заполненным живым веществом» (ЛОТМАН: 1992: 12). Вне семиотического пространства семиозис невозможен: одним из ключевых понятий в метаязыке Лотмана является 'семиотическая граница' – «сумма билингвальных переводческих 'фильтров'», напоминающая «мембрану живой клетки». Семиосфера – «особая структура 'пространства – времени'», внутри которой реализуется «сознательная человеческая жизнь», она

⁷ Имеется также сходство с ноосферой – сферой (раз)ума, в концепции Вернадского – пространством научной мысли.

«континуум, заполненный... находящимися на разном уровне организации семиотическими образованиями». Последними являются тексты, 'личности' – «замкнутые семиотические миры – свободно плавающие в этом пространстве» (ЛОТМАН: 1992: 13; 2000: 259, 645). Метамоделю семиосферы как совокупность частей, которые «входят в целое не как механические детали, а как органы в организм», а также и как совокупность молад, являющихся, независимо от уровня, «и целыми и частями» (ЛОТМАН 1992: 17, 372), близка к метамоделе Уилбера, в которой целые-холоны (сознания низших уровней) в то же время являются частями больших целых-холоархий (сознаний высших уровней) (УИЛБЕР 2006). Семиосфера сама является 'семиотической личностью', но она также состоит из многочисленных семиотических личностей, обладающих «интеллектуальной способностью и входящих в качестве субструктур в различные монады более высоких уровней» (ЛОТМАН 1992: 13; 2000: 643).

В метамоделю семиосферы поздний Лотман вводит понятия 'случайность' и 'непредсказуемость', подчеркивая ее временной аспект: «структурная неравномерность» гетерогенной семиосферы обусловлена «различной скоростью» развития «в различных своих участках; разные языки имеют различное время и различную величину циклов» (ЛОТМАН 1992: 17). В метамоделе семиосферы заметен отход от трактовки культуры как интеллектуального устройства в 'кибернетическом' описании, а также коллективного интеллекта – антропоморфизированной и психологизированной метамоделе культуры. Семиосфера в качестве монады «является генератором новых... не построенных по автоматически действующим алгоритмам, сообщений»; чем больше объект «как текст включает в себя 'случайного', тем непредсказуемее... его поведение в точке бифуркации», в которой оно «приобретает характер сознательного выбора»; при этом, как указывает Лотман, «структура, поднимаясь до интеллектуального уровня, трансформирует случайность в свободу» (ЛОТМАН 2000: 644, 645).

Понятия, которые Лотман вводит в описание семиосферы, уподобляя ее 'живому организму', биологизируя ее, имеют свои аналоги в теории У. Матураны и Ф. Варелы, в понимании учеными границы между системой и средой: семиосфера напоминает самоорганизующуюся и самоподдерживающуюся живую систему в окружающей ее среде. Аналоги находим и в системной теории Н. Лумана. Автореференциальность системы и ее рефлексия соответствуют 'автомодели' и 'коду для самопознания' у Лотмана. Интересно в связи с этим заметить, что, по Лотману, «сфера литературного языка опирается на фундамент самопознания и представляет собой вмешательство индивидуального творческого начала», в то время как «развитие языка не предполагает элемента самопознания как необходимого фактора» (ЛОТМАН 2000: 119). Похоже, возможно и обратное рассуждение. Если природный язык ('первичная моделирующая система') составляет основу литературного языка ('вторичной моделиру-

ющей системы»), то он не может не являться фундаментом творческого начала. У Лотмана, как мы видим, текст, а не язык, является фундаментом самосознания.

У позднего Лотмана, все более интересующегося вопросами творчества в историческом процессе, замечается интерес к открытым системам и неравновесным процессам в работах И. Пригожина. Историю Лотман определяет как «процесс, протекающий 'с вмешательством мыслящего существа'»: это значит, что «в точках бифуркации вступает в действие не только механизм случайности, но и механизм 'сознательного выбора'», а последний – «важнейший объективный элемент исторического процесса». Ученый предлагает «градацию степени интенсивности непредсказуемости: вмешательство случая – вмешательство мыслящего существа – вмешательство творческого сознания» (ЛОТМАН 2000: 350, 351). В сфере истории для культурно-исторического сознания взрыв – «не только исходный момент будущего развития, но и место самосознания» (там же: 23). В сфере искусства для индивидуального сознания смысловой взрыв – синоним к словам вдохновение и озарение.

Вместо заключения

Роль, которую Лотман отводит феномену сознания, обнаруживается во всех его работах по семиотике культуры. Если в метамодели культуры как совокупности текстов – текст и его внутренние закономерности являются основой для описания кода некоторого мировоззрения (культурного сознания), а культура воспринимается как общекультурный текст, то в метамодели культуры как 'мыслящего устройства' изображается 'коллективный интеллект': закрытая система, отличающаяся многоуровневыми процессами коммуникации и асимметрической структурой мозга. Это 'надындивидуальное единство' очерчивается в образе 'культурной личности' – Культуры, характеризующейся сознанием, самосознанием и подсознанием, памятью и эмоциями, собственной психической жизнью.

Если в последующей метамодели культуры, описываемая по аналогии с биосферой, является семиосферой, закрытым семиотическим пространством – живым организмом, то семиосфера, в которую Лотман включает также исторические процессы, предстает как универсум культуры, отличающийся коллективным творческим сознанием. Пространство культуры у позднего Лотмана – открытая система, the universe of the mind или мыслящие миры, которые сравниваются с энергией во Вселенной.

Процессы в пространстве культуры Лотман соотносит с непредсказуемыми процессами на Солнце. Семиосфера «не есть нечто действующее по предначертанным... путям. Она кипит как Солнце»; в семиосфере, как на Солнце, активность происходит «то в неведомых глубинах, то на поверхности и иррадирует энергию в относительно спокойные сферы. ...энергия, выделяемая семиосферой, — это энергия информации, энергия

Мысли» (ЛОТМАН 2000: 275). В определении позднего Лотмана культура – «единая интеллектуальная жизнь человечества», которое – «и планета в интеллектуальной галактике и образ ее универзума» (ЛОТМАН 2000: 390).⁸ В концепции последней метамодели культуры заметно отклонение ученого от 'антропоцентрического' в сторону 'биологического' и 'космического' начал, выход из закрытой системы 'черного ящика' к открытой системе, которая характеризуется обменом информацией с окружающей средой. Но вопрос о том, что с семиотической точки зрения является окружающей средой для открытой семиосферы, остается не до конца выясненным.

Следует отметить еще один момент в лотмановской семиотике культуры. Вводя в семиотику культуры понятие сознания и рассматривая сознание как имманентное объекту исследования – культуре, изучаемой на основании текстов (материализации человеческого сознания), семиотик вносит сложность, которая обнаруживается в размытии грани между внешней и внутренней точками зрения, в «отождествлении... языка объекта и языка описания» (УЖАРЕВИЧ 1982: 30), хотя, по словам ученого, «язык объекта не может выступать в качестве собственного метаязыка» (ЛОТМАН 2000: 449). У Лотмана, однако, находим мысль и о том, что понятия субъективного и объективного «являются порождением определенной культурной... традиции в определенный момент ее развития» (там же: 640). Автор метамодели культуры, какой бы она ни была, в то же время является ее частью, и наоборот – научные точки зрения меняются. Введением в научный дискурс – семиотику культуры – понятия сознания, грань между субъектом и объектом исследования неизбежно стирается. Показательна в этом смысле статья ученого 'Культура как субъект и сама-себе объект', причем замечаем, что сама метамодель культуры автором одушевляется и, таким образом, мифологизируется; воссоздается мифологическое мышление.

Благодаря семиотическому наследию Лотмана по вопросам культурного сознания открываются возможности для дальнейшего исследования, напр. рассмотрения пространства культуры как одного из проявлений единого поля сознания; рассмотрения, с более широкой точки зрения, обмена 'энергией Мысли' (значений и смыслов) в пространстве культуры, читаемой как (мета)текст; перерасматривания вопроса о восприятии метамодели и текста, как структуры, существующей самостоятельно по от-

⁸ Согласно Лотману, исследователь-семиотик (подобно легендарному Мидасу, превращавшему в золото все, к чему прикасался) семиотизирует все, что привлекает его внимание (там же: 154). Если Культура ведет диалог с внесемиотическим миром, которого в самом деле нет, так как ею все семиотизируется (см. ЛОТМАН 1994: 458), то ставится вопрос о том, с кем она ведет диалог (ВЕРШИЧ 2013).

ношению к сознанию человека; и переосмысления субъектно-объектных отношений в современном научном дискурсе.

Литература

- БИБЛЕР 1995 = БИБЛЕР В.С. Ю.М. Лотман и будущее филологии // Лотмановский сборник 1. М., 1995. 278–285.
- ВЕРШИЧ 2013 = ВЕРШИЧ С. Случайность и непредсказуемость в семиотическом универсуме Юрия Лотмана и Умберто Эко // Случайность и непредсказуемость в истории культуры. Сборник. Таллинн, 2013. 116–144.
- ЛОТМАН 1970 = ЛОТМАН Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
- ЛОТМАН 1992 = ЛОТМАН Ю.М. Статьи по семиотике и топологии культуры // Избранные статьи: В 3 тт. Т. I. Таллин, 1992.
- ЛОТМАН 1994 = Ю.М. Лотман и тартуско-московская школа. Сборник. М., 1994.
- ЛОТМАН 2000 = ЛОТМАН Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000.
- ЛОТМАН, УСПЕНСКИЙ 1977 = ЛОТМАН Ю.М., УСПЕНСКИЙ Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры // Труды по рус. и слав. филологии. Т. 28. Вып. 414. Тарту, 1977. 3–36.
- ЛОТМАН, УСПЕНСКИЙ 1992 = ЛОТМАН Ю.М., УСПЕНСКИЙ Б.А. Миф – имя – культура // Избранные статьи: В 3 тт. Т. I. Таллин, 1992. 58–75.
- МАТЕРИАЛЫ = Материалы к словарю терминов тартуско-московской семиотической школы. Тарту, 1999. <http://diction.chat.ru/ukazat.html>
- УИЛБЕР 2006 = УИЛБЕР К. Краткая история всего. М., 2006.
- FLAKER 1986 = FLAKER A. Stilske formacije. Zagreb, 1986.
- GEBSER 1986 = GEBSER J. The Ever-Present Origin. Ohio University Press, 1986.
- SALUPERE 2015 = SALUPERE S. The Cybernetic Layer of Juri Lotman's Metalanguage // Recherches Sémiotiques, 2015. V. 35. № 1. 63–84. DOI: [10.7202/1050987ar](https://doi.org/10.7202/1050987ar)
- UŽAREVIĆ 1982 = UŽAREVIĆ J. O nekim aspektima Lotmanove semiotike // Književna smotra, 47–48. Zagreb, 1982. 28–42.
- VERŠIĆ 2004 = VERŠIĆ S. Kultura kao semiotički problem u djelu Jurija Lotmana. Zagreb, 2004.
- VERŠIĆ 2020 = VERŠIĆ S. Literarna komunikacija v kvantni paradigmi resničnosti in energijska dimenzija jezika // Slavistična revija, 68 (4). 671–691.

Notes on the Consciousness of Culture in the Semiotic Inheritance of Yuri Lotman. In the article, we bring attention to the phenomenon of consciousness for which Lotman shows particular interest in his works on semiotics of culture, and we notice that the concept of consciousness is inherent in metamodels of culture developed by semiotician. Owing to Lotman's precious ideas, new possibilities appear in approaching questions of cultural consciousness.

Keywords: culture, consciousness, mind, metamodels of culture

КАТАЛИН КРОО
(Будапешт, Венгрия)

**К вопросу концептуализации бинарных оппозиций
и «противоречий» в семиотике литературы Ю. М. Лотмана**

Аннотация: В статье продолжается изучение своеобразия концептуализации Ю. М. Лотманом бинарных противопоставленностей в его исследованиях по семиотике культуры. Бинарные оппозиции рассматриваются в контексте различения дуальных и тернарных моделей «в динамике русской культуры» с установкой на литературу (объект изучения) и интерпретацию научного описания (метатекст). В первой части статьи толкуются работы Лотмана–Успенского (1977), Лотмана «О русской литературе классического периода (Вводные замечания)» (1992), а во второй части – в центр внимания ставится материал чтения Лотманом романа в стихах Пушкина «„Евгений Онегин“: Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста» (1975). По ходу изложения понятие бинарности оттеняется в свете определения Лотманом в его «Спецкурсе» механизмов смыслопорождения в целостной семиотической системе литературного текста, подверженных толкованию не просто в понятийном поле «контрастности» и «взаимоисключения», но также в поле «неадекватности», «несовпадения», «разнородности». Происходит переустановка акцента на концептуализацию дифференциального признака, смены условности и возникновения плюральности семиотической системы.

Ключевые слова: Ю. Лотман, бинарные оппозиции, тернарная модель, условность, дифференциальный признак, семиотическая плюральность, «Евгений Онегин»

Введение

В настоящей статье продолжаем разяснять ту специфику семиотического мышления Ю. М. Лотмана, которая сводится к концептуализации культуры и в ней литературы в целом и в отношении отдельных культурных смыслопорождающих механизмов, прибегая к бинарным понятиям и осмыслению семиотических процессов в бинарных оппозициях. В статье «On some aspects of the binary in the context of the ternary and the plural in Juri Lotman's semiotics of literature» (КРОО 2022b) были поставлены в центр толкования совместная работа Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского «Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века)» (1977 г., цит. по: ЛОТМАН, УСПЕНСКИЙ 2002) и обзорная статья Лотмана о русской литературе классического периода (1992 г., цит. по:

ЛОТМАН 2005). Интерес параллельного чтения этих двух работ наряду с тем, что концептуализация бинарности налицо в самых разных текстах Лотмана, заключается в двух моментах. Во-первых, в обоих исследованиях подчеркивается – хотя в более раннем тексте на первый взгляд мимоходом, но в действительности и там с сильным аргументативным весом – разница между дуальными и тернарными системами. Двойная формулировка принципа тернарности в двух текстах позволяет более нюансированно интерпретировать природу тех оппозиций, которые составляют бинарные структуры и которые вместе вырисовывают определенные противоречия, если интерпретировать их в своей симультанности в культурном мышлении изучаемых эпох (рассматривается Средневековье с ранних лет до XVIII века, а затем весь XIX век). Тем самым в свете параллельного чтения указанных двух работ, в сопоставительной перспективе понимания дуальности и тернарности, проливается свет на значительную меру согласованности в двух статьях как в плане концептуализации бинарностей в их действии в русской культуре (теория культуры, отнесенная к объекту изучения), так и в плане применения бинарных понятий как функциональных элементов интерпретации культуры (методологический аппарат метатекстового языка).

Такое родство подходов обращает на себя внимание, указывая на преемственность и самую тесную взаимосвязанность работ 1977 и 1992 гг. Как известно, «раннее» научное наследие Лотмана, куда отчасти причисляют и исследования семидесятых годов, традиционно оценивается как теоретический продукт структуралистского подхода, в котором особое место занимают бинарные оппозиции.¹ Девяностые годы, со своей стороны, воплощают период, когда лотмановское объяснение семиосферического принципа действия культуры уже давно известно как тип концептуализации, достижение которого нередко роднят с идеей сдвига к постструктуралистскому научному мировоззрению и семиотической методологии, как и концепт взрыва радикально переопределяет понимание бинарности.² В таком контексте совместное толкование двух кардинальных

¹ О проблемах генезиса и эволюции тартуско-московского структурализма в работах Ю. М. Лотмана 1960-х и начала 1970-х годов: ПИЛЬЩИКОВ И.А., ПОСЕЛЯГИН Н.В., ТРУНИН М.В. (2018).

² См., например, о теоретическом повороте от структурализма в работе SCHÖNLE 2006: 6; EMERSON 2006. См. далее о том, как в понятии семиосферы «превышаются бинарные категории, свойственные структурализму (и иногда сохраненные в деконструкции)» (SCHÖNLE 2020: xvii). В то же время Шенле утверждает, что понимание Лотманом художественного текста всегда подразумевало динамическую систему соотносящихся бинарных противоположностей, комплексная многоуровневость которой обеспечила определенную степень открытости и варибельности, актуализированной читателями соответственно их собственным референциальным рамкам (SCHÖNLE 2020: xx.). И. Чернов в 1982 г.

статей 1977 и 1992 гг. – одна касается дуальных моделей в русской культуре глобально (семиотика культуры), другая – в более узком литературном континууме охваченной эпохи (семиотика литературы) – имеет огромное значение для выяснения той связности текстов Лотмана и внутренней когерентности всего его научного творчества,³ о которой часто забывается, когда его характеристика сосредоточивается на толковании сдвига как перехода от структуралистской к постструктуралистской (постмодернистской) парадигме мышления. Эти статьи совместно способствуют тому, чтобы дать более нюансированно понять истинную природу бинарностей в типологии культуры и описательной системе Лотмана благодаря тому, что они объясняют дуальные структуры в сопоставлении с триадными конструкциями. Наша цель в настоящей статье – отметить и кратко определить, совсем не претендуя нарисовать полную картину, те важные интерпретационные контексты, в которых могут раскрываться более широкие границы значения бинарных противопоставлений через призму их функционирования в динамике смыслового мира литературного произведения. Проблема бинарностей в этом духе будет вкратце рассматриваться в перспективе толкования Лотманом тернарности, плюрализма, понятий (не)прерывности, условности, дифференциального признака, семиотического единства семантических процессов и художественного текста.

Бинаризм в свете тернарности

В статье Лотмана о русской литературе классического периода (ЛОТМАН 2005) противопоставленные бинарная и тернарная модели представляют собой общие черты в плане определения функции противоположностей как бинарностей с точки зрения их роли в динамике смыслопорождения. Ю. Лотман в основном относит художественное мышление Лермонтова, Гоголя и Достоевского под знак дуальности, в то время

толкует применение бинарных понятий в литературоведении как продукт «современной стадии», когда в противоположность «предшествующим этапам» оперирования понятиями, налицо мышление противопоставлениями. Хотя и нечеткое историческое очертание «стадий» в указанной работе (ведь структурализм уже интенсивно действует в 60-ые годы и немецкая идеалистическая философия как традиция имеет свои упроченные корни в русском мышлении) кажется как минимум амбивалентным, гораздо более важное объяснение применения бинарностей обращает на себя внимание с точки зрения их функционального значения в раскрытии смысла: «ибо смысл явления проясняется не заданием (или приданием) понятию некоторого строгого смысла, а скорее сам смысл возникает на фоне того, что противопоставлено этому явлению, на фоне чего оно существует и в рамках какой традиции воспринимается» (ЧЕРНОВ 2005: 11). Т. Сабо подчеркивает структуралистский принцип бинарностей: SZABÓ 2003: 132.

³ Подробно о внутренней последовательности всего лотмановского научного *oeuvre*'а см. KROO 2020a.

как творчество Пушкина, Толстого и Чехова он интерпретирует под углом зрения тернарной модели. Разница между двумя моделирующими системами основывается на том, что существует ли между полярными полюсами семантической оси (см., напр., грех vs. святость, ад vs. рай) промежуточная полоса, оцениваемая как нейтральная зона, лишенная аксиологического содержания. Парадоксально, что эта третья, промежуточная, нейтральная сфера оказывается маркированной самым ярким способом, так как она получает двойное определение, т. е. двоякую кодировку. Между бинарными мотивами, например *святое* и *грешное*, в нейтральной сфере будет лежать что-то, о чем можно знать в качестве доминантной черты лишь одно, а именно – отрицание и одного и другого качества, воплощаемых полярностями: оно не является ни святым, ни грешным, ни хорошим, ни плохим, ни горячим, ни холодным и т. д. (см. ЛОТМАН, УСПЕНСКИЙ 2002: 89–90). Этот «средний» пласт, представляя собой «мир, который не имеет однозначной моральной оценки и характеризуется признаком существования, оправдан самим фактом своего бытия» (ЛОТМАН 2005: 598), сообщая замысел *обычной* жизни (см., напр., в творчестве Чехова). Нюансируя далее описание промежуточной средней зоны, следует указать на наглядный семантический конфликт между утверждением данной полосы значения *существования* (онтологическое утверждение чего-то), в то время как само содержание этого существования (гносеологическая референция) четко не определено. Поэтому эта сфера тернарной структуры может считаться открытой и продуктивной в семиотическом смысле, так как она может воплощаться в разных формах соотношения означающего и означаемого. Например, «этот мир может оцениваться как мир пошлости, и тогда зло будет принимать облик своего обычного, каждодневного проявления, но он может оцениваться и как мир естественного человеческого существования, мир, который оправдан не добром и не злом, не талантом и не преступлением, не высокой нравственностью и не низкой безнравственностью» (Там же). Это и превращает нейтральную зону в великий резерв потенциальных проявлений характеристик, поступков, мотивов. Созвучна такая черта идее Лотмана и Успенского (2002: 89) о широкой полосе «нейтрального поведения, нейтральных общественных институтов» в реальной жизни западного Средневековья с тернарной структурой. Из такого структурного резерва «развивается система завтрашнего дня» (Там же). Имеется в виду момент будущего в плане исторического процесса. Однако, думая о творчестве Пушкина, Толстого и Чехова, как представителей тернарной модели, должны иметься в виду тексты, в которых представляется «будущее» в рамках смыслопорождающих процессов, которые от настоящего момента (смысл бинарностей) отодвигаются к более открытым смыслам.

Бинарность как семиотическое условие семантизации

Двойная кодировка путем двойного отрицания и открытость, состоящая в неопределенности и, следовательно, в перспективе появления самых разных возможностей семантической воплощаемости, показывают нейтральную зону более продуктивным генеративным пространством, чем полярные пункты (бинарности). Без противопоставленных понятий/мотивов тем не менее не существовало бы и инициирования смысла. Поэтому можно сказать, что функция полярностей состоит в том, чтобы служить *референциальными рамками* для определения смысла. Двойное отрицание в средней зоне иницирует значение в виде двойного (даже если только имплицитного) отрицания как двойственно определяемого отодвижения от полярностей. Тем самым открывается вариативность как обновление благодаря потенциальным новым значениям. Из этого вытекает, что тернарность тоже невозможно объяснить без понятия дуальности: дуальность (как базовое *логическое* противопоставление⁴) следует интерпретировать не просто с точки зрения означаемого (в нашем случае, говоря более широко – содержание концептуализации мира созданием его художественной модели), но и – а это есть первичное – с семиотической точки зрения, т. е. в перспективе *условия знаковой структурированности семантизации*. В этом свете можно сказать, что бинарности (отметим в качестве условных знаков А и Б) служат базовой семиотической рамкой, так как обеспечивают два четких, стартующих референциальных пункта для определения значения (А как противопоставленное смыслу Б и Б как противопоставленное смыслу А). В этом свете в тернарности происходит *удвоение двойственности* в рамках удвоения реляционности (элемент средней зоны встает одновременно как *ни А* в отношении противопоставления элементу Б и *ни Б* как противопоставление элементу А). Этим осложняется система референциальности в сети реляционности, т. е. обогащается ядерная семиотическая структура.

Бинарность в перспективе динамики семантизации и ресемантизации – (не)прерывность

В семиотическом смысле речь идет об инициировании значения и его развертывании, т. е. *динамике смыслопорождения*. Не случайно Лотман и Успенский применяют понятия бинарности и тернарности, занимаясь сменами культурных парадигм в историческом масштабе. В случае дуальной «ценностной ориентации» указываются две модели динамики в смысле трансформации. Отчетливое членение русской культуры приносит возможность такой последовательной смены этапов, в которой проявляется ориентированность на «решительный отрыв от предшествующего». В то же время «новые исторические структуры в русской культуре изучаемого

⁴ Концептуализацию и обзор разновидностей оппозиций см. в статье: DANESI 2012.

периода неизменно включают в себя механизмы, воспроизводящие заново культуры прошлого» (ЛОТМАН, УСПЕНСКИЙ 2002: 88–89). Это может приносить цикличность в ракурсе «регенерации архаических форм» и при смене перспектив толкования понятия «могут наполняться на каждом этапе новым содержанием, в зависимости от того, какова исходная точка развития» (о двух вариантах отношения новой культуры к старому в плане модели ее построения, см. Там же: 92–93). В тернарной модели культурного менталитета непрерывность и поступательность реализуются иначе, когда новое может развиваться из «„неиспользованного” резерва» (Там же: 89).

Остановимся на проблеме внутренней текстовой динамики, которая любопытно толкуется Ю. Лотманом при его функциональном подходе к семантике полярностей. Указывается тип сюжета, которым двигают бинарности (полюсы зла и добра) не в качестве конфликта, а как источник пути к добру через «предельную степень» зла. «Такой путь мыслится как переход от зла к добру, но движение это, осуществляемое человеком, требует сначала достижения предельной степени зла, преломления пути и последующего восхождения к добру» (ЛОТМАН 2005: 596). Для нашего толкования здесь оказывается важным не описание Ю. Лотманом разных сюжетных видов и вариантов, а размышление о превращении полюсов в свое противоположное содержание как о форме активизирующейся между ними динамики. И в этом случае, привязанном к дуальной модели, бинарности толкуются как самые маркированные и действующие моменты смыслопорождения. Они особым образом, выраженным в сюжетосложении, служат активации порождения смысла и трансформации семантики. В одно и то же время действуют рамками смысловой трансформации и являются носителями ее содержания, т. е. выступают семиотическим стержнем процессов ресемантизации.

Противоречие как несоответствие и семиотическая условность

В дальнейшем обратимся к основополагающей работе Лотмана, к вводным лекциям изучения текста «Евгения Онегина» (1975 г., цит. по: ЛОТМАН 1995). Известно, что ученый толкует роман в стихах Пушкина, выдвигая на передний план принцип противоречий и раскрывая их формы многоуровневой структурированности и сложной семантической системности. С.А. Кибальник в статье «„Евгений Онегин” или „Евгений Лотман”» указывает на неудовлетворительность укоренившейся вслед за Лотманом интерпретационной традиции, сводящей главную черту поэтики пушкинского романа к противоречиям. Он критикует отдельные моменты их отождествления и определения в лотмановском исследовании и уже подзаголовком своей статьи причисляет идею о «поэтике противоречий» в «Евгении Онегине» к мифу. В пространство полемики Кибальника с Лотманом (КИБАЛЬНИК 2011), в котором сформулировано много контраргументов против конкретных случаев определения

Лотманом противоречий, мы не намерены вступать. С точки зрения поставленного в нашей статье вопроса важно не изучение конкретного содержания отдельных проявлений типа связи между сегментами текста на разных уровнях, которое ученый именует «противоречиями». Попытаемся подойти поближе к толкованию самого смыслопорождающего механизма так называемых противоречий в целях раскрытия их семиотической природы.

По первому тезисному определению «противоречия» бросается в глаза, что Лотман подводит к одному понятию (ссылаясь на саму пушкинскую констатацию фигурирования в тексте многих «противоречий» – в связи с этим стоит подчеркнуть, что поэт не определяет четко, что именно подразумевает под этим выражением) разнородные поэтические явления:

Это столкновение различных характеристик персонажей в разных главах и строфах, резкая смена тона повествования (в результате чего одна и та же мысль может быть в смежных отрывках текста высказана серьезно и иронически), столкновение текста и авторского к нему комментария или же ироническая омонимия типа эпиграфа ко второй главе: «O rus! *Hor.*; O Русь!». То, что Пушкин на протяжении романа дважды – в первой и последней главах – прямо обратил внимание читателя на наличие в тексте противоречий, конечно, не случайно. Это указывает на сознательный художественный расчет (ЛОТМАН 1995: 409).

В определении наблюдаются разные виды связи: между разными проявлениями характеристики персонажей, между серьезной и иронической модальностями, отождествляемыми как тоны (в бахтинском духе можно было бы также сказать «интонации»), между готовым текстом и метакомментарием, между элементами омонимической двойственности (прием двойного словоупотребления, соположения омонимических мотивов, влекущих за собой появление иронии, которая, однако, создается другим путем, нежели ранее упомянутая резкая смена тона повествования). Общей знаменатель переисчисленных поэтических феноменов, называемых «столкновениями», сводится к *напряжению между семиотическими условиями семантизации*. Многоговорящее объяснение приводится в примечании Лотмана к идее «столкновения текста и авторского к нему комментария»:

Так, к сатирической XLII строфе первой главы, содержащей убийственную характеристику дам большого света («Так недоступны для мужчин, / Что вид уж их рождает сплин»), Пушкин дал примечание, ирония которого рождается из *противоречия тексту* [Наш курсив. – К.К.] строфы: «Вся сия ироническая строфа не что иное, как тонкая похвала прекрасным нашим соотечественницам. Так Буало, под видом укоризны, хвалит Людовика XIV. Наши дамы соединяют просвещение с любезностью и строгую чистоту нравов с этою восточною прелестью, столь пленившей г-жу Сталь (см. Dix ans d'exil)» (VI,

191). К XXVIII строфе первой главы («Бренчат кавалергарда шпоры...») Пушкин в черновой рукописи сделал уникальное примечание: «Неточность. – На балах кавалергардские офицеры являются так же, как и прочие гости в вицмундире и башмаках» (VI, 528). Характерно стремление автора как бы вступить в спор с самим собой вместо того, чтобы устранять противоречия в тексте (Там же).

В первой части сноски под «противоречием тексту» Лотман понимает принцип *несоответствия*. Пушкинское примечание как автотекст внушает, что суть семантики рассматриваемой строфы в ее ироничности, которая проявляется в модальном конфликте. Он как бы критикует дам, но по сути дела, наоборот, приносит им похвалу, подобно тому, как Буало «под видом укоризны» восхваляет французского короля. Ироничность, таким образом, состоит в несоответствии между презентацией отношения к объекту описания (укоризны) и истинным к нему отношением (оценка похвалой). В метакомментарии Пушкиным указывается несоответствие в форме иронии и подчеркивается положительная оценка дам. Он как бы дешифрует код иронии строфы, в то время как Лотман утверждает: пушкинский дискурс противоречит самой интерпретируемой строфе, в которой он совсем не восхваляет женщин, а, по словам ученого, дает им «убийственную характеристику». Убийственность именно в том, что преобладают сегменты как бы положительных или нейтральных качеств, в то время как сам лирический дискурс ориентирован на выражение монотонности и надоедания, чем и действительно «убивается» возможность восхваления дам. Несоответствие, таким образом, в строфе явно налицо, но именно в противоположном смысле, чем это объясняется в пушкинском комментарии, где вместо укоризны подчеркивается действительность похвалы. Пушкинский автотекст и комментируемая онегинская строфа, следовательно, создают обратно-симметрическую связь. Вот это и называется Лотманом противоречием примечания тексту. В то же время, несоответствие текста и метатекста как ироническое «противоречие» оказывается *вполне созвучным* иронической (по выражению Лотмана «сатирической») модальности самой строфы. В итоге можно сказать, что в контексте данной условности (см.: ЛОТМАН Ю.М., УСПЕНСКИЙ Б.А. 1970) *противоречие как несоответствие* получает многократное и осложненное объяснение, которому принадлежит и идея, что в результате структурной (расширение) и смысловой (переоценка) осложнений порождается семантическая согласованность. В конце концов система противоречий в том смысле, как это понимается Лотманом, обеспечивает семантическое единство текста и метатекста.

Во второй части пушкинского примечания приводится слово поэта о неточности детали в строфе («Бренчат кавалергарда шпоры...»), что Лотман считает опять нестертым противоречием, однако и здесь удваивается «противоречие». Во-первых, оно не устраняется из текста, а во-вторых, в со-

отношении текста и метатекста его значение возобновляется, когда Пушкин вступает в спор с самим собой (т. е. противоречит самому себе). Согласно условности данного контекста добавления метатекста к тексту, следовательно, вновь создается созвучность, вырастает семантическое единство из соотношения несоответствий разного типа.

Противоречие, таким образом, понимается как система несоответствий, которые приводят к семантическому единству, т. е. согласованности. Они, по свидетельству первого тезисного определения и элементов дальнейшего изложения в «Спецкурсе», представляют собою разные виды проявлений семиотического конфликта, высказываясь в плане разных инстанций характеристик персонажей, столкновений (за счет динамической смены модальностей, интонации, «тонов», включая и зарождение иронии как формы двойного чтения дискурса) и говоря более широко – в русле многозначностей мотивов (как, например, в случае фонической мотивной пары *rus*–*Русь*, и в случае исходного и перевоплощенного значения мотивов). В эту последовательность встраиваются и система чужой речи («с широкими языковыми и культурными контекстами», ЛОТМАН 1995: 417), точки зрения, как и то, на чем и основывается базовый аргументативный материал Лотмана: как Пушкин «сознательно избегал норм и правил, обязательных не только для романа, но и вообще для всего, что могло бы быть определено как литературный текст» (Там же: 436). Речь идет о внушении произвольной непосредственности, непредсказуемости, *несоответствия* любой нормативности, нарушения элементов ожидаемости, несогласованности кусков, одним словом, – о модели жизни, воплощаемой самим литературным текстом. Художественный текст «Евгения Онегина» претворяет в жизнь модель квази-нелитературности как жизненности за счет систематического повышения литературной условности – мы могли бы подчеркнуть: за счет обогащения, последовательного расширения, умножения *семиотических условий семантизации* путем порождения в тексте целой сети *несоответствий*. Несоответствия дают о себе знать многократно на одном и том же текстовом уровне (характеристика персонажа; модальность; точка зрения; и т. д.), но их системность действует и в межуровневых соотношениях.

Эти несоответствия воплощают не *противоречия* в буквальном смысле слова, по той причине, что они не обязательно несут смысл полярных бинарностей. Наоборот, лотмановский набор аргументативных примеров доказывает, что речь идет о принципе постоянной смены семиотической условности (условности, сообщаемой определенным соотношением «отображающей» и «отображаемой» системы, что и означает *семиотическую условность знакотворчества, в рамках которой происходят процессы семантизации*). На высшем уровне динамической системы условностей – этот вывод можно сделать на основании изложения Лотмана – стоит само «противоречие» между смыслом текста как квази-жизни и смыслом текста как семиосферы с повышенной степенью систематизи-

рованных соотношений и смен разных условностей как плюральной системы. Такое «противоречие», таким же образом, но на высшем уровне семиотической иерархии создает единство текста «Евгения Онегина» подобно тому, как представленное выше соотношение автоматетекстового сообщения, комментирующего о природе иронии XLII строфы первой главы через осложнение структуры «противоречия», т. е. несоответствий, способно создать конечное единство текста и метатекста.⁵

Обратно к функции бинарностей – дифференциальный признак

Обобщая информацию о концептуализации Лотманом «противоречий» в «Евгении Онегине», следует также установить, что хотя в полосу определения данного понятия входят такие отождествления связи соотнесенных элементов, как «контрастное противопоставление», «несовместимость» (Там же: 410), «контрастность», «контрапунктное построение» (Там же: 448), «взаимоисключение» (Там же: 411), указывающие на бинарности, представляющие диаметрально противоположные полярностей, в то же время приводятся такие маркировки, как «несогласованность» (Там же: 395), «несовпадение» (Там же: 447), «неадекватность», «разнородность» (Там же: 448). Эти последние определения более подчеркнуто дают понять, что функциональность описываемой связи тяготеет не к реализации принципа бинарностей, а к привнесению в семантическую систему *дифференциальных признаков*⁶ в русле инициации и продолжения порождения нового смысла⁷ – ср., в контексте парного противопоставления персонажей о «наборе дифференциальных признаков» (Там же: 443).

Принцип «противоречий», согласно общему толкованию «Евгения Онегина» в «Спецкурсе», представляет собою принцип *порождения различий* в процессах порождения, постоянного осложнения и развития смысла. Это принцип постоянного подчеркивания «неадекватности», «несогласованности», «несовпадения», «разрозненности», в сферу которых вписываются и бинарные противопоставления, хотя не только они. Выяс-

⁵ Ср.: «...разорванность, контрастность, контрапунктное построение являются в пушкинском романе средством создания целого, обретающего в читательском восприятии прямо противоположные качества – единства, гармоничности, монологической формы, композиционной законченности» (Там же: 448).

⁶ О проблеме дифференции в контексте *différence* Деррида, см.: MONTICELLI 2007.

⁷ Это лишь одна сторона функции дифференциального признака. Парадоксальным образом его структурирование в то же время содействует и созданию единства текста (см. детально: Там же. Ср. с понятиями «архисемы» (1965 г., цит. по: ЛОТМАН Ю.М. 2018: 78, 96), и «со- и противопоставления» (ПИЛЬЩИКОВ И.А., ПОСЕЛЯГИН Н.В., ТРУНИН М.В. 2018: 15), указывающими на сочетание общих и дифференцирующих элементов. На таком сочетании основывается понимание единства.

нению истинного значения «противоречия» в том широком понимании, как Лотман объясняет комплексную систему многократного и многоуровневого действия механизмов *постоянных взаимопроецированных дифференциаций как устойчивого семиотического условия семантизации* (новые условия – новые условности) и терминологическому уточнению противоречия привлечением к его объяснению указанных выше выражений, которые отдаляются от смысла полярностей, созвучны определению функции дифференциации. Лотман говорит не только о совпадении и несовпадении, но и о «частичном» совпадении (Там же: 447), а также о принципе «дополнительности». А толкуя возникновение «противоречия», механизм порождения его значения, он включает в свое объяснение такие понятия как «резкая смена» (Там же: 409), «разорванность», «нарушение» (Там же: 448), «стилевой слом» (Там же: 444) и т. д. Под «противоречием» в данной перспективе понимается прерывание определенной условности (начиная со смысла одного слова/мотива до полной литературной традиции), отказ от ее действия как предсказуемого и семантически договоренного и через вложение в непрерывность условности слом/смену/несовпадение и т. д. – порождение нового значения. Лотман указывает на плюральность и иерархичность в «Евгении Онегине» семантических аномалий и амбивалентностей (прерывания безусловной действенности поставленных семиотических условностей семантизации и, таким образом, известных форм семантизации при тождественности мотива самому себе), а также указывает на трансформации смыслов и семантическую аддитивность, когда по ходу смен семиотических условностей в процессах семантизации текста они сохраняются, составляя единство текста в открытом плюрализме.

По сути дела Лотман дает семиосферическое толкование текста «Евгения Онегина» в работе 1975 г., которая основывается на материале более раннего его университетского спецкурса. Он указывает на «полиглотизм» текста и на плюральность противоречий, а в рамках их системности – на плюральность бинарностей. Мы можем вспомнить работу 1970 г. «Структура художественного текста», где утверждается: «Взаимоналожение [...] бинарных членений создает пучки дифференциации» (ЛОТМАН 1970: 304), а также сослаться на концепцию семиосферы, которая включает в себя утверждение о мультиплицированности ядерных структур (ЛОТМАН 1984: 12). А в «Спецкурсе» среди «противоречий» и бинарностей в качестве примера обнаруживается проявление хотя и эксплицитно не так называемой, но явно отождествляемой тернарной структуры. Сопоставляя истинный характер Онегина с тем, как Татьяна указана в пушкинском тексте как носитель предсказуемости будущих поступков героя, Лотман подчеркивает:

Распределив между собой и Онегиным роли из известных ей романов, Татьяна тем самым может с уверенностью, как ей кажется, предсказать будущий ход

событий. Герой может быть лишь одним из двух – Ловласом или Грандисоном [...] Если Онегин – Ловлас, «коварный искуситель» и «развратитель», то сюжет определен: «„Погибну”, Таня говорит, / „Но гибель от него любезна”» (VI, 118). Если же он Грандисон, «ангел ли хранитель» – «Твоей защиты умоляю...» (VI, 67). (ЛОТМАН 1995: 447)

То, что Онегин не был ни Грандисоном, ни Ловласом и таким образом он не проходит предвиденные возможности сюжетного пути, так как не намерен ни хранить, ни губить Татьяну, на самом деле Лотман интерпретирует в контексте тернарности, ведь «напротив» обеих возможностей открывается третий вариант, реальность, когда герой «очень мило поступил с печальной Таней», как подчеркивается в «Спецкурсе», «явив при этом „души прямое благородство”» (Там же: 447–448). Двойное отрицание в форме *ни это, ни то* и раскрытие в промежуточной зоне между крайними полюсами нового смысла представляют собой ту логику смыслопорождения, о которой свидетельствует толкование в начале настоящей статьи совместной с Успенским и самостоятельной работы Лотмана. Такая тернарная структура не оставляет за собою сомнения насчет важности инициации процесса смыслопорождения в структурах бинарностей в составе той системы дифференциаций, которая толкуется Лотманом в перспективе поэтики противоречий. Читая в едином контексте указанные в настоящей статье труды Лотмана, не остается сомнения насчет внутренней последовательности научного наследия ученого.

Литература

- КИБАЛЬНИК 2011 = КИБАЛЬНИК С.А. «Евгений Онегин» или «Евгений Лотман», или миф о «поэтике противоречий» в пушкинском романе // Культура и текст, 2011. № 12. 161–182.
- ЛОТМАН 1970 = ЛОТМАН Ю.М. Структура художественного текста. Москва, Искусство, 1970.
- ЛОТМАН 1984 = ЛОТМАН Ю.М. О семиосфере // Труды по знаковым системам, 1984. № 17. 5–23.
- ЛОТМАН 1995 = ЛОТМАН Ю.М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»: Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста // Лотман Ю.М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. Санкт-Петербург, 1995. 393–462.
- ЛОТМАН 2005 = ЛОТМАН Ю.М. О русской литературе классического периода (Вводные замечания) // Лотман Ю.М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958–1993). Санкт-Петербург, 2005. 594–604.
- ЛОТМАН, УСПЕНСКИЙ 1970 = ЛОТМАН Ю.М., УСПЕНСКИЙ Б.А. Условность в искусстве // Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Философская энциклопедия, Т. 5. Под ред. Ф.В. Константинова, Москва, 1970. 287–288.
- ЛОТМАН, УСПЕНСКИЙ 2002 = ЛОТМАН Ю.М., УСПЕНСКИЙ Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) //

- Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. Санкт-Петербург, 2002. 88–116.
- ПИЛЬЩИКОВ, ПОСЕЛЯГИН, ТРУНИН 2018 = ПИЛЬЩИКОВ И.А., ПОСЕЛЯГИН Н.В., ТРУНИН М.В. Проблемы генезиса и эволюции тартуско-московского структурализма в работах Ю. М. Лотмана 1960-х и начала 1970-х годов (Вступительная статья) // Пильщиков И.А., Поселягин Н.В., Трунин М.В. (ред.). Ю.М. Лотман, О структурализме. Работы 1965–1970 годов. Таллинн, 2018. 7–62.
- ЧЕРНОВ 2005 = ЧЕРНОВ И.А. Опыт введения в систему Ю.М. Лотмана // О русской литературе. Статьи и исследования (1958–1993). Санкт-Петербург, 2005. 5–12.
- DANESI 2009 = DANESI M. Opposition theory and the interconnectedness of language, culture, and cognition // *Sign Systems Studies*, 37 (1/2). 11–42. DOI: [10.12697/SSS.2009.37.1-2.02](https://doi.org/10.12697/SSS.2009.37.1-2.02)
- EMERSON 2006 = EMERSON C. Pushkin's „Andzhelo”, Lotman's insight into it, and the proper measure of politics and grace // Schönle A. (ed.) *Lotman and cultural studies: Encounters and extensions*. Madison: The University of Wisconsin Press, 2006. 84–111.
- KROÓ 2022a = KROÓ K. Lotman and literary studies // Tamm M. and P. Torop (eds.). *The companion to Juri Lotman. A semiotic theory of culture*. Bloomsbury Academic, 2022. 350–366. DOI: [10.5040/9781350181649.0035](https://doi.org/10.5040/9781350181649.0035)
- KROÓ 2022b = KROÓ K. On some aspects of the binary in the context of the ternary and the plural in Juri Lotman's semiotics of literature On the Conceptualisation of Binary Oppositions and „Contradictions” in Juri Lotman's Semiotics of Literature // *Neohelicon*, 2022, 49. vol. 2. (в печати).
- MONTICELLI 2012 = MONTICELLI D. Challenging identity: Lotman's „translation of the untranslatable” and Derrida's différance // *Sign Systems Studies*, 40 (3/4). 319–338. DOI: [10.12697/SSS.2012.3-4.04](https://doi.org/10.12697/SSS.2012.3-4.04)
- SCHÖNLE 2006 = SCHÖNLE A. Introduction // Schönle A. (ed.) *Lotman and cultural studies: Encounters and extensions*. Madison: The University of Wisconsin Press, 2006. 3–34.
- SCHÖNLE 2020 = SCHÖNLE A. Introduction // Schönle A. (ed.) *Culture and communication: Signs in flux. An anthology of major and lesser-known works by Yuri Lotman (Series: Cultural Syllabus)*. Boston: Academic Studies Press, 2020. xiii–xv. DOI: [10.1515/9781644693889-004](https://doi.org/10.1515/9781644693889-004)
- SZABÓ 2003 = SZABÓ T. A gondolkodó világ modellje: in memoriam Jurij Mihajlovics Lotman (1922–1993) // *Aetas*, 2003/1, XVIII. 113–141.

On the Conceptualisation of Binary Oppositions and „Contradictions” in Jurij Lotman's Literary Semiotics. In this article, the author continues to investigate the specificity of Jurij Lotman's conceptualisation of binary oppositions in his semiotics of culture. Binaries are approached, first, through the differentiation of binary and ternary models „in the dynamics of Russian culture”, with an orientation to literature (the research object) and within the characterisation of the nature of the scientific description of culture (the metatext). The analysis is based on the reading of Lotman–Uspensky's joint article

(1977), Lotman's *O russkoj literature klassičeskogo perioda (Vvodnye zamėchanija)* (1992), and the second half of the article puts, in centre stage, the reading by Lotman of Pushkin's novel in verse, „*Evgenij Onegin*”: *Speckurs. Vvodnye lekčii v izučenie teksta* (1975). The concept of binary opposites and „contradictions” is given a more complex interpretation in the light of the definitions abstracted from the *Special course* where Lotman studies the meaning-engendering mechanisms within the overall semiotic system of the literary text, explaining opposites not only in terms of contrast and mutual exclusion, but also relating them to the concepts of inadequacy (neadekvatnost'), mismatch (nesovpadenie), heterogeneity (raznorodnost') etc. With this, a shift of accent takes place pointing to the function of the differential trait, the change of semiotic conditionality and the emergence of semiotic plurality.

Keywords: Jurij Lotman, binary oppositions, ternary model, semiotic conditionality (uslovnost'), differential trait, semiotic plurality, *Eugene Onegin*

ВАЛЕРИЙ ИГОРЕВИЧ ТЮПА
(Москва, Россия)

Место Лотмана в становлении нарратологии¹

Аннотация: В работе реконструируется влияние семиотических исследований Ю.М. Лотмана на формирование проблематики и научного аппарата современной («пост-классической») мультимедиаальной нарратологии, связанной с именами Ж. Женетта, П. Рикёра, В. Шмида и др. В частности, обсуждается зарождение научного интереса к кинонарративу, оказавшего немалое воздействие также и на литературоведческую нарратологию, обогатив ее конструктивным понятием «повествовательного кадра». В центре внимания статьи – сюжетологические изыскания Лотмана, в особенности концепция «сюжетных текстов» культуры в их оппозиции к «бессюжетным текстам». Особое значение придается разграничению сюжета и мифа, продолжившему разыскания О.М. Фрейденберг в области происхождения наррации. Раскрывается первопроходческая роль Лотмана в освоении научных категорий «нарративная картина мира» и «нарративное событие». Выявляется место лотмановского научного наследия в осмыслении нарративных практик как орудия ментального освоения жизни, накопления и ретрансляции событийного опыта, а также в зарождении и развитии современного проекта исторической нарратологии.

Ключевые слова: Лотман, нарратология, кинонарратив, миф, сюжет, событие, интрига, нарративная картина мира

Нарратология зародилась как специальная отрасль науки о литературе – теории повествования, зачинательницей которой следует признать Кетэ Фридемманн, автора книги «Роль повествователя в эпике», изданной в Германии в 1910 году. Заметный вклад в развитие учения о повествовательной организации текстов внесли В.Я. Пропп, теоретики ОПОЯЗа, а в середине XX века работы Франца Штанцеля, Вольфганга Кайзера, Перси Лаббока, Уэйна Бута (в частности, его «The Rhetoric of Fiction» 1961 года). Свое наименование т.н. «классическая» нарратология получила в конце 1960-х гг. в работах Цветана Тодорова, Ролана Барта, Альгирдаса Греймаса и др. французских структуралистов, выдвинувших задачу построения универсальной «грамматики рассказывания», не ограничиваясь областью художественной литературы. Пост-классический

¹ Первая публикация статьи: Ю.М. Лотман и современная нарратология / В. И. Тюпа // Филологический класс, 2022. Том 27, №1, стр. 55–62.

этап в развитии нарратологии начинается в 1970-е гг. трудами Жерара Женетта «Discours du récit» (1972), Ю.М. Лотмана «Семиотика кино и проблемы киноэстетики» (1973) и некоторыми другими. Тогда же М.М. Бахтин заинтересовался рецензией начинающего немецкого нарратолога Вольфа Шмида на «Поэтику композиции» (1970) Б.А. Успенского, а в 1973 году – после знакомства с книгой Женетта – дописал к своей работе 1930-х гг. «Формы времени и хронотопа в романе» раздел «Заключительные замечания», которые носят по большей части нарратологический характер. Наконец, существенное антропологическое обоснование нарратология получила в фундаментальном труде Поля Рикёра «Temps et Récit» (1985), где философ, по собственному его свидетельству, принялся за обдумывание литературных практик рассказывания, учитывая «уроки Бахтина, Женетта, Лотмана и Успенского» (РИКЁР 2000:159).

Современная нарратология (см.: NARRATOLOGIES 2010) в XXI веке неизмеримо шире поэтики повествования. Теперь это междисциплинарная область исследований разнообразных практик формирования и ретрансляции событийного опыта, в первую очередь – речевых практик рассказывания историй. Разумеется, эпическое художественное письмо как высшая форма нарративной культуры остается центральным объектом нарратологического интереса, однако оно мыслится теперь в одном ряду с нефикциональными историями и вообще со всеми возможными нарративными дискурсами. Нарратология перестала быть частью поэтики, теперь поэтика повествования входит в состав нарратологии.

Знаменательно, что Папа римский Франциск I в 2020 году посвятил «теме повествования» специальное послание, в котором он, в частности, говорил о том, что «люди по природе рассказчики», а рассказываемые людьми «истории оставляют на нас свой след; они формируют наши убеждения и наше поведение. Они помогают нам понять, кто мы такие» (<https://alexander-konev.livejournal.com/266767.html>).

Юрий Михайлович Лотман стоит у истоков нарратологического киноведения, которое вместе с литературоведческой нарратологией составляют ядро нынешней «большой» (мультимедиаальной) нарратологии. В книге «Семиотика кино и проблемы киноэстетики» им была сформулирована мысль, которая теперь повсеместно представляется простой и очевидной: «Кинематограф по своей природе – рассказ, повествование» (ЛОТМАН 2005: 316).

Дело в том, что всякая повествовательная фраза, даже самая тривиальная в общезыковом отношении, задана восприятию как более или менее насыщенный деталями кадр «внутреннего зрения» (ментального видения). «Герои, – писал В.Ф. Асмус, – последовательно вводятся автором в кадры повествования, а читателем – в ходе чтения – в кадры читательского восприятия. В каждый малый отрезок времени в поле зрения читателя находится или движется один отдельный кадр повествования»

(АСМУС 1968: 59). В этом состоит фрактальная природа наррации. Термин «кадр» сложился в теории кино, однако само оперирование дискретными отрезками воображаемой реальности сформировалось в литературе, и было усвоено киноискусством в период его становления. Особая роль в этом усвоении принадлежит Сергею Эйзенштейну и как режиссеру, и как теоретику кино.

Размышляя о «проблеме кадра» в качестве основной семиотической единицы языка кино, Лотман раскрыл общую природу коммуникативного акта *наррации*. Его внимание привлекло «существенное различие между зримым миром в жизни и на экране. Первый не дискретен (непрерывен) [...] Мир кино – это зримый нами мир, в который внесена дискретность» (ЛОТМАН 2005: 306); «самое существенное: воспроизводя зримый и подвижный образ жизни, кинематограф расчленяет его на отрезки» (там же: 307). В этом и состояла вербальная наррация, которой первобытный человек овладел относительно поздно (см.: ФРЕЙДЕНБЕРГ 1945), научившись заменять мимический показ непрерывных действий – рассказом о них. Кино вернулось к показу, но уже нарративному, состоящему в сегментации зримого на кадры.

На фоне роста научного интереса к киноискусству понятие «кадра» проникло и в литературоведческую нарратологию. В смыслообразный состав вербального «кадра», как и кинокадра, входит не все, что может или пожелает представить себе слушатель/читатель, а только лишь поименованное в тексте. «Одним из основополагающих элементов понятия “кадр” является *граница*» (ЛОТМАН 2005: 307). «Все, что находится за пределами этой границы, как бы не существует» (там же: 309). Это исходное свойство всякой нарративности, неведомое мифологическому мышлению первобытного человека. Но Лотман заглядывает в самую суть нарративной фрактальности, определяя разграниченность созерцания на кадры как «условность киноизображения (а только это позволяет насыщать изображение содержанием)» (там же: 311). Показать нечто безграничное означало бы не сказать ничего определенного: «когда мы смотрим в окно едущего поезда, нам не приходит в голову связывать увиденные нами картины в единую логическую цепь» (там же: 665).

«Соединение двух кадров», порождающее «монтажный эффект», Лотман называл «низшим уровнем повествования» (там же: 663). «Если какая-либо деталь повторяется не в двух, а в большем числе случаев», она «скрепляет отдельные кадры в единый ряд» (там же). Поэтика литературного повествования столь же существенно, как и киномонтаж, определяется устройством и сцеплением воображаемых кадров вербального текста. На этой почве формируется нарратологическая проблематика «фокализации» (Ж. Женетт, М. Баль и др.) и «точки зрения» (Б. Успенский, В. Шмид и др.).

Особое место в становлении современной нарратологии принадлежит сюжетологическим изысканиям Ю.М. Лотмана. В одной из позднейших

своих статей 1993 года он включал кино «в разряд “рассказывающих” (нарративных) искусств», способных «к передаче тех или иных сюжетов» (ЛОТМАН 2005: 661), поскольку «последовательное развертывание эпизодов, соединенных каким-либо структурным принципом, и является тканью рассказывания» (там же: 662). Последняя фраза формулирует одну из базовых аксиом современной нарратологии. Рикёр в свое время провозгласил «эпизодический аспект построения интриги» неупраздным свойством наррации (РИКЁР 1998: 186).

В наиболее известном из его ранних семиотических трудов «Структура художественного текста», опубликованном в 1970 году, Лотман еще не пользовался нарратологической терминологией. Оставаясь в рамках формалистической оппозиции «фабула» – «сюжет» (современная нарратология предпочитает работать с понятиями «истории» и «интриги»), он здесь именовал нарративы «сюжетными текстами» в противовес «бессюжетным текстам» – таким, как «календарь, телефонная книга или лирическое стихотворение» (ЛОТМАН 1970: 286).

Однако, как справедливо замечал Умберто Эко, Лотман «выходит за рамки структуралистской догматики» (ЛОТМАН 1999: 410). В частности, он уже тогда сосредоточился на ключевой нарратологической категории «события»: «В основе понятия сюжета [т. е. нарратива – *V.T.*] лежит представление о *событии*» (ЛОТМАН 1970: 280), – и заложил основание актуальной ее трактовки в наше время. По определению одного из ведущих европейских нарратологов Вольфа Шмида, современная нарратология «основывается на концепции нарративности как событийности» (ШМИД 2003: 20).

Впервые мысль о событии как конструктивном факторе эпического рода литературы возникает в лекциях по эстетике Гегеля, который мыслил событие *субстанционально*, то есть независимо от постигающего сознания. Он исходил из очевидной, как ему казалось, возможности «установить различие между тем, что просто происходит, и определенным действием, которое в эпическом произведении принимает форму события» (ГЕГЕЛЬ 1971: 470). Эпическое событие по Гегелю определяется целью, составляющей «связующее единство эпопеи» (там же: 471), и, вследствие этого, «действительно завершается только тогда, когда [...] в процессе его протекания достиг созерцания во всей его полноте цельный внутри себя мир, в совокупном круге которого движется действие» [там же: 472]. Иначе говоря, качество событийности представлялось философу объективной данностью.

Лотман, как и вся последующая нарратология, в размышлениях о категории события не ограничивался сферой эпической художественности. И закономерно пришел к *интенциональной* трактовке события как феномена, не отделимого от сознания: «одно и то же событие представляется с одних позиций существенным, с других – незначительным, а с третьих вообще не существует» (ЛОТМАН 1970: 283). Поэтому «одна и та же бы-

товая реальность может в разных текстах приобретать или не приобретать характер события» (там же: 281); «даже смерть героя далеко не во всяком тексте будет представляться событием» (там же: 285). Иначе говоря, как было сформулировано Бахтиным (Лотману эта рукописная запись еще не могла быть известна): «главное действующее лицо события – свидетель и судия» (БАХТИН 2002: 396).

Приведенные формулировки Лотмана и Бахтина говорят вовсе не о субъективности событийного статуса происходящего, но о его *интерсубъективности*. Для актуализации события необходимы, по крайней мере, два сознания: рассказывающего и воспринимающего рассказ. Без *нарративной установки* сознания на встречу с иным сознанием в акте свидетельства о произошедшем нет того, что может быть рассказано, то есть нет и события. Событие интенционально, его статус зависит от ценностной направленности сознания, которая «не может изменить бытие, так сказать, материально [...] она может изменить только *смысл* бытия (признать, оправдать и т.п.), это – свобода свидетеля и судии. Она выражается в *слове*. Истина, правда присущи не самому бытию, а только бытию познанному и изреченному» (БАХТИН 2002: 396-397). В данном рассуждении была сформулирована, по сути дела, философская база нарратологии.

Лотмана занимали не философские, а семиотические основания событийности, поэтому его формулировки несколько иные: «Происшествие – значимое отклонение от нормы (то есть «событие», поскольку выполнение нормы «событием» не является) – зависит от понятия нормы» (ЛОТМАН 1970: 283). Однако это рассуждение о том же самом: «норма», как и «правда», присуща «не самому бытию», а его опознаванию сознанием. При этом «норма» принципиально интерсубъективна, это не прихоть субъекта, а точка согласия (если не эксплицитно сформулированного, то имплицитного) между несколькими сознаниями.

Такой взгляд на природу событийности позволил Лотману открыть одну из ключевых категорий современной нарратологии – *картину мира*: «Сюжет органически связан с картиной мира, дающей масштабы того, что является событием, а что его вариантом, не сообщающим нам ничего нового» (ЛОТМАН 1970: 283).

В новаторском своем исследовании Лотман первоначально связывал «картину мира» с бессюжетностью: «важным свойством бессюжетного текста будет утверждение определенного *порядка* внутренней организации этого мира» (ЛОТМАН 1970: 286), тогда как «сюжетный [нарративный] текст строится на основе бессюжетного как его отрицание» (там же: 287). Впрочем, впоследствии, ученый, мысливший оппозициями, говорил уже о двух различных *нарративных* картинах мира. С одной стороны, тип нарративности, «генетически восходящий к первоначальному мифологическому ядру, реконструирует мир как полностью упорядоченный, наделенный единым сюжетом и высшим смыслом» (ЛОТМАН 1999: 224); с другой – в текстах, где «сюжетными элементами будут эксцессы

и аномалии, общая картина мира представится как предельно дезорганизованная» (там же). Современная нарратология, развивая находки тартуского семиотика, настаивает на специфической природе нарративной картины мира, которая проявляется в событии, а не отрицается им.

«Картина мира» – общее наименование для множества обобщающих систем представления о жизни: для языковой, этнической, научной, религиозной, художественной, профессиональной, возрастной, гендерной и т.п. картин мира. В каждой из таких вариаций это специфический для данной сферы общения комплекс исходных допущений о самых общих предпосылках человеческого присутствия в бытии. Подобно условному математическому пространству обобщающая картина мира «гарантирует возможное смысловое единство возможных суждений» (БАХТИН 2003: 55) о жизни. Как показала «неориторика» (PERELMAN 1958), перспектива взаимопонимания, потенциально предполагаемая всяким высказыванием, требует, чтобы говорящий и слушающий исходили из обобщенно-общих представлений об условиях того мира, в котором позиционируется коммуникативный объект рассказывания. Топос согласия ограничивает возможную широту мировидения некоторым ценностным кругозором и активирует в сознаниях коммуникантов некоторое условное пространство и время («диегетическое», если говорить о нарративных текстах).

Опираясь на аппарат «неориторики», современная нарратология предлагает историческую типологию нарративных картин мира (прецедентная, императивная, окказиональная, вероятностная), стадийно последовательное формирование которых составляет диахронию эволюционирования нарративных практик (ТЮПА 2021). Однако истинным зачинателем перспективного научного направления исторической нарратологии по праву следует признать Ю.М. Лотмана, опубликовавшего в 1973 году новаторскую статью «Происхождение сюжета в типологическом освещении» (ЛОТМАН 1973).

В этой работе Лотман – вслед за О.М. Фрейденберг, чью рукопись «Происхождение литературной интриги» он в том же году опубликовал в тартуской «Семиотике» (ФРЕЙДЕНБЕРГ 1973), – четко размежевал нарратив и миф как стадийно разнородные структурообразующие механизмы. Мифологическое мышление сводило «мир эксцессов и аномалий, который окружал человека, к норме и устройству» (ЛОТМАН 1973: 11). Хотя в современной передаче (средствами линейного повествования, замыкающего и выпрямляющего круговорот процессуальных преобразований) мифологические тексты «приобретают вид сюжетных, сами по себе они таковыми не являлись. Они трактовали не об однократных и внезакономерных явлениях, а о событиях вневременных, бесконечно репродуцируемых» (там же), не о том, что случилось однажды, но о том, что бывает всегда. Напротив, «фиксация однократных и случайных событий, прерываний, бедствий – всего того, что мыслилось как нарушение некото-

рого исконного порядка, представляла историческое зерно сюжетного повествования» (там же: 12).

Архитектоническим вектором мифологического мышления служит вертикаль — «мировое древо», игравшее «особую организующую роль по отношению к конкретным мифологическим системам, определяя их внутреннюю структуру и все их основные параметры» (ТОПОРОВ 1991: 398). Соотносимое с умирающей к зиме, но воскресающей весной растительностью, мировое древо выступало залогом воспроизводимости нерушимого миропорядка. Символизируя сакральный центр мира и круговорот жизни, оно исключало необратимость свершающихся вокруг него действий и происшествий.

Вектор же нарративного (сюжетного) мышления, напротив — горизонталь, цепь сингулярных и необратимых преобразований, устремленная от начала к концу истории. Впоследствии Рикёр, именуя такой вектор «интригой», определит его как напряжение событийного ряда, которое возбуждает некие «рецептивные ожидания» и предполагает определенную последовательность эпизодов как смысловую «длительность, растянутую между началом и концом» (РИКЁР 2000: 46).

В противоположность интриге циклическая структура мифа не знала категорий начала и конца. Лотман развивает предположение, что «эсхатологическая легенда — типологически наиболее близкий к мифу продукт его линейной перефразировки (и, вероятно, исторически наиболее ранний)» (ЛОТМАН 1999: 218). «Переход к эсхатологическим повествованиям задавал линейное развитие сюжета. Это сразу же переводило текст в категории привычного нам повествовательного жанра» (там же: 217), то есть нарратива.

Задолго до Рикёра, утверждавшего, что нарративная «интрига должна быть типической» (РИКЁР 1998: 52), поскольку понимание рассказывания происходит благодаря «нашей способности проследить историю», приобретенной «знакомством с повествовательной традицией» (РИКЁР 2000: 63), Лотман рассуждал следующим образом: «Пристальный анализ убеждает, что безграничность сюжетного разнообразия классического романа, по сути дела, имеет иллюзорный характер: сквозь него явственно просматриваются типологические модели, обладающие регулярной повторяемостью»; романная инновационность «парадоксально сопровождается регенерацией весьма архаических и отшлифованных многими веками культуры сюжетных стереотипов» (ЛОТМАН 1988: 348).

В своих фундаментальных работах Лотман убедительно показал, что нарративная культура интриги генетически соотносится «с мифологическим инвариантом “жизнь — смерть — воскресение (обновление)”» (ЛОТМАН 1999: 220), что в первооснове наррации следует искать «скрытый мифо-обрядовый каркас [...] схемы, воспроизводящей классические контуры инициации» (там же: 221). Такого рода историко-генетический подход к рассмотрению ключевых нарратологических категорий боль-

шинству современных западных нарратологов до сих пор чужд. Моника Флудерник имела весьма веские основания говорить о «глубине пренебрежения диахронным, преобладающего в нарратологии» (FLUDERNIK 2003: 334), а ее призыв совершить «прорыв» в «захватывающе новую область [историко-нарратологических] исследований» (там же: 332), в свое время почти никем не был услышан. Только спустя почти два десятилетия, по инициативе, прежде всего, Вольфа Шмида началась коллективная работа над подготовкой европейского издания «Handbook of diachronic narratology». Группа российских нарратологов в настоящее время не только принимает участие в этой работе, но и готовит к публикации собственный «Тезаурус исторической нарратологии русской литературы».

Еще раз сошлюсь на суждение Умберто Эко: «в позднейших работах исследователь демонстрирует все большее внимание к богатству и многообразию исторического опыта» (ЛОТМАН 1999: 413). Оглядываясь назад, с уверенностью можно утверждать, что у истоков современного проекта исторической нарратологии мы ясно распознаем научное наследие Ю.М. Лотмана.

Поскольку для Лотмана «сюжетный текст» был синонимичен «нарративу», его итоговое рассуждение о «проблеме сюжета» в «семиосфере» звучит сугубо актуально в современном контексте нарратологических исследований:

«Сюжет [нарратив] представляет мощное средство осмысления жизни. Только в результате возникновения повествовательных [нарративных] форм искусства человек научился различать сюжетный [событийный] аспект реальности, то есть расчленять недискретный поток событий [происшествий] на некоторые дискретные единицы [...] и организовывать их в упорядоченные цепочки [...] Выделение событий – дискретных единиц сюжета – и надделение их определенным смыслом, с одной стороны, а также определенной временной, причинно-следственной или какой-либо иной упорядоченностью, с другой, составляет сущность сюжета. [...]

Создавая сюжетные тексты, человек научился различать сюжеты в жизни и, таким образом, истолковывать себе эту жизнь» (ЛОТМАН 1999: 238).

Последняя фраза знаменательно перекликается с посланием понтифика, а лотмановская концепция «сюжетных текстов» может быть расценена как могучий зародыш современной нарратологии.

Литература

- АСМУС 1968 = АСМУС В.Ф. Чтение как труд и творчество // В.Ф. Асмус. Вопросы теории и истории эстетики. М.: Искусство, 1968.
БАХТИН 2002 = БАХТИН М.М. Собр. соч. в 7 тт. Т. 6. М.: Языки славянской культуры, 2002.

- БАХТИН 2003 = БАХТИН М.М. Собр. соч. в 7 тт. Т. 1. М.: Языки славянской культуры, 2003.
- ГЕГЕЛЬ 1971 = ГЕГЕЛЬ Г.В.Ф. Эстетика. Т.3. М.: Искусство, 1971.
- ЛОТМАН 1970 = ЛОТМАН Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970.
- ЛОТМАН 1973 = ЛОТМАН Ю.М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Ю.М. Лотман. Статьи по типологии культуры. Вып. 2. Тарту, 1973.
- ЛОТМАН Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М.: Просвещение, 1988.
- ЛОТМАН 1999 = ЛОТМАН Ю.М. Внутри мыслящих миров. М.: Языки славянской культуры, 1999.
- ЛОТМАН 2005 = ЛОТМАН Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики [Таллинн 1973] // Ю.М. Лотман. Об искусстве. СПб.: Искусство-СПб, 2005.
- РИКЁР 1998 = РИКЁР П. Время и рассказ: в 2 тт. Т. 1. М.; СПб.: Университетская книга, 1998.
- РИКЁР 2000 = РИКЁР П. Время и рассказ: в 2 тт. Т.2. М. – СПб.: Университетская книга, 2000.
- ТОПОРОВ 1991 = ТОПОРОВ В.Н. Древо мировое // Мифы народов мира: Энциклопедия. Т. 1. М., 1991.
- ТЮПА 2021 = ЮПА В.И. Горизонты исторической нарратологии. СПб.: Алетейя, 2021.
- ФРЕЙДЕНБЕРГ 1945 = ФРЕЙДЕНБЕРГ О.М. Происхождение наррации [1945] // О.М. Фрейденберг. Миф и литература древности. М., 1978.
- ФРЕЙДЕНБЕРГ 1973 = ФРЕЙДЕНБЕРГ О.М. Происхождение литературной интриги [Публикация Ю.М. Лотмана] // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 308 (Труды по знаковым системам VI). Тарту, 1973. 497–512.
- ШМИД 2003 = ШМИД В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003.
- FLUDERNIK 2003 = FLUDERNIK M. The Diachronization of Narratology // Narrative, Vol. 11, № 3, October 2003. DOI: [10.1353/nar.2003.0014](https://doi.org/10.1353/nar.2003.0014)
- PERELMAN 1958 = PERELMAN Ch. Perelman Ch., Olbrechts-Tyteca L. La nouvelle rhétorique. Paris, 1958.
- NARRATOLOGIES 2010 = Narratologies contemporaines. Sous la direction de J. Pier et F. Berthelot. Paris, 2010.

Lotman's Place in the Formation of Narratology. The paper reconstructs the influence of the semiotic studies of Lotman on the formation of the problems and the scientific apparatus of modern ("post-classical") multimedia narratology, associated with the names of J. Genette, P. Ricoeur, W. Schmid and others. In particular, we discuss the emergence of scientific interest in the film narrative, which has also had a significant impact on literary narratology, enriching it with the constructive concept of the "narrative image". The article focuses on Lotman's storytelling research, especially the concept of "plot texts" of culture in their opposition to "plotless texts". Particular importance is attached to the distinction between plot and myth, which continued O.M.

Freidenberg's investigations into the origin of narration. Lotman's pioneering role in mastering the scientific categories of "narrative picture of the world" and "narrative event" is revealed. The author reveals the place of Lotman's scientific heritage in the comprehension of narrative practices as a tool for mental appropriation of life, accumulation and retranslation of event experience, as well as in the birth and development of the modern project of historical narratology.

Keywords: Lotman, narratology, film narrative, myth, plot, event, intrigue, narrative picture of the world

IRODALOMTUDOMÁNY
KULTUROLÓGIA

АГНЕСШ ДУККОН
(Будапешт, Венгрия)

**Заметки к переписке Н. М. Карамзина
в контексте сравнительной литературы**

Аннотация: Настоящая статья исследует письма Н. М. Карамзина к поэту И. И. Дмитриеву, написанные в период между 1787 и 1826 годами. Цель автора – раскрыть и изучить переплетения частной жизни, литературы и истории в этой переписке и указать на параллели и общие мотивы в романе «Свобода под снегом» венгерского писателя поздней романтики Мора Йокаи. В центре романа о декабристском восстании стоят такие исторические фигуры, как Александр I и Пушкин. Автор статьи прослеживает интерференции между литературными образами и реальными личностями, появляющимися в письмах Карамзина, и устанавливает, что сходство объясняется общей духовной настроенностью двух авторов и хорошей осведомленностью Йокаи в русской истории.

Ключевые слова: переписка, Карамзин, Дмитриев, Пушкин, Мор Йокаи, декабристы, Александр I

Переписка Н. М. Карамзина со своим другом, поэтом И. И. Дмитриевым, охватывает почти сорок лет: письменный диалог между ними продолжался с 1787 по 1826 годы. После смерти Карамзина Дмитриев собрал письма в трех тетрадах, а в четвертую включил те, которые он получил от жены и дочерей писателя. Это наследство служило основой – вместе с другими документами – для юбилейного сборника, появившегося в 1866 г. под редакцией двух знаменитых филологов того времени, Я. Грота и П. Пекарского (КАРАМЗИН 1866). Книга была снабжена и подробными примечаниями, благодаря чему она представляет собой очень ценный источник для изучения творчества и биографии Карамзина, а также быта и исторических событий в России первых десятилетий XIX века. К сожалению, письма Дмитриева к Карамзину не сохранились, таким образом, из сорокалетнего письменного диалога двух литераторов остался для нас лишь один голос. Правда, со стороны Дмитриева тоже имеется документ об их дружбе, так сказать, в монологическом жанре: в 1825 году, за год до смерти Карамзина, Дмитриев написал мемуары «Взгляд на мою жизнь». В их переписке последних лет Карамзин часто побуждал своего друга работать прилежно над воспоминаниями и просил его пересылать копии готовых глав. Мемуары

были полностью опубликованы впервые лишь в 1866 году, потом переизданы в последней четверти XX века (ДМИТРИЕВ 1986).

Еще в XIX веке началось научное изучение творчества Карамзина, появились ранее неизданные сочинения и переписка (КАРАМЗИН 1862), материалы для биографии (ПОГОДИН 1866) и исследование «Писем русского путешественника» (СИПОВСКИЙ 1899). В XX веке продолжалось изучение и осмысление произведений и биографии писателя, но часто это совершалось по идеологическим требованиям эпохи. Однако из «общего хора» все-таки выделяются и замечательные работы, как, например, книга Юрия Лотмана «Сотворение Карамзина», в которой автор использует в том числе и издание писем к Дмитриеву, чтобы создать – по словам Б. Егорова в предисловии – «биографию души» (ЛОТМАН 1987: 7–10). Время от времени переиздавались сочинения Карамзина, а новое издание писем к Дмитриеву не состоялось; из них в сборники избранных произведений писателя были включены лишь отдельные части. В самом конце XX века началось издание «Полного собрания сочинений в 18-ти томах» (КАРАМЗИН 1998–2008), и последний том содержит эпистолярное наследие, то есть переписку с членами царствующего дома, литераторами и другими деятелями культуры, государственными лицами и родными. В первые десятилетия XXI века внимание исследователей сосредоточивается также главным образом на самых известных сочинениях Карамзина (рассказы, поэзия, «Письма русского путешественника», «История государства Российского»), переписка же в отдельности возбуждает гораздо меньший интерес. Перечитывая корпус писем к Дмитриеву, мы убедились, что из этого источника все еще можно черпать ценные подробности не только к истории русской литературы, но также к личности Карамзина, как это доказывает работа Лотмана. Из корреспонденции двух поэтов-приятелей вырисовывается интересная картина о быте и событиях последнего десятилетия XVIII и первой четверти XIX веков в зеркале души Карамзина. В письмах к Дмитриеву отражается сложное переплетение частной жизни, литературной деятельности, философских размышлений о политике и рассуждений о знаменитых личностях эпохи, таким образом, перед читателем раскрывается богатая духовная и душевная жизнь Карамзина. О событиях жизни Дмитриева, о его характере и мыслях мы получаем лишь посредственную информацию из ответов Карамзина, когда он реагирует на разнообразные актуальные вести и сведения своего друга. Так как Дмитриев был не только литератором, но и занимал важные государственные должности, был сенатором, министром юстиции, а с 1797 – членом Российской академии, в переписке появляются имена важных исторических фигур (царь Александр I и его двор) и выдающихся поэтов и писателей того времени (среди них Фонвизин, Державин, Жуковский, Пушкин), а также рассуждения о дипломатических связях и международных политических событиях.

Литературная деятельность Ивана Ивановича Дмитриева (1760–1837) началась во второй половине 1770-х гг.: первые его сочинения, маленькие сатирические стихотворения, появились в 1777 г. в журнале Николая Новикова «Санкт-Петербургские ученые ведомости». Знакомство и сотрудничество с Карамзиным – которому, кстати, он доводился и дальним родственником – с 1783 года действует благотворно на творчество Дмитриева: он публикует стихотворения в журналах и альманахах Карамзина (в «Московском журнале», «Аглае» и «Аонидах»), читает книги французских писателей, изучает греческих и римских поэтов во французском переводе. Кроме лирической поэзии в творчестве Дмитриева важное место занимают басни. Современники называли его «русским Ла Фонтеном». Дмитриев побуждал и Крылова заниматься этим жанром. В 1814 г. Дмитриев вышел в отставку и переселился в Москву – как раз в то время, когда Карамзин со своей семьей оставил Москву и поселился в Петербурге, чтобы лучше продвигаться вперед в работе над «Историей государства Российского». С этого времени заметно растет интенсивность переписки между друзьями, и содержание писем верно отражает семейные дела Карамзина (рождение, болезни и смерть детей, собственные болезни, всякие ежедневные проблемы), перипетии с печатанием томов «Истории...» и подробные извещения о придворной жизни. Карамзин уважал Александра I, с которым иногда дискутировал о готовящихся главах книги, и имел хорошие связи с царствующей фамилией: писатель часто упоминает встречи с матерью и женой царя, прогулки в Павловске, балы и праздники в Петербурге. Из его писем вырисовывается симпатичный образ государя; Карамзин показывает скорее человека, а не императора, или лучше сказать, близкого человека в царствующей особе. Интимность их отношений выражается во многих письмах. Приведем несколько примеров:

3-го авг. 1816, Царское Село:

«Мы два раза обедали у Государя; вчера звали в третий раз, но, к сожалению, я был в городе, а Катерина Анд. не решилась идти одна во Дворец. Не можем нахвалиться любезною приветливостью милостивого Императора и всей Царской Фамилии. В Павловске бываем и в воскресенье и в простые дни, раза два в неделю; т. е. обедаем. Ласкают равно и меня и жену. Одним словом, здесь не знаю ничего милее Царско-сельских и Павловских Хозяев» (КАРАМЗИН 1866: 193).

18-го Генв. 1817 Санкт-Петербург:

«Мы были 13 Генв. на бале до второго часу. Император танцевал с моею женою однажды, а с некоторыми дамами по два раза. Ныне спектакль у вдов. Императрицы: думаю быть там» (КАРАМЗИН 1866: 204).

21-го авг. 1817, Царское Село:

«Ныне у нас крестница. Мы могли бы покумиться с императорскою фамилиею, но не хотел трудить ни Государя ни Императрицы. Это не прибавило бы Их к нам милости, а подарков не желаем» (КАРАМЗИН 1866: 220).

Можно было бы еще продолжать цитаты, которые свидетельствуют о близкой связи семейства Карамзина с царствующей фамилией, а по последней цитате видно и то, что писатель сумел сохранить достоинство и независимость по отношению к высокопоставленным особам, уважение и любовь не перешли у него в подобострастие.

В настоящей статье мы обращаем внимание на моменты формирования портрета царя в письмах Карамзина в течение десяти лет их близкого знакомства, и на отношение этого портрета к тому, который появляется в иностранной литературной и мемуарной традиции XIX века. Для нас стала интересной эта тема из-за близости «карамзинского Александра» с образом царя в венгерском историческом романе Мора Йокаи «Свобода под снегом, или Зеленая книга» [„Szabadság a hó alatt avagy a Zöld könyv”, Budapest, 1879].¹ Первый перевод на русском языке в сокращенном и незаконченном виде вышел под заглавием «В стране снегов» в Санкт-Петербурге в журнале графа Е. А. Салиаса-де-Турнемира «Полярная Звезда» за 1881 г. После 6-го номера журнал перестал выходить в свет, таким образом прекратилась и публикация первого русского варианта романа, по всей вероятности, из-за «проблематичного» сюжета: в центре действия стоит декабристское восстание и роль Пушкина в этом движении, которое в России до 1870-х годов не могло быть предметом литературных и исторических толкований, и подход к этому вопросу в последующие десятилетия имел характер щекотливого. (JÓKAI 1965: 269)

Перед дальнейшим разбором карамзинских писем, содержащих упоминания и сведения об Александре I и Пушкине, рассмотрим источники Йокаи в связи с русской историей первой трети XIX века и с характером царя, чтобы выявить общие черты и некоторую схожесть авторских отношений к своим «героям» – к действительной, исторической личности со стороны Карамзина и к литературному образу у венгерского писателя.

В рукописном наследии Йокаи, в архиве Национальной Библиотеки им. Сечени (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) хранятся записные книжки писателя. В тетрадях за 1875–1876 г. находятся примечания и выписки из разных книг к готовящемуся роману. По свидетельству этих записок видно, что писатель очень основательно изучал французские и немецкие издания различных исторических и беллетристических произведений. Среди них можно упомянуть роман Александра Дюма-

¹ Академическое критическое издание было подготовлено и снабжено с обильными примечаниями исследователем Жужанной Зельдхейи-Деак (JÓKAI 1965).

отца «Записки учителя фехтования, или восемнадцать месяцев в С.-Петербурге» (*Mémoires d'un maître d'armes, ou dix-huit mois à Saint-Pétersbourg*, 1840), созданный на основе дневника учителя фехтования в Москве А. Гризье. В центре романа Дюма стоит «история декабриста Ивана Александровича Анненкова и его жены Прасковьи Егоровны Анненковой, урожденной Полины Гебль. (...) Источник [т. е. дневник Гризье – А. Д.], откуда Дюма почерпнул сведения о трогательной любви француженки-модистки Полины Гебль к конногвардейскому офицеру И. А. Анненкову, с которым она разделила жизнь в Сибири на каторге, назвала сама в своих записках» (ДУРЫЛИН 1937: 512). По мнению Полины Гебль, в книге Дюма много извращений и неточностей в связи с декабристами, но Дурылин, основательно исследовавший эту тему, считает заслугой французского писателя, что декабристское восстание по его роману стало известным в широких читательских кругах Европы:

«И все же, несмотря на эти и на многие другие извращения исторических пропорций и фактов, роман Дюма был повествованием о декабристе, основанным не на вымысле, а на исторической правде, и повествованию этому, вышедшему из-под пера популярнейшего писателя современности, был обеспечен успех и внимание широкого европейского читателя» (ДУРЫЛИН 1937 : 513).

Таким образом, произведение Дюма попало и в руки Йокаи. Некоторые ошибки и неточности в связи с русской историей повторяются и в романе «Свобода под снегом». Кроме этого, Йокаи использовал и другие исторические работы и описания страны.² По свидетельству записных книжек и авторских комментариев, венгерский писатель черпал к своему роману основные данные из следующих произведений:

1/ D. E. Lloyd: *Alexander der Erste Kaiser von Russland, oder Skizze seines Lebens und wichtigsten Begebenheiten seiner Regierung. Aus dem Englischen*, Stuttgart, 1826.

2/ Dupré de Saint-Maure: *Pétersbourg, Moscou et les provinces ou observations sur les moeurs et les usages russes au commencement du XIX siècle*, Paris, 1830, I–II.

3/ Johann Heinrich Schnitzler: *Histoire intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas*, Paris, 1847.

² Мы перечисляем источники Йокаи на основе примечаний к критическому изданию (ЙОКАИ 1965: 231–253). Здесь фигурируют лишь книги и другие, появившиеся в печати документы, но известно, что Йокаи имел и серьезные дружеские знакомства с выдающимися художниками, обладающими конкретными знаниями о Российской империи. Среди них были знаменитые живописцы, Михай Зичи (1827–1906), Михай Мункачи (1844–1900) и великий композитор Ференц Лист (1911–1886) (ГЕРАСИМОВА 2014: 147).

4/ Magnus Jakob von Crusenstolpe: Der Russische Hof von Peter I. bis auf Nicolaus I. Deutsche Original Ausgabe, Hamburg, 1855–1860, I–VI.

5/ William Herpworth Dixon: La Russie libre. Paris, 1873.

Общей чертой этих книг является положительное, иногда даже идеализированное представление о России и Александре I. В книге Ллойда рассказывается о поездке царя в Крым, о его болезни и смерти – о чем пишет и Карамзин в своих письмах, и Йокаи в романе «Свобода под снегом». Дюпре де Сент-Мор имеет личный опыт о жизни и культуре России: после падения Наполеона он оставил свою родину, поехал в Россию и долгие годы жил там, издавал антологию русских поэтов и описание путешествия под заглавием *L'Hermit en Russie* – также с очень положительной оценкой. Йоганн Шницлер представляет Александра I в выгодном свете, однако подчеркивает отрицательное влияние Аракчеева на него в последние годы царствования – мотив, который появляется и у Йокаи. Важно заметить и то, что немецкий автор дает довольно дифференцированную картину о декабристах: он критикует фанатических представителей (Якубовича, Каховского), но с симпатией упоминает Бестужева и братьев Муравьевых-Апостолов, как и Йокаи вслед за ним. Крузенстолп и Диксон сообщают пестрый материал о жизни и культуре России, об Александре и великом князе Константине. Влияние этих авторов также отражается в романе венгерского писателя. Йокаи знал и использовал произведения о России, содержащие негативные, критические оценки. В их числе можно назвать книгу маркиза де Кюстена (*La Russie en 1839*, Bruxelles 1843) и Фредерика Лакруа (*Les mystères de la Russie*, Paris, 1845). Последний автор дает особенно отрицательную картину о Российской империи под влиянием враждебных русско-французских отношений. Политические, дипломатические и военные события эпохи, союзы и конфликты заметно определяют восприятие русской культуры, концепцию тех авторов, которые посвящали работы русской истории и действительности. Интересно проследить, как чередуются положительные и отрицательные стереотипы о России в книгах западных авторов, но тем более любопытно заметить, когда тот или иной автор – несмотря на сложность ориентации в документах – сумеет построить независимую концепцию, захватить верные черты определенной исторической личности, хотя и с неточностями в деталях, но правильные в общем понимании. Мы считаем таким писателем и Мора Йокаи: на основе противоречивых мнений и предвзятых суждений о Российской империи ему удалось показать Александра I, декабристское движение и даже Пушкина в общих чертах верно, но с романтическими преувеличениями в подробностях. «Русская тема», как и турецкие сюжеты, для Йокаи обозначали восточную экзотику, из чего его богатая фантазия могла творить необыкновенные сочетания вымысла и действительности. Любопытно процитировать мнение исследователя Г. П. Герасимовой о том, как Йокаи мог найти «узкий путь» к правдивому

пониманию декабристской темы и в связи с ней – к сущности «украинского вопроса»:

«В романе "Свобода под снегом" Йокаи довольно верно воспроизводит деятельность тайных декабристских обществ, действовавших в Украине, – Южного и "Общества соединённых славян". Он сообщает об их планах, о доносе капитана Майбороды, переданном царю через генерала Рота, об аресте Пестеля, а также о героическом походе восставшего Черниговского полка, о чём, кстати, в России до 1871 г. не было известно почти ничего. [...]. Однако большой заслугой Йокаи следует считать тот непреложный факт, что уже самим обращением к украинской тематике он привлекал внимание к Украине, пробуждал интерес у своих читателей к её жизни, её истории, хотя преследовал при этом свои общественно-политические цели. [...] А это означает, что он имел свою собственную точку зрения на существование украинской нации как самостоятельного, отличного от русских этнического образования, имеющего право на свою государственность, что лишней раз доказывает его историческую прозорливость» (ГЕРАСИМОВА 2014: 156).

Именно эта «историческая прозорливость» помогала писателю реконструировать в исторических персонажах реальные черты характера, несмотря на недостатки документов. После разбора литературных предпосылок «Свободы под снегом» Йокаи мы вернемся к вопросу изображения Александра I и Пушкина в его романе, чтобы указать на похожие черты действительных личностей, запечатленные Карамзиным в письмах.

В главе «Царь улыбался!» изображается разговор царя с Пушкиным на праздничном приеме в Зимнем Дворце по поводу ссоры с цензором из-за бессмысленных искажений поэмы «Цыганы».³ Ситуация очень напряженна, высшее общество, все гости ожидают осуждения поэта, даже заранее выказывают презрение и злорадство к нему. Но Александр I, вопреки ожиданиям, помогает Пушкину положительно разрешить дело: чтобы не нанести ущерб авторитету цензуры, он предлагает напечатать поэму в Лейпциге и привезти обратно в Россию царской почтой. В разговоре речь идет и об эстетических ценностях поэмы, и таким образом свет падает не только на вкус и образованность царя, но и на его справедливость и благосклонность к подданным – почти как в сказках. Если же мы приведем свидетельство Карамзина о том, как он и Дмитриев старались помочь молодому Пушкину избежать серьезного наказания из-за «вольных» стихотворений и как царь акцептировал их покровительство, мы можем убедиться, что в изображении этой ситуации у Йокаи

³ Йокаи очень любил эту поэму Пушкина, и сам готовил перевод, который он сообщил в приложении романа. «Бахчисарайский фонтан» и ода «Вольность» также играют важную роль в романе.

есть доля «эпической правды». Из писем от 19-го апреля и 7-го июня 1820 года можно узнать следующие факты:

«А над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменами Либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей, и проч. и проч. Это узнала Полиция, etc. Опасаются следствий. Хотя я уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде; однакожь, из жалости к таланту замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю, что будет. Мне уже поздно учиться сердцу человеческому: иначе я мог бы похвалиться новым удостоверением, что либерализм наших молодых людей совсем не есть геройство и великодушие» (КАРАМЗИН 1866: 287).

«В прежних письмах я забыл сказать тебе, что ты, по моему мнению, не отдаешь справедливость таланту или поэмке молодого Пушкина, сравнивая ее с Энеидой Осипова: в ней есть живость, легкость, остроумие, вкус; только нет искусного расположения частей, нет или мало интереса; все сметано на живую нитку. Его простили за эпиграммы и за оду на вольность; дозволили ему ехать в Крым и дали на дорогу 1000 рублей. Я просил об нем из жалости к таланту и молодости: авось будет рассудительнее; по крайней мере дал мне слово на два года» (КАРАМЗИН 1866: 290).

Мотив «освобождения от цензуры» появляется и в жизни Карамзина: когда том IX «Истории государства Российского» был готов к печати, он опасался задержки со стороны цензора из-за описания тиранства Ивана Грозного. Он обратился к царю, и о результате пишет Дмитриеву 2-го ноября 1816 г.:

«Между тем Государь освободил меня от цензуры; но я не видел Его, и только однажды обедал у Императрицы вдовствующей» (КАРАМЗИН 1866: 199).

Из биографии Пушкина известны причины и обстоятельства его южной ссылки, неосторожное поведение, вольнолюбивые стихи, колкие эпиграммы против некоторых представителей власти (и в том числе против Аракчеева), но письма Карамзина показывают эти факты в прозаическом освещении, без романтического ореола над головой Пушкина. Либерализм «без геройства и великодушия», как пишет Карамзин, характеризует молодое поколение: высокие и отвлеченные идеалы свободы и нерассудительные поступки, бунт против власти и принятие милости из этого же источника. Известно также, что молодой поэт в конце 1810-х гг. написал острые эпиграммы против самого Карамзина, высмеял

«консервативного историографа», но позже вынужден был объясняться и признал авторство лишь одной эпиграммы (ТОМАШЕВСКИЙ 1956). Несмотря на эти взаимные критические, со стороны Карамзина иногда негодующие высказывания, между ними сохранились дружеские отношения. Пушкин знал и уважал Дмитриева с детских лет, что отражается и в их переписке 1830-х гг., а к Карамзину и его семейству он относится до конца жизни почтительно (ПЕРЕПИСКА ПУШКИНА 1982 II: 293).

В романе Йокаи тоже появляются знакомые моменты из биографии Пушкина: молодой, талантливый поэт, который знает себе цену; любит веселиться, умеет очаровать окружение, особенно дам, и свойственны ему некоторое легкомыслие, вызов и влечение к опасности. Йокаи использовал предисловие Фридриха Боденштедта (1819–1892) в немецком издании стихотворений Пушкина, Лермонтова и Фета: переводчик знакомит читателей с биографией Пушкина, из которой Йокаи черпал факты к литературному образу поэта (ЗЁЛЬДХЕЙИ-ДЕАК 2004: 56). Венгерский писатель создал симпатичную фигуру, ведь в книге Боденштедта он читал не только биографию, но и произведения Пушкина, высоко ценил их, и знал, что его литературный герой в общем должен походить на «оригинала». Романтический колорит, вымышленные приключения и любовные интриги показывают фиктивного Пушкина в несколько фантастическом, опереточном виде, но ум, талант и благородство преобладают в его образе. И как мы читаем в письмах Карамзина, двойственность личности – это настоящая черта: с одной стороны гениальность, с другой «нерассудительность» в поступках. Еще один пример из письма от 25 сентября 1822 г.:

«В поэме Либерала Пушкина слог живописен: я недоволен только любовными похождениями. Талант действительно прекрасной: жаль, что нет устройства и мира в душе, а в голове ни малейшего благоразумия» (КАРАМЗИН 1866: 337).

Сцена «освобождения от цензуры» появляется в реальной жизни Пушкина с изнаночной стороны: император Николай I призвал поэта из Михайловского к личной аудиенции 8 сентября 1826 г., чтобы освободить его от домашней ссылки и предложить ему быть союзником новой государственной политики. Так как перспектива императорской программы, план правительственных преобразований, изложенные Николаем I, совпали с убеждениями Пушкина, он принял предложение. В этой ситуации прозвучало знаменитое обещание царя освободить поэта от обычной цензуры: «Я сам буду твоим цензором». Известны тяжелые последствия этого «примирения с правительством» в жизни Пушкина (ЛОТМАН 1983: 139), мы здесь хотели лишь направить внимание на ин-

тересные вариации романного и действительного сценария «освобождения от цензуры».

Важным моментом в романе Йокаи является и двойственность характера Александра I: в роли государя он оказывается авторитетной, но несколько скрытной личностью, а в частной жизни, особенно по отношению к внебрачной дочери, милой и больной Софии Нарышкиной, мы видим нежного, любящего отца, выказывающего глубокие чувства. Автор показывает своего героя не только в отцовских, но и в других семейных связях, и положительные оттенки до конца остаются вокруг него. В главе «Брачный подарок» писатель очень эффектно рисует, как принимает участие царь в организации свадьбы Софии с Пушкиным. На апогее приготовлений Александр спрашивает жениха, какого приданого тот желает с невестой, и Пушкин отвечает: «Отец, дай конституцию твоим народам!» В продолжении Пушкин с пафосом перечисляет самые важные распоряжения, например удаление Аракчеева от власти, освобождение крепостных, упразднение цензуры; он просит императора послать войска помогать грекам в борьбе против турецкого ига, пригласить к службе правительства честных, благородных людей, отнять дело народного просвещения от Святого Синода и т. д. В конце речи звучит ключевое слово романа: «Дай нам свободы – и добудь себе славы!» Царь немедленно дает приказ исполнять просьбы – и читатель вдруг чувствует себя на грани двух миров: действительного и сказочного (т. е. желаемого). Йокаи играет с возможностью: как формировалась бы судьба России, если бы «сказочный сценарий» реализовался? Но под верхним слоем ситуации – как в палимпсесте – скрываются реальные проблемы русской истории в преддверии декабристского восстания. И в дальнейшем Йокаи так связывает в один узел исторические лица и события с фиктивными элементами, с яркими сценами из придворного мира и кабацкой черни, а также с приключенческими эпизодами укрывания «Зеленой книги», содержащей имена заговорщиков.

С вершины счастливой перспективы моментально падает вниз великий план реформ, исполнение желаний. «Сказочная» оболочка сцены разрывается: смерть Софии так сразила царя, что у него не остается сил взять верх и продолжать преобразования правительства – и, таким образом, опять побеждают злые силы, символ их, Аракчеев, снова возвращается в правительство, дух бунта в армии и народе усиливается, и путь ведет прямо к декабристскому восстанию. Но перед его взрывом писатель еще прослеживает царя по роковому пути в Крым, где он и умирает. Письмо Карамзина от 1-го декабря 1825 г. о смерти Александра по настроению очень близко подходит к этой части романа:

«Любезнейший друг! Мы не имели времени приготовиться к удару: изумились и хотели бы плакать еще больше, нежели плачем, если бы можно было заплатить слезами всю дань любви и признательности к не-

забвенному для нас Александру. Он еще действует на мою судьбу земную: Его Мать добродетельная, Брат, Великие Княгини верят моей искренней, чистой к Нему любви, и видят меня, чтобы плакать вместе. Союз печали имеет свою сладость [...] Пишу тебе единственно для того, чтобы прижать тебя к сердцу в горести глубокой. Я равнодушен к судьбе России; но теперь сердце занимается только жалостью, что не стало того, кого мы любили! Будь здоров, милый друг. Навеки твой Н. Карамзин» (КАРАМЗИН 1866: 410).

В главах о путешествии царя в Крым и о его смерти опять переплетаются сказочные, живописные сцены с приближающимися тучами настоящей истории. В конце романа, в короткой главе «Деревяшки долой!», описываются события, предшествующие бунту: проблемы престолонаследия, неопределенность при Дворе, а потом сцены восстания, в описании которых Йокаи точно следует своим источникам. Некоторые моменты романа перекликаются с описанием декабрьских событий в письмах Карамзина. Так пишет свидетель к своему другу 19 декабря 1825 года:

«Любезный друг! Мы здоровы после здешней тревоги 14. Дек. Я был во Дворце с дочерьми, выходил и на Исаакиевскую площадь, видел ужасные лица, слышал ужасные слова, и камней пять-шесть упало к моим ногам. Новый Император оказал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела разсеяли безумцев с Полярною Звездой,⁴ Бестужевым, Рылевым и достойными их клеветами. Милая моя жена нездоровая прискакала к нам во дворец около семи часов вечера. Я, мирный Историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятежа. Ни крест, ни Митрополит не действовали. Как скоро грянула первая пушка, Императрица Александра Федоровна упала на колени и подняла руки к небу. Она несколько раз от души говорила: „для чего я женщина в эту минуту!“ Добродетельная Императрица Мария говорила: „Что скажет Европа!“ Я сучился подле них: чувствовал живо, сильно, но сам дивился спокойствию своей души странной; опасность под носом уже для меня не опасность, а рок, и не смущает сердце: смотришь ей прямо в глаза с какою-то тишиною. В большой зале Дворца толпа знати час от часу редела; однакожь все было тихо и пристойно» (КАРАМЗИН 1866: 411–412).

Карамзин явно и последовательно выражал свое несогласие с радикальными идеями молодого поколения, в письмах часто критиковал «безумных либералов». Он считал конституционную монархию для

⁴ «Полярная Звезда» декабристов под редакцией Бестужева и Рылева выходила с 1823 по 1825 г.

России подходящим государственным строем, а в политике одобрял умеренно-либеральное направление. В молодости, будучи свидетелем французской революции в Париже весной 1790 года, он понял, что мятеж и революция ведут лишь к новому тиранству, но не решают основных проблем государства. Что касается концепции Йокаи, тут опять можем заметить некоторую параллель: «Свободолюбивый кумир Венгрии, достоверно воспроизводя эпохи бурного прошлого своей родины», как характеризует его Г. П. Герасимова (ГЕРАСИМОВА 2014: 147), в изображении декабристского восстания дает почувствовать глубокие противоречия истории. С одной стороны, он подтверждает справедливые стремления к реформам, неизбежность модернизации страны, с другой – указывает на опасность анархии, когда преобразования хотят достичь насилием. Как Йокаи, так и Карамзин по собственному опыту знали, что такое революция, в молодости они не только были свидетелями революции, но венгерский писатель и сам участвовал в событиях 1848-1849 года, а в зрелом возрасте оба пришли к убеждению, что постепенные реформы вместо радикальных переворотов и восстаний больше способствуют уравновешенному развитию государства.

В конечном итоге можно установить, что из параллельного чтения романа Йокаи и писем Карамзина открывается до сих пор неиспользованная возможность исследовать поэтику венгерского писателя с новой точки зрения и выявить в эпистолярной прозе русского Историографа литературные мотивы и краски, освещающие концепцию венгерского романа с новой стороны. Кроме исторических и литературных фактов в переписке Карамзина открывается и внутренний, духовный мир писателя с его рефлексиями на «живую жизнь». Мы видим преемственность между этими документами жизни и ранней его прозой, в которой уже появляется главная писательская цель автора: изобразить внутренние душевные состояния человека. В настоящей статье мы старались указать на главные моменты связей жизни и литературы в компаративном аспекте, и на возможные перспективы дальнейшего анализа.

Литература

- ГЕРАСИМОВА 2014 = ГЕРАСИМОВА Г.П. Мор Йокаи и Украина // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія», вип. 1 (32), 2014.
- ДМИТРИЕВ 1986 = ДМИТРИЕВ И.И. Взгляд на мою жизнь // Записки д. т. с. Ивана Ивановича Дмитриева: В 3 ч. [Предисл.: Мих. Дмитриев; Общ. прим. ко всем 3 ч. сост. М.Н. Лонгиновым]. Москва: изд. М.А. Дмитриев, 1866.
- ДУРЫЛИН 1937 = ДУРЫЛИН С.Н. Александр Дюма-отец и Россия // Литературное наследство [Русская культура и Франция. II] Том 31/32: Пригот. С.А. Макашин. М.: Жур.-газ. объединение, 1937. 491–562.
- ЗЁЛЬДХЕЙИ-ДЕАК 2004 = ЗЁЛЬДХЕЙИ-ДЕАК Ж. Роль немецкого посредничества в венгерской рецепции русской литературы (XIX век). München: Verlag Otto Sagner, 2004.

- КАРАМЗИН 1862 = КАРАМЗИН Н.М. Неизданные сочинения и переписка. Часть I. Спб: 1862.
- КАРАМЗИН 1866 = КАРАМЗИН Н.М. Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. Издание II-го Отделения Императорской Академии наук. Издали с примечаниями и указателем Я. Грот и П. Пекарский. Санктпетербург: 1866.
- КАРАМЗИН 1998–2008 = КАРАМЗИН Н.М. Полное собрание сочинений в 18-ти томах. Москва: изд. «Тerra», 1998–2008.
- ЛОТМАН 1983 = ЛОТМАН Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Ленинград: «Просвещение», Ленинградское отделение, 1983.
- ЛОТМАН 1987 = ЛОТМАН Ю.М. Сотворение Карамзина. Москва: «Книга» 1987.
- ПЕРЕПИСКА ПУШКИНА 1982 = Переписка А.С. Пушкина в двух томах. Сост. и комм. В.Э. Вацуро, М.И. Гиллельсон, И.Б. Мышина, М.А. Турьян. Москва: «Художественная литература», 1982.
- ПОГОДИН 1866 = ПОГОДИН М.П. Н.М. Карамзин. Материалы для биографии. Часть 2, МОСКВА: Тип. Мамонтова, 1866.
- СИПОВСКИЙ 1899 = СИПОВСКИЙ В.В. Н.М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». Санкт-Петербург: 1899.
- ТОМАШЕВСКИЙ 1956 = ТОМАШЕВСКИЙ Б.В. Эпиграммы Пушкина на Карамзина // Пушкин: Исследования и материалы. АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 1. 208–215.
- JÓKAI 1965 = JÓKAI M. Szabadság a hó alatt avagy a Zöld könyv. S. a. r. D. Zöldhelyi Zsuzsa. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965. Jegyzetek: 234–272.

The Notes to the Correspondence of N. M. Karamzin – In the Context of Comparative Literature. This paper treats the letters of N. M. Karamzin to I. I. Dmitriev, written between 1787 and 1826. The aim of the author is to investigate the connections of private life, literature and history in the correspondence of the two poets and point out the common motifs with the novel of the Hungarian writer, Mór Jókai Freedom under the snow (1879). The novel deals with the revolt of decabrists in 1825, in which the real historical figures, like tsar Alexander I and Pushkin, play an important role. The author of the paper comes to the conclusion that the similarities in the characters can be interpreted as the common spiritual attitude of Karamzin and Jókai, and in the other hand, as the Hungarian writer's great interest in the Russian history and his profound knowledge in that area.

Keywords: correspondence, Karamzin, Dmitriev, Pushkin, Jókai Mór, decabrists, Alexander I.

ДАГНЕ БЕРЖАЙТЕ
(Вильнюс, Литва)

Проблема представления материнства в русской литературе XIX века¹

Аннотация: Бытует мнение, что образам матерей, изображенным русскими писателями, свойственна склонность к самопожертвованию, а материнская любовь представлялась исключительно иконообразной. В данной статье, опираясь на концепцию исторического развития понятия материнства, подобное мнение оспаривается, и в качестве доказательства приводятся примеры из творчества Некрасова, Толстого и Достоевского, которые изображали материнство исходя из принятых в то время представлений о его функциях. Русские писатели, изображая матерей, одновременно намечали те тенденции, которые в освещении проблем материнства, которые будут выдвинуты лишь много лет спустя феминистской критикой.

Ключевые слова: материнство, русская литература, XIX век, Некрасов, Достоевский, Толстой

Не раз приходилось убеждаться, что нежелание учитывать при исследовании того или иного явления элементарный исторический подход, предполагающий изучение вопроса в его возникновении и развитии, приводит не всегда к верным выводам. Это касается как важных, так и менее значительных вопросов. Является ли тема материнства в русской классической литературе актуальной и значимой сегодня,² пусть решает каждый для себя. Но ее освещение как в научной литературе, так и в популярных массовых источниках позволяет выявить неточность, а иногда и ложность

¹ The MotherNet project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 952366. Проект MotherNet получил финансирование от исследовательской и инновационной программы Horizon 2020 Европейского Союза в соответствии с соглашением о гранте № 952366.

² В связи с политическими событиями весны 2022 г. в обществе не утихают разговоры о роли русских матерей, не препятствующих отправке своих сыновей на войну в Украину, не выступающих против войны в целом. 19 мая в Вильнюсском университете в рамках международного проекта MotherNet (TWINNING programme) состоялась встреча ученых, которые как раз обсуждали этот вопрос. Внимание к междисциплинарным исследованиям в непростые времена, кажется, только усиливается.

некоторых ранее высказанных выводов, или, как часто случается сегодня, склонность к приукрашиванию, умалчиванию неприятного и спорного. Тем более, что тема материнства в русской литературе, кажется, достаточно широко обсуждается на уроках русской литературы. На официальной веб-странице «Банк аргументов ЕГЭ по русскому языку и литературе», помогающей подготовке школьников в сдаче государственного экзамена, предлагаются отдельные тезисы и полное, с точки зрения составителей сайта, собрание аргументов на тему «Материнская любовь». Вот некоторые из тезисов: «Любовь матери не зависит от условий и обстоятельств, она естественна и неотделима от женщины»; «Чувства женщины к детям святы и бескорыстны. Их нельзя симулировать, нельзя купить и продать. Они – основа женской природы»; «Мать любит дитя больше себя и жертвует ради него всем, что имеет» (МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ: URL). На другом сайте, предназначенном уже и для студентов, пишут, что «Русская литература транслирует читателям идею уважительного отношения к матерям [...]; главной чертой материнских персонажей в русской литературе является их безграничная, безотчётная любовь к своим детям»; «Героини в русской литературе изображены по отношению к своим детям добрыми, милосердными, отзывчивыми. В художественных произведениях раскрывается искренняя любовь матери к своему ребенку, показывается, что именно дети являются смыслом жизни матери. Жизнь ребенка для матери становится важнее собственной» (ОБРАЗ МАТЕРИ: URL). Для доказательства составители сайтов приводят цитаты из творчества Д. Фонвизина, А. Островского, Н. Некрасова. Примеры в разных источниках повторяются, певцом идеального материнства чаще всего называется Некрасов.

Однако среди приведенных в качестве примеров текстов Некрасова («Мороз, расный нос», «Орина, мать солдатская», «Мать», «Рыцарь на час» и др.) отсутствует поэма «Русские женщины», одна из двух героинь которой, княгиня М. И. Волконская, отправляясь вслед за мужем в Сибирь, оставляет дома своего маленького сына. Вот ее слова: «ежели выбор решить я должна/ Меж мужем и сыном – не боле –/ Иду я туда, где я больше нужна...» (НЕКРАСОВ 1971: 334). Героиня жертвует своей материнской привязанностью к сыну во имя более важных для нее идеалов. Ни у кого из современников поэта это не вызывало вопросов. Всем было известно, что жена другого декабриста Н. Муравьева тоже оставила на попечении у родственников троих детей, а декабристка А. Давыдова ради мужа была вынуждена проститься даже с шестью малолетними детьми. И дело здесь не в черствости или в отсутствии святых материнских чувств. Именно такое поведение женщины в семье являлось нормой, так как материнство в XIX веке воспринималось и оценивалось совсем по-другому, нежели принято сейчас. С одной стороны, как указывает А. Белова, «парадоксально [...], что судьба женщины программировалась как репродуктивная (а скорее всего – именно вследствие этого),

материнство не было осознанным индивидуальным женским проектом» (БЕЛОВА 2021: 69); с другой – отнюдь не во всех дворянских семьях возникала эмоциональная близость между матерями и их детьми, так как младенцев сразу спешили отдавать кормилицам.³ Подобная ситуация отчетливо представлена уже в современном романе М. Степновой «Сад» (2020), рассказывающем о жизни в русских поместьях во второй половине XIX века: «Она их не любила никогда. Своих старших детей. Теперь это было совершенно ясно. И они ее не любили – да и за что ее было любить? Родители нужны для почитания. Ее собственная мать, вспылчивая и рослая красавица, всего однажды взяла ее на руки...» (СТЕПНОВА 2021: 71).⁴

Как отмечает социолог О. Исупова: «Исторически в западной и других культурах в Средние века и тем более раньше материнство отнюдь не было основным предназначением женщины. Главной задачей всей семьи или того или иного человеческого коллектива было элементарное выживание» (ИСУПОВА 2015: URL). «Само понятие материнства исторически постоянно менялось и к тому же очень сильно зависело от культуры» (ИСУПОВА 2021: URL). Это только в XX веке к материнству стали относиться как к очень ответственному проекту, требующему от матери полной самоотдачи, самопожертвования. В связи с чем закрепилось обозначение “интенсивное материнство”, означающее «идеал материнского поведения, который включает в себя семейную и воспитательную стратегию, центром которой является ребенок» (ИСУПОВА 2018: URL).⁵ Материнство, предполагающее интенсивную, сознательную детоцентричность, действительно воспринимается в обществе как нечто заслуживающее поклонения и почитания. Однако в более позднее время сложившееся представление о таком материнстве не должно накладываться на изучение образов матерей в литературе, созданной совсем в других условиях и в другом понимании самого явления. О том, что вопрос материнства, активно анализируемый сегодня целым рядом наук (психологией, философией, социологией, культурологией, медициной, физиологией, антропологией, литературой), в России долгое время не представлялся значимым, свидетельствует и тот факт, что для его обозначения в русском языке

³ Да и «частые смерти детей накладывали свой отпечаток на отношение к ним матерей: у одних боль от их утрат притуплялась» (ПУШКАРЕВА: URL).

⁴ Об особом культе почитания родителей, об их полной власти над детьми, царившей в русских дворянских семьях, в своем исследовании «Дворянская семья: Культура общения. Русское столичное дворянство первой половины XIX века» пишет историк А. Шокарева.

⁵ У истоков того, что ближе всего стоит к пониманию «интенсивного материнства», стоит, по словам Исуповой, Ж.- Ж. Руссо. Но его идеи шире стали распространяться в России не раньше середины XIX века.

имеется лишь одно название,⁶ когда, скажем, в английском есть и motherhood, maternity, mothering, momming, применяемые в разных контекстах и значениях.

Но русская литература и сама никогда не давала повода для распространения мифа о каком-то одинаковом для всех, *святом* типе материнской любви. Русскими писателями XIX века были созданы самые разные образы матерей: от Rachette, всеми самодержавно управлявшей матери Татьяны Лариной, до себялюбивой Марии Дмитриевны Калитиной в «Дворянском гнезде»; от гордой и эгоистичной матери Нелли до добродушной, наивной Анны Андреевны Ихменевой в «Униженных и оскорбленных»; от честной, эмпатичной Пульхерии Александровны Раскольниковой, рассудительной Елизаветы Прокофьевны Епанчиной, властной Варвары Петровны Ставрогиной до карикатурно стремящейся идти в ногу со временем госпожи Хохлаковой; от матери Дмитрия Карамазова, впустившейся в полную эмансипацию беглянки Аделаиды Ивановны, и запуганной, болезненной Софии Ивановны, матери Ивана и Алеши Карамазовых, от трагически запутавшейся Анны Карениной, талантливой, но самолюбивой Аркадиной и непрактичной, легкомысленной Любви Андреевны Раневской до по-настоящему пугающей, жестокой, делящей детей на любимчиков и постылых Арины Петровны Головлевой, настоящего символа всех ужасов крепостнической России. Среди изображенных русскими писателям героинь на самом деле не так много соответствующих тем идеальным матерям, описанным в методических указаниях «как сдать экзамен по русской литературе». Пожалуй, лишь героиня романа Ф. Достоевского «Подросток», Софья Андреевна Долгорукая, как верно заметил П. Е. Фокнин, единственная «устойчиво именуется “мамой”». По мнению исследователя, именно в ней писатель «нашел окончательную формулу материнства» (ФОКИН 2013: 151; 154).

К представлению о *долженствующем* образе матери, *конструкту идеального материнства*, созданному «по решению мужской части властного и врачебного сообщества по улучшению демографической обстановки в стране» (МИЦЮК 2021: 324), безусловно приближаются и образы графини Ростовской из «Войны и мира» и Долли Облонской из «Анны Карениной». Здесь важно то, что двое последних изображены Л. Толстым, последователем идей Руссо, точно знающим, какой должна быть идеальная мать.⁷ Можно предположить, что Толстой свою Анну Каренину к неиз-

⁶ Хотя, как отмечает Н. Пушкарева в статье «Мать и материнство на Руси (X-XVII века)», «само слово “матерство” (материнство) и было известно по источникам с XI в.» (ПУШКАРЕВА: URL).

Как указывает Исупова, Ж.-Ж. Руссо полагал, что «у мужчин и женщин есть отдельные сферы деятельности (публичная сфера – мужская, а приватная – женская) [...]. Главная задача женщины – это материнство, причем материнство интенсивное, то есть связанное с образованием детей, с тем, чтобы вырастить их

бежной гибели подвел не столько из-за ее отношений с Вронским, Карениным, высшим светом и с собой, сколько из-за ее несоответствия, с точки зрения писателя, образу идеальной матери, которая ради своей эгоистической любви к мужчине оказалась способной отказаться от сына. И этот поступок, в свою очередь, лишил ее возможности по-настоящему полюбить дочь Аню. Сам того не желая, Толстой, будучи абсолютным сторонником всего естественного, каким, по его мнению, является материнская любовь, подвел к разговору о том, о чем стали писать лишь в конце XX века – «о социально-конструктивистской природе материнства, опровергающей теорию, согласно которой материнские чувства [...] обусловлены исключительно биологическими факторами» (МИЦЮК 2021: 320⁸). В любом случае Толстой подчеркнул неоднозначность и противоречивость материнских чувств Анны: она не может жить без сына Сережи, рожденного от Каренина, и от рокового решения ее не удерживает даже ожидающая в будущем полная неясность положения, сиротство ее дочери, рожденной от столь любимого Вронского.

Но даже и без этих пропущено слово во многом парадоксальных для самого Толстого, однако значимых для сегодняшних феминистических выводов, коллизия «матери – дети» в русской литературе XIX века была во многом новой, в отличие от темы самостоятельного женского выбора в любви, темы адюльтера. Последние все же были знакомы русским читателям еще с 30-х годов по роману Ж. Санд «Жак», а также по повестям А. Герцена «Кто виноват?», А. Дружинина «Полинька Сакс», по роману Н. Чернышевского «Что делать?» и некоторым другим произведениям. Любовная линия, в основном лидировавшая в русской литературе при изображении женской судьбы, постепенно и не без влияния Толстого стала если не уступать место, то хотя бы освобождать пространство для разговоров о женскости в связи с материнством. До этого все же в русской дворянской литературной традиции, словно предчувствовавшей свой недолгий век, *женская любовная* коллизия превалировала над *женской материнской*. Как в «Письме к амазонке» писала М. Цветаева: «“У любящих не бывает детей“. Да, но они гибнут. Все. Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Амазонка и Ахиллес. Зигфрид и Брунгильда (эти имеющие быть любовники, разъединенно-соединенные, чье любовное разъединение оборачивается наисовершеннейшим из единений...) и многие, и многие другие... Всех песен, всех времен, всех мест. У них нет времени для

достойными, образованными людьми, которые – если это сыновья – будут совершать великие дела и – если это дочери – будут растить новых великих сыновей» (ИСУПОВА 2021: URL).

⁸Мицюк опирается на хорошо известные в феминистических кругах исследования: А. Rich “*Naître d'une femme: La maternité en tant qu'expérience et institution*” (1980), E. Badinter “*Existe el instinto maternal? Historia del amor maternal*” (1991), N. Chodorow “*The Reproduction of Mothering*” (1999).

будущего, которое есть ребенок, у них нет ребенка, ибо у них нет будущего, у них есть только настоящее – их любовь и смерть, безотлучно стоящая подле. Гибнут они – или гибнет любовь» (ЦВЕТАЕВА: URL). И только роман Горького «Мать», героями которого являются выходцы отнюдь не из дворянской среды, начинает новый разговор на тему женщины-матери.

Среди русских писателей XIX века в изображении разнообразия и противоречивости материнских чувств к Толстому приближается только Достоевский. Возможно, в этом вопросе он даже опережает Толстого. Исследователи не раз прибегали к систематизации различных образов матерей в творчестве Достоевского.⁹ Но Достоевский не был бы Достоевским, если бы ко всему, сказанному о нем, ничего нельзя было бы добавить. Можно было бы, например, оспорить вывод Фокина о том, что полномерно изображать образы матерей писатель стал лишь во второй половине творческого пути. А как тогда быть с образом Марьи Александровны Москалевой из повести «Дядюшкин сон (*Из мордасовских летописей*)» (1859), одного из самых ярких женских образов у Достоевского, героини, в образе которой свои контуры приобрели черты будущего героя-идеолога, настоящего генератора идей и действий? Такого сочетания женщины-матери и дирижера всему и всем больше не встретишь в произведениях Достоевского.¹⁰ Мы все привыкли к тому, что женские образы у этого писателя обречены на вспомогательную роль, нас всех устраивала мысль Г. Гачева о том, что у Достоевского «нет матерей, есть отцы» (ГАЧЕВ 1995: 20). Но в центре первого послекаторжного произведения о Мордасовских нравах оказалась не просто водевильная история сватовства старого князя. Князь здесь служит лишь инструментом, при помощи которого госпожа Москалева, манипулирующая прежде всего своим материнским положением и чувствами, стремится к утверждению в обществе. Собственная выгода, а не интересы дочери, толкают мать на все те интриги, которые лежат в основе сюжета повести.

В этом произведении Достоевский изобразил и всю гамму материнско-дочерних отношений, привлечших серьезное внимание исследователей лишь с появлением феминистических подходов в изучении женских текстов и впервые теоретически обоснованных в уже ставшем классикой ис-

⁹Следующие исследования на интересующий нас вопрос были опубликованы лишь за последние 15 лет: М. Лосева. «Некоторые аспекты материнского и отцовского комплекса в „Преступлении и наказании“» (2008); П. Фокин. «Достоевский. Перепрочтение»; В. Жаркова, О. Токсабаева. «Концепция материнства в творчестве Ф. М. Достоевского» (2015); J. Tucker. “Readings the Sons Through their Mothers in The Brothers Karamazov” (2010); K. Briggs, “Dostoevsky, Women, and the Gospel: Mothers and Daughters in the Later Novels” (2009).

¹⁰ Более подробно об этом нами писалось в статье «К вопросу о театральности, или что начинается в повести Ф. М. Достоевского “Дядюшкин сон”?».

следовании М. Гирш «Материнско-дочерний сюжет. Повествование. Психоанализ. Феминизм» (М. Hirsch. “The Mother / Daughter Plot“ [1989]). Достоевский, оказывается, и в этой области кое-что предсказал и не только в рамках литературы. В глазах Москалевой дочь Зина становится «хорошей» лишь когда жертвует своим личным счастьем (прерывает отношения с возлюбленным Васей) и полностью подчиняется воле более мудрой матери, думающей прежде всего об интересах семьи (Зина соглашается выйти замуж за старого князя).¹¹ Немаловажную роль в конструировании классического материнско-дочернего сюжета играет и фигура третьего – обязательно отсутствующего, устраненного или самоустраивающегося отца. В повести Достоевского мужа Москалевой, Афанасия Матвейча, давно уже сослали в деревню в качестве никчемного, «решительно недостойного принадлежать Марье Александровне» (ДОСТОЕВСКИЙ 1988: 393).

«Дочки-матери» – богатый сюжет у Достоевского. Вспомним «Хозяйку», «Неточку Незванову», не говоря уже о сложных женских историях в «Униженных и оскорбленных». И вся мужская русская литература позапрошлого века, никогда специально не уделявшая внимания изображению всего, связанного с материнством, представила не так мало подобных сюжетов. В этом плане она не сильно уступает последующей женской прозе, вынесшей не всегда светлые и радостные темы с периферии в центр. Русская литература не боялась писать правду. Будем честны хотя бы тогда, когда ее перечитываем.

Литература

- БЕЛОВА 2021 = БЕЛОВА А.В. Интимная жизнь русских дворянок в XVIII – середине XIX века) // Сметая запреты. Очерки русской сексуальной культуры XI-XIX веков. Москва, 2021. 57–198.
- ГАЧЕВ 1995 = ГАЧЕВ Г.Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. Москва, 1995.
- ДОСТОЕВСКИЙ 1988 = ДОСТОЕВСКИЙ Ф.М. Дядюшкин сон (*Из мордасовских летописей*) // Собр. соч. в 15 тт., т.2. Ленинград, 1988. 391–518.
- ИСУПОВА 2015 = ИСУПОВА О.Г. Интенсивное материнство в России // ПостНаука. <https://postnauka.ru/video/38481>
- ИСУПОВА 2018 = ИСУПОВА О.Г. Интенсивное материнство в России: матери, дочери и сыновья в школьном взрослении // Новое литературное обозрение. https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyi_zapas/119_nz_3_2018/article/19928/

¹¹Социолог А. Шадрина в своей книге «Дорогие дети: Сокращение рождаемости и рост “цены” материнства в XXI веке» (2017) пишет: «Быть “хорошими” друг для друга часто означает для нас предавать самих себя [...]. В некоторых случаях мамыны соображения, продиктованные стремлением быть “хорошей матерью”, противоречат моим взглядам на личное благо» (ШАДРИНА: URL).

- ИСУПОВА 202 = ИСУПОВА О.Г. Интенсивное материнство // ПостНаука. <https://www.youtube.com/watch?v=eYQxTil6Fdc>
- МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ = Материнская любовь // Банк аргументов ЕГЭ по русскому языку. <https://bank-argumentov.info/materinskaja-ljubov-argumenty-egje/>
- МИЦЮК 2021 = МИЦЮК Н.А. Рационализация сексуальности: медицинский, публицистический и феминистский дискурсы // Сметая запреты. Очерки русской сексуальной культуры XI–XIX веков. Москва, 2021. 310–415.
- НЕКРАСОВ 1971 = НЕКРАСОВ Н.А. Русские женщины // Стихотворения. Поэмы. Москва, 1971. 298–360.
- ОБРАЗ МАТЕРИ = Образ матери в русской литературе // Справочник. https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/obraz_materi_v_russkoy_literature/
- ПУШКАРЕВА 1996 = ПУШКАРЕВА Н. Мать и материнство на Руси (X–XVII века) // Человек в кругу семьи. https://www.booksite.ru/ancient/reader/family_05.htm
- СТЕПНОВА 2021 = СТЕПНОВА М.Л. Сад. Москва, 2013.
- ФОКИН 2013 = ФОКИН П.Е. Достоевский. Перепрочтение. С.-Петербург, 2013.
- ЦВЕТАЕВА 1934 = ЦВЕТАЕВА М.И. Письмо к амазонке // Наследие Марины Цветаевой. https://www.tsvetayeva.com/prose/pr_pismo_k_amazonke
- ШАДРИНА 2017 = ШАДРИНА А. Дорогие дети: Сокращение рождаемости и рост «цены» материнства в XXI веке // LoveRead.Ес. http://loveread.me/read_book.php?id=68613&p=61

Towards the Problem of Motherhood in Russian Literature of the 19th Century. For the objective reasons, Russian masculine literature of the 19th century did not pay attention to maternal subjects, which play an important role in women's prose, especially in the modern one. There is an opinion that the images of mothers depicted by the Russian writers are characterized by a tendency to self-sacrifice, and maternal love seemed to be described as exclusively iconic. This article aims to deny this statement because it's not based on the historical development of the concept of motherhood. The examples from the works of Nekrasov, Tolstoy and Dostoevsky, who portrayed images of mothers, demonstrate that their attitude towards motherhood was based on the understanding of its functions typical to that time. The Russian writers also outlined some trends that would be put forward by feminist criticism in the field of motherhood problems.

Keywords: motherhood, Russian literature, 19th century, Nekrasov, Dostoevsky, Tolstoy

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА АЛЕКСАНДРОВА
(Нижний Новгород, Россия)

**Стихотворение Давида Самойлова «Поэт и гражданин»
в свете рецепции «Войны и мира» Льва Толстого**

Аннотация: Программное поэтическое высказывание Давида Самойлова глубоко изучено в аспекте жанровой традиции, диалога с поэтами-современниками, а также в качестве важного этапа освоения этико-философского наследия Толстого – идеала единства «детей человечества». Однако до сих пор недостаточно исследован такой творческий импульс Самойлова, как испытание гуманистических заветов классика в событиях XX века. Предметом данной статьи является превращение толстовской по своим истокам «мысли народной» в напряжённую рефлексию поэта о воюющем народе, её воплощение в образном строе стихотворения «Поэт и гражданин».

Ключевые слова: Лев Толстой, «Война и мир», 1812 год, миф, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, гуманизм

«“Война и мир” по заданию, но не по восприятию читателя, – канонизация легенды» (ШКЛОВСКИЙ 1928: 75): отношение Толстого к изображаемым событиям «не было ни чисто познавательным, ни чисто творческим – оно было мифотворческим» (ЩЕРБАКОВ 2013: 310). Автору «Войны и мира» удалось «одолеть и подчинить себе историю» (ДЕ-ПУЛЕ 2002: 318) благодаря убедительному для многих поколений запечатлению высших ценностей: «Созидаются новые отношения между людьми, на совершенно иной основе, чем прежде, невозможной до этой войны, *да и после неё, но такие отношения, которые должны были бы быть всегда*, – “общая жизнь”, человеческое единство во имя простой и ясной, не разделяющей разных людей, но связующей их задачи» (БОЧАРОВ 1987: 17).¹ Этико-философская концепция мира как единства «детей человечества» (ТОЛСТОЙ 1940б: 39) в рецепции потомков чаще всего оказывалась второстепенной по отношению к ценности национального единения, актуальной для участников и свидетелей повторяющихся войн.

Признание событий 1812 года «эталоном всенародного противостояния вторжению извне» (МЕЛЬНИКОВА, ПОДМАЗО 2012: 13) состоялось главным образом благодаря Толстому: «В годы войны [с Гитлером] люди жадно читали “Войну и мир”, – чтобы *проверить себя* (не Толстого, в чьей

¹ Здесь и далее курсив в цитатах наш (М.А.)

адекватности жизни никто не сомневался). И читающий говорил себе: так, значит, это я чувствую правильно. Значит, так оно и есть» (ГИНЗБУРГ 1987: 334). Толстой помогал выстоять в эпоху куда более жестокую, чем наполеоновская: «Кто был в силах читать, жадно читал “Войну и мир” в блокадном Ленинграде» (ГИНЗБУРГ 1987: 334).

Толстовская идея «народной войны» как насилия вынужденного, меру которого определяет непогрешимое нравственное чувство защитников родины, вдохновляла многих советских писателей; при этом освоение классического наследия происходило в специфических обстоятельствах. С одной стороны, государство навязывало собственную трактовку «народной войны», «“обструганную” до состояния болванки» – пресловутой «дубины» (МИЛЛЕР 2015: 21); применительно ко второй Отечественной «дубину народной войны» следовало понимать в духе официальной идеологии «ярость народная». С другой стороны, на фоне книги Толстого осмысливалась борьба с особым врагом. Гитлеризм, провозгласивший свободу от совести, подверг совесть противоположной стороны страшному искушению: «Наши ребята не были ни злыми, ни жестокими, но так долго дорывались до Германии, таким чувством мести и негодования переполнены были сердца, что, конечно, хотелось разгуляться с кистенём и порушить, пожечь, покуражиться зло и весело, отвести душу *по-разински, по-пугачёвски*» (САМОЙЛОВ 2014: 317). Автор этих воспоминаний наиболее бескомпромиссно поставил вопрос о народном идеале Толстого и нравственных уроках «Войны и мира».

В личном опыте Давида Самойлова «Война и мир» стала главной книгой, которая «давала надёжные опоры духу» при необходимости самоопределения будущего солдата: «Желание стать солдатом, стать как все, надеть шинель и подвергнуться всему, чему должен подвергнуться солдат, и именно в этом риске, страхе и смерти обрести своё лицо и индивидуальность – добровольно утратить лицо и усилием воли, веры и долга обрести его в новом качестве – вот о чем я думал тогда» (САМОЙЛОВ 2014: 249); сравним: «Солдатом быть, просто солдатом! [...] Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими» (ТОЛСТОЙ 1940а: 29). Но *вхождение в общую жизнь* дало юному интеллигенту памятные на всю жизнь впечатления, которых герои «Войны и мира» не знали. Рождённая этим несовпадением коллизия до сих пор не была выявлена и осмыслена исследователями, хотя к такой постановке проблемы вплотную приблизились А.С. Немзер и Е.В. Тупова; на их работы мы будем в дальнейшем опираться.

Наши предшественники справедливо указывают, что самойловская рецепция «Войны и мира» может быть понята лишь в контексте других попыток апеллировать к наследию классика при воссоздании войны 1941–1945 годов: «Подражатели Льва Толстого в отдельных случаях могли копировать его интонации и повторять его ситуации, не понимая истин-

ного значения нравственной позиции Толстого по отношению к войне», расходясь с толстовским стремлением «найти в структуре войны *исконные, нетленные черты народного быта и народного характера, которым по существу чужда война*, – от капитана Тушина до Платона Каратаева» (САМОЙЛОВ 2014: 285, 610). Глубоко понимая толстовскую «мысль народную»,² писатель задумал в начале 1970-х «Повесть о Московском сражении», посвящённую событиям сентября–декабря 1941 года (САМОЙЛОВ 2002б: 51, 54); но произведение, ориентированное на бородинские главы «Войны и мира», так и не было написано.

Причины отказа от столь важного замысла коренятся не только в утаённом от наблюдения сложном творческом процессе. Многие объясняет оценка Самойловым бородинского феномена, опережающая и подступ к художественной прозе, и дневниковые размышления о войнах, чей исход определило торжество «народного идеализма» (САМОЙЛОВ 2002б: 316). Раннее стихотворение «Пора бы жить нам научиться...» (1946) – реплика в диалоге с друзьями из «поколения сорокового года»,³ которые накануне главного испытания мечтали о невиданных вселенских боях за коммунизм, а в разгар войны нашли источник вдохновения в предании о 1812 годе. Так, Михаил Кульчицкий итожит стихотворение «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» (1942) формулой: «Не до ордена. // Была бы Родина // *С ежедневными Бородино*» (СОВЕТСКИЕ ПОЭТЫ 2005: 228). Завещание погибшего под Сталинградом поэта могло дойти до Самойлова в том варианте, который запомнил и часто цитировал Борис Слуцкий: «...Была бы Родина // Пусть хоть *после ста Бородино*». ⁴ Уповая на повторяемость событий, писатели-фронтовики не только выражали веру в неизбежность победы, но и возводили происходящее на идеальную высоту.

Напротив, Самойлов вынес из всего пережитого чувство, что бородинский идеал недостижим для его поколения:

Опять зелёные погоны,
Опять военные посты
И деревянные вагоны,
И деревянные кресты.
*Но нет! уже не повторится
Ещё одно Бородино,*

² «[...] в “Анне Карениной” я люблю мысль семейную, в “Войне и мире” любил мысль народную, вследствие войны 12-го года» (ТОЛСТАЯ 1978: 502).

³ «Поколение сорокового года» – самоназвание поэтической генерации, принятое в кругу Д. Самойлова, П. Когана, М. Кульчицкого, Б. Слуцкого, С. Наровчатова и др.

⁴ См. кульминационный эпизод второй серии фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» (1965), где звучит стихотворение Кульчицкого в исполнении Слуцкого.

О чем в стихах не говорится

И нам эпохой прощено.

(САМОЙЛОВ 2006: 449–450)

Таким образом, попытка Самойлова воссоздать в «Повести о Московском сражении» *ещё одно Бородино* стала вызовом собственному представлению об иерархии исторических событий, отказом идти на уступки эпохе, приняв от неё *прощение* за несовершенство. Максимализм задачи, решаемой «в присутствии Толстого», обусловил скрытую драму взыскательного художника. О том же свидетельствует его переключение на создание «Памятных записок».

Соглашаясь, что Самойлов «реализовал некоторые [...] интенции [повести] в книге своих воспоминаний и размышлений» (ТУПОВА: 2019, 89), подчеркнём важное отличие от несостоявшегося произведения: толстовская по своим истокам «мысль народная» превратилась в напряжённую рефлексию о воюющем народе. Перерождение «армии сопротивления и защиты» в «армию лютой мести» (САМОЙЛОВ 2014: 374) объяснено в конечном итоге продуманной политической тактикой Сталина – формированием «национальной круговой поруки аморализма, [...] чтобы лишить нацию морального права на осуществление свободы» в собственной стране (САМОЙЛОВ 2014: 374–375). Однако сомнение в универсальности толстовской концепции народа подспудно тревожило Самойлова, что угадывается за самоироничностью признаний: «[...] стремление приобщиться к народной жизни, когда она представляла перед нами в самом возвышенном и романтическом преломлении, было восторженным и трогательным и *всегда* вызывает слёзы при чтении страниц “Войны и мира”» (САМОЙЛОВ 2014: 624).

Одновременно с обдумыванием «Повести о Московском сражении» Самойлов пишет стихотворение «Поэт и гражданин» (1970–1971), что само по себе является подсказкой для осмысления этого программного высказывания в свете рецепции «Войны и мира». Необходимость заострить все вопросы обусловила эстетическую парадоксальность текста: за шутливо-игровым вступлением следует трагедия (НЕМЗЕР 2020: 200).

Популярная у советских литераторов тема встречи с «читателем из народа», «простым человеком» была идеологической моделью, которая ассимилировала и толстовское *вхождение в общую жизнь*. Самойлов же сводит поэта с «гражданином» новой формации,⁵ самоуверенным балагуром, чьи непрошенные советы весьма напоминают суждения профанов из пушкинского стихотворения «Поэт и толпа» (ФРИЗМАН

⁵ Под цензурным давлением «гражданин» был заменён в заглавии на «старожила». О двусмысленной семантике слова «гражданин» в советском контексте см. подробно (НЕМЗЕР 2020).

1996: 20; НЕМЗЕР 2020: 167–169). Встреча персонажей на пути в баню – ироничная отсылка к знаменитому стихотворению Бориса Слуцкого «Баня», где лирический герой узнаёт по рубцам и шрамам «тех настоящих людей, с которыми он, даже если незнаком, связан общностью судьбы, военным братством» (НЕМЗЕР 2020: 165). Персонажи Самойлова, которые, возможно, были сослуживцами (НЕМЗЕР 2020: 199), демонстрируют совершенно разное значение общего военного опыта: одного прошлое не отпускает, другой живёт «налегке».

Ретроспективная часть стихотворения (спровоцированный болтовнёй «гражданина» рассказ поэта «А было так...») представляет собой полемический ответ Самойлова на «Немецкие потери» Слуцкого – замечательную в своём роде попытку наследовать Толстому (НЕМЗЕР 2008; НЕМЗЕР 2020). Целый ряд деталей в «Немецких потерях» отсылает к эпизоду сдачи в плен Рамбаля и Мореля. Это забавное для солдат поведение чужака, его музицирование: отогревшийся у костра француз запел «Vive Henri Quatre...», немец «дунул вальс про Голубой Дунай» на губной гармошке (СЛУЦКИЙ 1991: 368); в обоих случаях щедрость угощения выражает растущую симпатию к уже безвредному врагу: «Опять ему дали каши; и Морель, посмеиваясь, принялся за третий котелок» (ТОЛСТОЙ 1940б: 196); «Его кормили кашей целый день...» (СЛУЦКИЙ 1991: 368). В фокусе внимания обоих поэтов были и другие эпизоды «Войны и мира», где обсуждается или решается судьба пленных (ТУПОВА 2019: 101–105).

Слуцкий противопоставил жестокости борьбы олицетворяемый Толстым гуманизм – и в то же время снял моральную ответственность с убийц пленного: «Его кормили кашей целый день // И целый год бы не жалели каши, // Да только ночью отступили наши – // Такая получилась дребедень» (СЛУЦКИЙ 1991: 368). Этическая уступка поэту закону войны означала для Самойлова размывание той «духовной нормы, что задана великой литературой, прежде всего Толстым, на которого Слуцкий внешне ориентируется» (НЕМЗЕР 2020, 185–186). Между тем характер события в монологе «А было так...» контрастирует и с любой из толстовских ситуаций, образующих актуальный фон стихотворения.

У Самойлова в поведении солдат нет ни трагического ожесточения Болконского накануне Бородинского сражения («Не брать пленных, а убивать и идти на смерть!») (ТОЛСТОЙ 1940а: 210)), ни холодной беспощадности Долохова, чей взгляд при виде пленных «вспыхивал жестоким блеском» (ТОЛСТОЙ 1940б: 160), ни потрясения расстрельной команды, равняющего убийц с их жертвами («На всех лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров, *всех без исключения*, он [Пьер] читал такой же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце» (ТОЛСТОЙ 1940б: 41)). Нет сходства и с Тихоном Щербатым, который воспринимает партизанскую войну как привычную охоту на лесного зверя, а потому распоряжается «добычей» по законам древнего жестокого промысла.

Самойлов обобщает реальные фронтовые впечатления, символизирует сохранённые дневником детали (САМОЙЛОВ 2002а: 185; САМОЙЛОВ 2014: 356, 358–359); в то же время на первом этапе рассказа-воспоминания предусмотрена аналогия с судьбой толстовского Мореля. Денщик Рамбаля принят в солдатский круг сразу после того, как ослабевшего офицера уносят греться в избу; персонаж-поэт начинает свой рассказ с момента, когда пленный остаётся один среди солдат:

А было так. Он на снегу сидел.
А офицера увели куда-то.

Литературная память читателя – источник иллюзии, что вот-вот состоится сближение «простых душ», разглядевших друг в друге «просто людей»: «Тоже люди» (ТОЛСТОЙ 1940б: 196). «Всё происходящее увидено глазами пленного» (НЕМЗЕР 2020: 185), чья надежда на лучшее суггестивно поддерживает читательское ожидание «правильного» (увековеченного самим Толстым!) хода событий:

Вблизи него стояли два солдата,
Переговариваясь. День скудел.
Слегка смеркалось. Из-за перелесиц
Вступали тучи реденьким гуртом.
И, как рожок, бесплотный полумесяц
Легко висел на воздухе пустом.
Нога не мучила. А только мёрзла.
Он даже улыбался. Страх прошёл.
[...]
*Солдаты сели есть. Один из них
Достал сухарь. И дал ему.*
(САМОЙЛОВ 2006: 189)

Кажется, что *бесплотный полумесяц*, подобно толстовским звёздам, подтвердит торжество высшего закона над земной враждой. Перед появлением у бивачного костра обессиленных французов солдаты поднимают глаза к небу: «– Вишь звезды-то, страсть, так и горят!» (ТОЛСТОЙ 1940б: 193); небесная радость венчает произошедшее: «Звезды [...] разыгрались в чёрном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чем-то радостном, но таинственном, перешептывались между собой» (Толстой 1940б: 196). Невозможность благого исхода предвещает в рассказе поэта иной знак иерархии ценностей – горящий дом Бога (ФРИЗМАН 1996: 23; НЕМЗЕР 2020: 188):

...Страх прошёл.
Бой утихал вдали. За лесом грозно,

Как Моисеев куст, пылал костёл.
(САМОЙЛОВ 2006: 189)

Рифменная позиция ключевых слов буквально сталкивает ложную надежду и беспощадное пророчество. Пленный угадывает свою обречённость: «*Душа была чужой, но не болела. // Он сам не мёрз. В нём что-то леденело*» (САМОЙЛОВ 2006: 190); но от леденящих предчувствий он отвлечён целым рядом мирных подробностей (начиная с угощения сухарём). Читатель же готов заблуждаться – вплоть до наступления кульминации – относительно толстовского «прототипа» события:

Ещё вверху плыл месяц налегке,
Но словно наливался. *От еды*
Они согрелись. Те, что помоложе,
Подначивали третьего. Похоже,
От них не надо было ждать беды.
Тот, третий, подошёл. *Он был и мал,*
И худ, и стар. И что-то он сказал.
Что – непонятно. *Пленный без испуга*
Соображал. И понял. Было туго
Вставать. И всё ж он встал, *держа сухарь.*
Уже был месяц розов, как янтарь.
Те тоже подошли. И для чего-то
Обшарили его. Достали фото
Жены и сына. Фото было жаль.
Он поднял руки, *но держал сухарь.*
Разглядывали фото. И вернули.
И он подумал: это хорошо!
Потом его легонько подтолкнули.
Он сразу понял. И с трудом пошёл.
(САМОЙЛОВ 2006: 190)

Убийство беспомощного пленного *старым* солдатом, которого *подначивали те, что помоложе*, – инверсия эпизода с Морелем:

Радостные улыбки стояли на всех лицах *молодых солдат*, смотревших на Мореля. *Старые солдаты*, считавшие неприличным заниматься такими пустяками, лежали с другой стороны костра, но изредка, приподнимаясь на локте, *с улыбкой* *взглядывали на Мореля.*

– *Тожэ люди,* — сказал один из них, уворачиваясь в шинель. – И польнь на своём кореню растёт (ТОЛСТОЙ 1940б: 196).

Такая отсылка к «Войне и миру» освещает концептуальное значение примет места и времени в рассказе поэта.

Зимний пейзаж с горящим костёлом указывает на последние месяцы войны, идущей уже в пределах Польши. В диалоге Самойлова со Слуцким приуроченность события к победному 1945-му меняет масштаб этической проблемы: в «Немецких потерях» действие «происходит зимой 1942 года, на русской земле, когда очередные отступления отзывались понятными взрывами ярости, а на сбережение пленных просто не было сил»; речь идёт о «несчастье, которому есть причины»; устраняя подобные причины, Самойлов «пишет об абсолютном зле войны» (НЕМЗЕР 2020: 184–185). Развить это справедливое суждение позволяет толстовский контекст стихотворения.

История спасения Рамбаля и Мореля воплощает сквозную идею четвёртого тома «Войны и мира»: близость победы высвобождает в народе силы добра. Жалость к побеждённым растёт в отпор жестокой логике войны, согласно которой «половина пленных [...] гибли от холода и голода» (ТОЛСТОЙ 1940б: 197). После взятия под Красным – без боя – семи тысяч пленных Кутузов «заметил русского солдата, который, смеясь и трепля по плечу француза, что-то ласково говорил ему» (ТОЛСТОЙ 1940б: 187). К солдатам и офицерам Преображенского полка обращается не главнокомандующий, а «простой, старый человек, очевидно что-то самое нужное желавший сообщить теперь своим товарищам»: «Пока они были сильны, мы их не жалели, а теперь и пожалеть можно. *Тожe и они люди. Так, ребята?*» (ТОЛСТОЙ 1940б: 187–188). Безымянный *старый солдат* у костра вторит Кутузову, голоса поддерживают друг друга в хоровом единстве. Эти законы народного мира сохраняют для Самойлова значение нравственного императива – вопреки иным законам, в силу которых «великая наша победа стала оборачиваться моральным поражением» (САМОЙЛОВ 2014: 374). Убийство беспомощного пленного, совершенное даже не по приказу, скорее по инерции, подлежит высшему – толстовскому – суду.

Исходя из всего сказанного, предположим ещё одну смысловую связь, эксплицированную в тексте не столь наглядно, но доступную для реконструкции. Внимательный к типу *старого солдата*, много думавший о Платоне Каратаеве (САМОЙЛОВ 2014: 249, 316, 610), поэт мог заметить, что простонародную формулу мира – *тоже люди* – произносит (раньше Кутузова и солдата у костра) пленник французов: «А живём тут, слава Богу, обиды нет. *Тожe люди* и худые, и добрые есть» (ТОЛСТОЙ 1940б: 45). Выраженное этими словами чувство имеет всеобщий характер, и конвоир, который застрелил отставшего из-за слабости Каратаева, преступен в собственных глазах – подобно тому как участники московских расстрелов «очевидно-несомненно знали, что они были преступники» (ТОЛСТОЙ 1940б: 42). Выполнив страшную обязанность и догнав колонну, солдат «робко взглянул на Пьера»: в его бледном лице «было что-то похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни» (ТОЛСТОЙ 1940б: 157). В следующем эпизоде судьбу пленных решает

без малейшего внутреннего колебания Долохов – всегдашний отщепенец, исполненный презрения к общечеловеческому моральному закону. Одним словом, в романе Толстого дух войны никогда не овладевает солдатской массой. Каратаев, с его опытом походов, «в которых он участвовал *давнишним солдатом*» (ТОЛСТОЙ 1940б: 49), другие *старые солдаты* сохранили мирную сущность народного характера. Персонажи рассказа самойловского поэта войной пересозданы.

Свидетельствуя в дневнике военных лет и в мемуарной книге о разгуле мстительности (новой «пугачёвщине»), Самойлов признал едва ли не более страшным другое: это поразительная простота, обыденность расправ с пленными немцами. Подобными примерами избобилуют также военные записки Слуцкого (1945–1946), заведомо неподцензурные; рукопись долго хранилась у младшего друга, перечитывалась и обсуждалась с Петром Гореликом (ГОРЕЛИК 1995: 38). Событие, облагороженное в «Немецких потерях», здесь иллюстрирует тезис: «Мы народ добрый, но ленивый и удивительно не считающийся с жизнью одного человека» (СЛУЦКИЙ 2005: 20). Забавного пленного «фрица» в течение нескольких недель кормили «тройными порциями пшённой каши», но когда понадобилось доставить его в штаб, солдатам оказалось проще застрелить подопечного, чем «шагать по снегу восемь километров» (СЛУЦКИЙ 2005: 20–21). Записки Слуцкого о войне – это «проза поэта, покуда не могущего найти *поэтический эквивалент* для пережитого и продуманного» (ЕЛИСЕЕВ 2005: 7). Стать поэтическим эквивалентом претендовало стихотворение о вынужденном расстреле. Самойлов, безусловно запомнивший подлинную, вполне типичную историю пленного, не принял саму стратегию друга-поэта. Взывание Слуцкого к авторитету Толстого лишь обнажило суть вещей: от главных вопросов автор «Немецких потерь» уклонился. Тем настойчивее Самойлов возвращал современности этические критерии «Войны и мира».

Утверждённый Толстым образ 1812 года, соединивший идеалы народно-национальные – крестьянские и общерусские – с ценностями всечеловеческими, навсегда сохранил для Самойлова истинно мифологическую непререкаемость (хотя писатель был хорошо знаком с исторической и мемуарной литературой, осложнявшей картину гармонии).⁶ Идеал первой Отечественной становился тем дороже, чем острее осознавалась трагедия 1940-х. Если Толстой выводил идею братства всех «детей человечества» непосредственно из народной жизни «миром», из векового крестьянского общинного чувства, то Самойлов застал кризисный период, когда «резко изменялся состав народа»: «Уход с исторической сцены народа-мужика», который «в последний раз показал мощную специфику своего духа», явил

⁶ Об участии Самойлова в поддержании мифологии 1812 года см. (АЛЕКСАНДРОВА 2021: 492–495).

последних воинов-праведников (САМОЙЛОВ 2014: 265, 268), неизбежно освобождал место для носителей расхожей «мудрости» *война всё спешет*.

О «низовом» – солдатском – происхождении формулы *война всё спешет* автор мемуарной книги говорит прямо, но с видимой неохотой, переноса внимание на стремление советских подражателей Толстого оправдать наличную военную реальность (САМОЙЛОВ 2014: 285). Напротив, автор «Поэта и гражданина» со всей ответственностью художника вглядывается в «простого» человека, который, не совершая намеренных злодеяний, убивал привычно, походя, даже без необходимости. Реакция на рассказ поэта – «Ты это видел?» – уличает потрясённого «гражданина» в давно забытом, *списанном войной* преступлении, а был ли жертвой тот самый пленный или другой – неважно, ведь «все убийства одинаковы» (НЕМЗЕР 2020: 199). Между тем ответная реплика поэта – «Это был не я» (САМОЙЛОВ 2006: 190) – предотвращает формирование смыслового итога в духе памятной автору баллады Катенина «Убийца»: «Виноватого Бог същёт».⁷

Финальное слово поэта допускает разные толкования, например: *я теперь стал другим и не допустил бы убийства* (НЕМЗЕР 2020: 199). Но преображённый внутренней работой человек лишь яснее сознаёт всю силу «круговой поруки аморализма» (САМОЙЛОВ 2014), на которую власть сделала ставку накануне победы. Развёрнутый комментарий к трагической ситуации – «глава “Памятных записок” с безжалостным (по отношению, в первую очередь, к себе) названием “А было так...”» (НЕМЗЕР 2014: 678), где за рассказом о расправах с пленными следует отчаянный вопрос: «Как должен был поступить тогда я? Как – даже с нынешних моих позиций? Убить Касаткина, убить старшину [...]?» (САМОЙЛОВ 2014: 358). И хотя даже «теперь, задним числом, “простые” ответы никак не даются, это не значит, что “война всё списала”, что вину можно переложить на “худших”, а свою причастность злу – забыть или простить» (НЕМЗЕР 2014: 679).

Стихотворение «Поэт и гражданин» всё же не оставляет безответными максималистские вопросы. Рассказ о гибели пленного, построенный на внутреннем отождествлении с ним, позволяет Самойлову устранить дистанцию между персонажами-антиподами, сделать доступным для них откровение, пережитое врагами в «Войне и мире»: «Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что *они братья*» (ТОЛСТОЙ 1940б: 39). Читатель, в свою очередь, эмпатически приобщается к состоянию не только пленного и персонажа-поэта как авторского двойника, но даже «гражданина», впервые очнувшегося от самодовольства. Способность пробудить такое переживание удостоверяет, сколь глубоко постигнут поэтом гуманизм Толстого. При этом узнавание во враге ближнего своего

⁷ Аллюзии к балладе Катенина прослежены А.С. Немзером (НЕМЗЕР 2020).

может произойти только постфактум, ценой гибели одного из *братьев*: сюжет человеческой судьбы подчинён логике послетолстовского этапа истории, отодвинувшего в прошлое жизнь «миром».

Литература

- АЛЕКСАНДРОВА 2021 = АЛЕКСАНДРОВА М.А. Творчество Булата Окуджавы и миф о «золотом веке»: монография. Москва, 2021.
- БОЧАРОВ 1987 = БОЧАРОВ С.Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». Изд. 4-е. Москва, 1987.
- ГИНЗБУРГ 1987 = ГИНЗБУРГ Л.Я. Литература в поисках реальности. Москва, 1987.
- ГОРЕЛИК 1995 = ГОРЕЛИК П. [Вступительная заметка] к публикации: Слуцкий Б. Зарубки памяти. Из книги «Записки о войне» // Вопросы литературы. Москва, 1995. № 3. 38–39.
- ДЕ-ПУЛЕ 2002 = ДЕ-ПУЛЕ М.Ф. Война из-за «Войны и мира» // Война из-за «Войны и мира»: Роман Л.Н. Толстого в русской критике и литературоведении. Санкт-Петербург, 2002. 317–323.
- ЕЛИСЕЕВ 2005 = ЕЛИСЕЕВ Н. В упряжке с веком // Слуцкий Б. О других и о себе. Москва, 2005. 5–14.
- СОВЕТСКИЕ ПОЭТЫ 2005 = Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. Санкт-Петербург, 2005.
- МЕЛЬНИКОВА, ПОДМАЗО 2012 = МЕЛЬНИКОВА Л.В., ПОДМАЗО А.А. Введение // Отечественная война 1812 года в культурной памяти России: коллективная монография. Москва, 2012. 5–14.
- МИЛЛЕР 2015 = МИЛЛЕР А. Юбилей 1812 года в контексте политики памяти современной России // Два века в памяти России. 200-летие Отечественной войны 1812 года: сборник статей. Санкт-Петербург, 2015. 7–24.
- НЕМЗЕР 2008 = НЕМЗЕР А.С. Стихотворение Давида Самойлова «Поэт и гражданин»: жанровая традиция и актуальный контекст // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. VI (Новая серия): К 85-летию Павла Семеновича Рейфмана. Тарту, 2008. 300–338.
- НЕМЗЕР 2014 = НЕМЗЕР А.С. Апология поэзии // Самойлов Д.С. Памятные записки. Москва, 2014. 663–688.
- НЕМЗЕР 2020 = НЕМЗЕР А.С. «Мне выпало счастье быть русским поэтом...»: Пять стихотворений Давида Самойлова. Москва, 2020.
- САМОЙЛОВ 2002а = САМОЙЛОВ Д.С. Поденные записи: в 2 тт. Т. 1. Москва, 2002.
- САМОЙЛОВ 2002б = САМОЙЛОВ Д.С. Поденные записи: в 2 тт. Т. 2. Москва, 2002.
- САМОЙЛОВ 2006 = САМОЙЛОВ Д.С. Стихотворения. Санкт-Петербург, 2006.
- САМОЙЛОВ 2014 = САМОЙЛОВ Д.С. Памятные записки. Москва, 2014.
- СЛУЦКИЙ 1991 = СЛУЦКИЙ Б.А. Собрание сочинений в трёх томах. Т. 1. Москва, 1991.
- СЛУЦКИЙ 2005 = СЛУЦКИЙ Б.А. О других и о себе. Москва, 2005.
- ТОЛСТАЯ 1978 = ТОЛСТАЯ С.А. Дневники: в 2 тт. Т. 1. Москва, 1978.
- ТОЛСТОЙ 1940а = ТОЛСТОЙ Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. Т. 11. Москва, 1940.

- ТОЛСТОЙ 1940б = ТОЛСТОЙ Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. Т. 12. Москва, 1940.
- ТУПОВА 2019 = ТУПОВА Е.В. Личность, творчество и учение Л.Н. Толстого в поэзии и эссеистике Давида Самойлова. Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук НИУ ВШЭ. Москва, 2019.
- ФРИЗМАН 1996 = ФРИЗМАН Л.Г. «Это был не я»: о стихотворении Давида Самойлова «Поэт и старожил» // Русская речь. Москва, 1996. № 3. 18–23.
- ШКЛОВСКИЙ 1928 = ШКЛОВСКИЙ В. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». Москва, 1928.
- ЩЕРБАКОВ 2013 = ЩЕРБАКОВ В.И. Война 1812 года в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» // 1812 год и мировая литература. Москва, 2013. 235–318.

David Samoilov’s poem “The Poet and the Citizen” in light of the perception of Leo Tolstoy’s “War and Peace”. There are in-depth studies of the programmatic poem “The Poet and the Citizen” by David Samoilov from the perspective of genre tradition and the dialogue with contemporary poets. The reflection on Tolstoy’s legacy as the ideal of the unity of the “children of mankind” has been a stage in the investigation process in question. However, Samoilov’s stance with respect to Tolstoy’s humanistic precept in the events of the 20th century is still understudied. The present paper analyses the transformation of Tolstoy’s “folk thought” into Samoilov’s intense reflection on the people at war and its embodiment in the imagery of the poem “The Poet and the Citizen”.

Keywords: Leo Tolstoy, “War and Peace”, 1812, myth, David Samoilov, Boris Slutsky, humanism

KALAFATICS ZSUZSANNA
(Budapest, Magyarország)

Идейный контекст повести Владимира Сорокина «День опричника»

Аннотация: В статье исследуется идеологический контекст дистопии Владимира Сорокина, написанной в 2006-ом году. В ней рассматривается то, как вопросы национальной идентичности и массовые мифы тоталитарного государства встраиваются в мир *Дня опричника* и как опричнина Ивана Грозного становится вневременной и внеисторической универсальной моделью. История одного дня Комяги – это история о механизмах власти и насилия авторитарного типа, показанная с точки зрения сотрудника государственного аппарата. В данной статье представлены ритуалы, укрепляющие чувство принадлежности к сообществу, а также вопросы, связанные с использованием языка и ролью литературы.

Ключевые слова: дистопия, *День опричника*, опричнина как универсальная модель, насилие, ритуалы, композиционное обрамление, стилизация

Владимир Сорокин создавал дистопические миры¹ в своих произведениях второй половины 2000-х (таких как «День опричника», «Сахарный Кремль», «Метель»). Писатель исследует символы национальной идентичности и массовые мифы тоталитарного государства, разрушая и разоблачая их. Травматический характер национальной идентичности становится центральной темой его романов, и Сорокин символически участвует в оживленных российских общественных дискуссиях последних десятилетий, затрагивающих прежде всего такие проблемы, как возможный путь России, русская идея и вопросы национальной идентичности.²

Как свидетельствуют социологические исследования, российское самосознание претерпело значительные изменения после распада Советского

¹ В середине 2000-х годов появилась серия (литературных) произведений, посвященных политическим аспектам ближайшего будущего российского общества и тесно связанных с проблемами настоящего. Помимо сорокинской трилогии можно упомянуть романы Дмитрия Быкова «Эвакуатор», Сергея Доренко «2008» и Ольги Славниковой «2017».

² См. «Вектор, формирующий эволюцию В. Сорокина в XXI в., определяется не столько переменами в индивидуальной авторской поэтике, сколько ее тесным взаимодействием с идеологическим, политическим, культурным контекстом» (АБАШЕВА 2012: 202).

Союза. Если в девяностые годы совок³ было негативным самоопределением, то с начала двухтысячных начались поиски составляющих национальной гордости, что сопровождалось реабилитацией и идеализацией имперского и коммунистического прошлого, усилением ностальгии по советскому миру, стремлениями найти и утвердить собственный путь России (ДУБИН 2011). Это период возрождения империализма, изоляции, принципа лидерства и патерналистских надежд. Социально-политико-идеологическая дискуссия, разворачивающаяся вокруг этих вопросов, касается предьстории названных выше сорокинских произведений. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, так как Сорокин всегда интересовался мифами, идеями, представлениями тоталитаризма и общественного сознания и деконструировал их в своих работах.

Созданная по образцу опричнины Ивана Грозного модель государственного управления в мире романов Сорокина предстает как универсальная модель вне истории и времени. Все это связано с тем, что в силу жанровой природы сюжет упомянутых произведений происходит в будущем, в 2027 и 2028 годах, тогда как многие реалии и даже отображаемые типы поведения и менталитета уходят корнями в прошлое.⁴ Хорошим примером гротескного переплетения современной техники и реkvизитов прошлого в этом «ретробудущем» (ЛИПОВЕЦКИЙ 2010: URL) является одевание Комяги и сопоставление атрибутов опричников с техническими достижениями в повести «День опричника». «Деловое, – говорю я Федьке. Он вынимает платье из шкапа, начинает одевать меня: белое, шитое крестами исподнее, красная рубаха с косым воротом, парчовая куртка с куньей оторочкой, расшитая золотыми и серебряными нитями, бархатные порты, сафьяновые красные сапоги, кованые медью. Поверх парчовой куртки Федька надевает на меня долгополый, подбитый ватой кафтан черного грубого сукна. [...] У ворот стоит мой „мерин“ – алый, как моя рубаха, приземистый, чистый. Блестит на солнце кабиною

³ Совок – пейоративное, уничижительное название человека, социализировавшегося в советское время, близкое к термину Homo sovieticus. О менталитете советского человека писал А. Зиновьев в своем сатирическом произведении «Гомо советикус» (1982), а с социологической точки зрения его исследовал Юрий Левада (ЛЕВАДА 2004).

⁴ В интервью Сорокин часто рассказывает о своих размышлениях перед творческим процессом или сопровождающих его мыслях. В основе его мысленного эксперимента лежит двойственность как прошлого и настоящего, так и технических достижений: «...что будет, если изолировать Россию от мира – если предположить, что будет выстроена Великая русская стена по образцу Великой китайской? России некуда будет погружаться, кроме как в свое прошлое. Это будет вызвано идеологической потребностью, поскольку все героические образы для массового сознания в прошлом, в глубоком прошлом. Но без современных технологий такая идеология будет нежизнеспособна» (СОРОКИН 2006б: URL).

прозрачной. А возле него конюх Тимоха с песьей головой в руке ждет, кланяется: [...] Тимоха ловко пристегивает голову к бамперу „мерина”, метлу – к багажнику. Прикладываю ладонь к замку „мерина, крыша прозрачная вверх всплывает» (СОРОКИН 2006а: 11, 13).

Помимо отсылок к далекому русскому средневековью, четко определенной исторической эпохе,⁵ автор шаг за шагом прослеживает и настоящее, причем не только в материальных элементах и жизненных обстоятельствах. В членах царской семьи и окружающих их фигурах, во второстепенных персонажах повести нередко можно узнать какую-либо из черт известных нынешних политиков, актеров, художников и писателей.⁶

Главный герой и рассказчик рассматриваемого произведения – опричник Андрей Данилович Комяга. Появление опричника в качестве героя романа во многом является следствием современных идеологических построений, так как идея новой опричнины (путинской опричнины) сформировалась как раз в тот период, когда создавалась трилогия Сорокина. Возведение Ивана Грозного в лик святых было инициировано еще в 1990-е годы, и инициатором процесса являлся митрополит Иоанн, чью книгу «Самодержавие духа», изданную в 1995 году, с тех пор цитируют защитники идеи новой опричнины. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский считает Ивана Грозного идеальным правителем, одним из величайших достижений которого было создание лояльной и законопослушной организации – опричнины. По словам митрополита, эта сила смогла навести порядок в государстве. А в годы правления Ивана Грозного православная церковь играла важную роль в жизни как государства, так и народа. Он считает, что все обвинения против царя есть не что иное, как клевета иноземцев, а в очернении фигуры Ивана виноваты русские историки, в том числе и Николай Карамзин. Одним из самых преданных сторонников этой идеи является Александр Дугин, долгое время являвшийся главным идеологом Кремля. Согласно дугинской концепции Евразии, евразийство есть не что иное, как уровень развития русского народа, российской государственности (т. е. не просто понятие, связанное с географией и континентами), важным компонентом которого является поворот на восток. Абсолютная реализация евразийства – это царство Чингисхана. А. Дугин устанавливает прямую связь между империей Чингисхана,

⁵ Однако во многих случаях Сорокин контаминирует элементы, относящиеся к разным историческим периодам, тем самым подтверждая вневременной, архетипический характер опричнины.

⁶ Своеобразие антиутопий, возникших в первой половине 2000-х годов, А. Чанцев видит в том, что в романах стала господствовать политическая сатира. Отличие этих произведений от классических антиутопий состоит в том, что в них сочетаются жанровые черты исторического романа, гротеска, сатиры и публицистики с фэнтези (ЧАНЦЕВ 2007).

Великим княжеством Владимирским, Московской Русью, Российской империей и Советским Союзом (ДУГИН 2002: 544–545).

Образ и концепция Дугина иронически воспроизводятся в романе Сорокина. Дуга, один из престарелых придворных шутов государыни, кричит другому, Павлушке-ежу: «Ев-газия, Ев-газия, Ев-газия!» (СОРОКИН 2006а: 171), также имя Чингисхана упоминается несколько раз. «Все-таки как славно сокрушать врагов России! – бормочет он, доставая пачку „Родины“ без фильтра. – Чингисхан говорил, что самое большое удовольствие на свете – побеждать врагов, разоряя их имущество, ездить на их лошадях и любить их жен. Мудрый был человек!» (СОРОКИН 2006а: 33–34)

В середине 2000-х А. Дугин публиковал в интернете лекции под названием «Метафизика опричнины». Он считает опричнину фундаментальным, связанным с определенной исторической эпохой, но в то же время архетипическим вечным явлением (ДУГИН 2005: URL). Наделенная мощной властью опричнина Ивана Грозного оставила глубокий след в сознании русского народа, собственно говоря, это и заложило основу парадигмы национального строя, мироустройства. Проводя параллель между сталинским периодом и эпохой Ивана Грозного, А. Дугин видит в этой парадигме вечную и всегда актуальную взаимосвязь. Поскольку в этой парадигме выражается национальный характер, А. Дугин считает оправданным и насилие. Александр Проханов также видит в опричниках борцов за правду, носителей принципов, которые нужны в борьбе с коррупцией (ПРОХАНОВ 2007: 342). Сорокин, однако, ломает мифический образ и роль опричников⁷ и показывает в феномене опричников эффект легализованного насилия, возведенного в ранг государственной власти. Однако, согласно Сорокину, память об опричнине сохранилась в бессознательных архетипах русского коллектива. Таким образом, история России предстает как замкнутый круг одних и тех же кровавых схем, вечный рецидив террора. В трактовке Сорокина источником этой универсальной парадигмы является система государственной власти Ивана IV,⁸ постро-

⁷ Жужа Хетени в своем исследовании повести, опубликованном на венгерском языке, выражает противоположное мнение. По ее словам, неясно, подходит ли Сорокин к своему материалу критически, предостерегающе, иногда с энтузиазмом или сатирически, даже пародийно (HETENYI 2009). Исследование более широкого контекста подчеркивает сатирическую природу произведения. Липовецкий также считает, что Сорокин тайно любит своего героя и культуру эротизированного террора вокруг него (ЛИПОВЕЦКИЙ, ЭТКИНД 2008: 193).

⁸ В своих высказываниях Сорокин указывает, что опричнина – типично русское явление, еще не изученное во всей своей глубине ни историками, ни художниками. Ивана Грозного Сорокин называет шизофреником по параноидальному типу. По мнению писателя, бурные периоды революции и кровопролития можно рассматривать как следствие традиции тоталитарного государства, опричнины. (ШИРОКОВА 2006: URL). Известный историк Руслан Скрынников также подчеркивает, что Иван Грозный был первым русским правителем, применившим

енная на насилии и особом, привилегированном положении людей власти, приближенных царя. «Грозный заложил вертикаль власти и, по сути, посадил страну на кол, и она на этой вертикали сидит до сих пор. Эта архаическая пирамида и формирует, во многом, русское сознание. Чиновник – это, собственно, и есть опричник, потому что он больше, чем ты. А наверху – там вообще небожители, которые смотрят вниз, как на мир муравьев. Эта структура не изменилась. Она укрепилась еще больше в советское время, и сейчас она такая же» (СОРОКИН 2011: URL).

В повести Сорокина изображается один типичный день протагониста-опричника, Андрея Даниловича Комяги. События его понедельника, как и повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», моделируют механизмы власти, но не с точки зрения жертвы насилия, а представителя репрессивной системы, исполнителя наказания. Все, что делает Комяга в течение этого дня, дает читателю возможность заглянуть в механизм государственного насилия, возведенного в ранг закона. В изображенном мире, как и в тоталитарных режимах, прямое применение насилия является наиболее важной и характерной чертой государственного правления, почти его исключительной формой, которая служит не для поддержания порядка или защиты от произвола, а для поддержания динамики, постоянной борьбы с врагом. «Супротивных много, это верно. Как только восстала Россия из пепла Серого, как только осознала себя, как только шестнадцать лет назад заложил Государев батюшка Николай Платонович первый камень в фундамент Западной Стены, как только стали мы отгораживаться от чуждого извне, от бесовского изнутри – так и полезли супротивные из всех щелей, аки сколопендрии зловерное. Истинно – великая идея порождает и великое сопротивление ей. Всегда были враги у государства нашего, внешние и внутренние, но никогда так яростно не обострялась борьба с ними, как в период Возрождения Святой Руси» (СОРОКИН 2006а: 38).

Институционализируемая система анархии не ограничивает насилие, не ставит ему пределов, не сковывает его, как это происходит в современных государствах. Повествователь,⁹ в прошлом студент-историк, не сомневается в необходимости своих действий применения жестокости.

террор как метод управления страной. Исследуя истоки опричнины в своей книге «Царство террора», он указывает, как этот репрессивный, карательный режим повлиял на последующие этапы развития страны. В анализе он подчеркивает, что период кровавого террора всегда наступал в России после глубоких социальных потрясений и незавершенных реформ (СКРЫННИКОВ 1992).

⁹ Стилизованный сказ в повествовании от первого лица многогранен, он воспроизводит и смешивает язык, лексику и синтаксис различных периодов. Кроме стилизации языка былин наблюдается и специфическая смесь церковнославянского, древнерусского языков, архаизмов и современного сленга. Повествовательный дискурс романа основан на языковой игре, стилизации, лингвистической реконструкции и деконструкции.

Можно сказать, что он становится апологетом авторитаризма и насилия. В его повествовании каждое действие (избиение, убийство, изнасилование, разрушение, наказание, очищение, уничтожение, сожжение) оправдано, и каждое насилие имеет объяснение. И это объяснение удовлетворяет Комягу, потому что за ним стоит сообщество, представляющее власть. Опричники – это члены особого братства, связанные между собой как звенья в великом деле спасения народа, изображенного в виде ослабевшего, раненого медведя¹⁰. «И окреп медведь костью и мясами, залечил раны, накопил жира, отрастил когти. Спустили мы ему кровь гнилую, врагами отравленную. Теперь рык медведя русского на весь мир слышен. Не токмо Китай с Европой, но и за океаном к рыку нашему прислушиваются» (СОРОКИН 2006а: 41).

В этом сообществе существует четко определенная иерархия, возглавляемая Батей, ставшим первым человеком, которому царь доверил эту задачу. Задача опричников-единомышленников – словом и делом донести до русского народа надежду на возрождение России.¹¹ Эта идеология призвана объяснить хаос, беззаконие и жестокость, наказания и убийства. Согласно вымыслу, в России 2027 года поздний коммунистический режим беспрепятственно превратился в монархию. Стены Кремля были побелены, и средневековое феодальное общество было восстановлено. Телесные наказания, битьё палками снова стали обычной практикой. И еда, и одежда носят ярко выраженный националистический характер. Элита опричников живет хорошо, но остальная часть общества живет скромно, в бедности. Чтобы предотвратить иностранное влияние, на Западе строится стена, отделяющая Россию от евроатлантического мира, но в то же время в страну вторгаются китайцы и китайские товары. Дело не только в торговле, в мире романа Китай – друг и союзник России.¹²

Сорокинская ирония распространяется и на контроль над использованием языка. Сквернословие, использование ненормативной лексики – это запрещенное и наказуемое действие,¹³ против которого протестуют либе-

¹⁰ Топонимия России традиционно связывается с обликом медведя как с внутренней, так и с внешней точки зрения.

¹¹ В повести различные персонажи высказывают идею о необходимости возрождения, оправдывая этой мыслью всепроникающее насилие.

¹² Китайская тема не нова в творчестве Сорокина, она присутствует в его работах с конца 90-х годов (см. «Голубое сало»). Китай представлен как неоспоримая сверхдержава, находящаяся в авангарде технологического развития.

¹³ Особенно сегодня, повесть может быть в некотором смысле прочитана как предсказание, своего рода пророчество. В 2014 году в закон о государственном языке Российской Федерации были внесены изменения («О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации"»), уточняющие, в каких сферах использование русского языка является обязательным. Закон гласит, что фильмы, содержащие бранные или нецензурные выражения, не могут быть распространены или показаны. Для распространения

ралы и интеллектуалы. Язык представлен как тело, на котором непристойные и оскорбительные слова и выражения являются паразитами. Между тем искусство слова, литература, отходит на второй план, давая тепло, но не духовное, а физическое. Ясновидящая Прасковья, которую по приказу государыни посещает Комяга в Тоболе, сжигает в печи «Анну Каренину» и «Идиота» и просит государыню прислать ей еще книги, русские книги. Сожжение книг¹⁴ также свидетельствует о презрении к литературе как к непрактичному, неутилитарному занятию. Комяга с восторгом вспоминает, что рукописи и книги, считавшиеся враждебными, были сожжены на Манежной. «Одно могу сказать – возле книжных костров всегда как-то тепло очень. Теплый огонь этот» (СОРОКИН 2006а: 137). Иронично, однако, что последний вопрос Комяги («Что с Россией будет?» СОРОКИН 2006а: 141) в значительной степени литературный. Ответ ясновидящей указывает на «ничего», на пустоту.

В романе много места уделено показу ритуалов,¹⁵ укрепляющих чувство принадлежности к сообществу (разрушение особняка Куницына, ритуал дуэли, совместная молитва в Успенском соборе, трапеза в Белой палате и во дворце Бати, использование внутренних наименований, совместное купание в бане, употребление наркотиков и опыт группового трипа). Их объединяет переплетение и наложение друг на друга экстатических состояний, насилия, пыток, сексуального удовольствия и употребления наркотиков. Два из них стоит выделить особо. Оба они связаны с баней, которая в русском фольклоре и литературе ассоциируется с таинственными, нечистыми и магическими силами. В интерпретации Комяги, баня – это место мужской дружбы и равенства. После вхождения злато-рыбки в кровавое русло 7 опричников впадают в состояние общего транса и во время психоделического путешествия превращаются в ужасающего, разрушительного, огнедышащего семиглавого дракона¹⁶. Этот былинный Змей Горыныч летает по родине и заливают огнем безбожную вражескую

требуется лицензия и сертификат о том, что фильм соответствует этому критерию. Аудиовизуальная продукция и книги также должны быть снабжены маркировкой, если они содержат ненормативную лексику. Эти издания могут продаваться только в закрытой упаковке. Но запрещено использовать ненормативную лексику на телевидении и радио, а также на публичных мероприятиях. Нарушители подвергаются штрафам (KALAFATICS 2016).

¹⁴ О теме библиоклазма в литературе подробнее см. ТУРЬШЕВА 2018.

¹⁵ Повторение и ритуалы характерны для антиутопий. Среди особенностей жанра Ланин называет то, что общество, реализовавшее утопию, не может быть иным, чем общество обряда. Ритуал, повторяющиеся серии действий препятствуют непредсказуемому, хаотичному поведению и движению личности (ЛАНИН 1993: 157).

¹⁶ Огненный дракон – типичный разрушительный демон русских верований, его фигура близка к общему представлению о зле, сложившемуся под влиянием христианских демонологических образов (SARNYAI 2010: 52).

Америку, а затем использует одну из своих голов (Комягу), чтобы сжигать детей и насиловать женщин. Былинная форма также растворяется, превращаясь в поток непунктуированного текста, заканчивающегося повторением бранного глагола, обозначающего половой акт. Этот коллективный опыт (превращение в дракона) дает ощущение инстинктивной силы в сообществе, наполняя участников радостью и готовностью действовать. Пир во дворце Бати, за которым следует паровая баня, укрепляет чувство братства. Повествование Комяги подробно описывает удовольствие плоти, наслаждения от еды и массажа. Но это только начало оргиастического ритуала, в котором тела опричников соединяются вместе, сливаясь в единое, но иерархически организованное коллективное тело (гусеницу). Помимо сексуальности, насилие (теперь направленное не только на посторонних, других, но и на своих) и боль, причиняемая друг другу дреями, также призваны сплотить сообщество.

Произведение начинается с описания сновидения Комяги при пробуждении и заканчивается тем, что Комяга засыпает. В обрамлении, как некий символ судьбы, символ необходимости личной свободы, появляется фигура белого коня, до которого никогда не добраться, ведь он уходит все дальше. Но последней мыслью спящего остается мысль о его избранной семье, о дружине опричников. «А куда жива опричина, жива и Россия» (СОРОКИН 2006а: 223). Сон Комяги иллюстрирует, как язык тотальной диктатуры поглощает человека, как растворяет и уничтожает его внутреннее сопротивление, чтобы затем человек мог признать языковые обороты и клише официальной идеологии своими собственными.

Сюжеты трилогии иллюстрируют серьезные, роковые последствия того положения, когда государство строит свою экономику исключительно на национальном достоянии – эксплуатации природных ресурсов, при этом проводя политику насилия и обращаясь к прошлому для оправдания своего пути. Если в повести «День опричника» добыча нефти и газа дает власти уверенность, то в «Сахарном Кремле» уже налицо признаки экономического кризиса, а «Метель» метафорически свидетельствует о полной потере пути, возвращении к еще более архаичному состоянию и полной потере независимости России, ее внешней колонизации.

Литература

- АБАШЕВА 2012 = АБАШЕВА А.М. Сорокин нулевых: в пространстве мифов о национальной идентичности // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология, 2012. № 1. 202–209.
- ДУБИН 2011 = ДУБИН Б.В. Россия нулевых: политическая культура – историческая память – повседневная жизнь. Москва, 2011.
- ДУГИН 2002 = ДУГИН А.Г. „Я за многополярную глобализацию” // Основы евразийства. Москва, 2002. 541–547.

- ДУГИН 2005 = ДУГИН А.Г. Метафизика опричнины: тезисы выступ. Александра Дугина в рамках «Нового университета». <http://arcto.ru/article/1252> (Дата обращения: 02.06.2022)
- ЛАНИН 1993 = ЛАНИН Б.А. Анатомия литературной утопии // Общественные науки и современность, 1993. № 5. 153–164.
- ЛЕВАДА 2004 = ЛЕВАДА Ю.А. «Человек советский» – публичные лекции на «Полит.ру». <http://polit.ru/article/2004/04/15/levada/> (Дата обращения: 02.06.2022)
- ЛИПОВЕЦКИЙ, ЭТКИНД 2008 = ЛИПОВЕЦКИЙ М., ЭТКИНД А. Возвращение тритона. Советская катастрофа и постсоветский роман // Новое литературное обозрение, 2008. № 94. 174–196.
- ЛИПОВЕЦКИЙ 2010 = ЛИПОВЕЦКИЙ М. Метель в ретробудущем. Сорокин о модернизации. <http://os.colta.ru/literature/projects/13073/details/17810/> (Дата обращения: 29.05.2022)
- ПРОХАНОВ 2007 = ПРОХАНОВ А.А. Пятая Империя. Санкт-Петербург, 2007.
- СКРЫННИКОВ 1992 = Скрынников Р. Царство террора. Санкт-Петербург, 1992.
- СОРОКИН 2006а = СОРОКИН В. День опричника. Москва, 2006.
- СОРОКИН 2006б = СОРОКИН В. Опричнина – очень русское явление. Интервью Бориса Соколова с Владимиром Сорокиным. <http://www.srkn.ru/interview/b Sokolov.shtml> (Дата обращения: 29.05.2022)
- СОРОКИН 2011 = СОРОКИН В. «Я питаюсь русской метафизикой, но не представляю себя без Европы». <http://www.golos-ameriki.ru/a/sorokin-interview-2011-05-11-121675299/234456.html> (Дата обращения: 29.05.2022)
- ТУРЫШЕВА 2018 = ТУРЫШЕВА О.Н. Сожжение книг: новая семантика старого мотива: (на материале романа В. Сорокина „Манарага“) // Филологический класс, 2018. № 2. 141–145.
- ЧАНЦЕВ 2007 = ЧАНЦЕВ А. Фабрика антиутопий. Дистопический дискурс в российской литературе середины 2000-х // Новое литературное обозрение, 2007. № 86. 269–301.
- ШИРОКОВА 2006 = ШИРОКОВА С. Писатель Владимир Сорокин: Мой «День опричника» – это купание авторского красного коня. <http://iz.ru/news/316688> (Дата обращения: 29.05.2022)
- НЕТÉNYI 2009 = НЕТÉNYI Zs. Szorokin és az orosz posztmodern vége: a giccs // Holmi, 2009. №4. 559–565.
- KALAFATICS 2016 = KALAFATICS Zs. Az oroszországi nyelvpolitika és nyelvtervező tevékenység néhány jellegzetessége // Csillag S. (szerk.) Alkalmazott Tudományok III. Fóruma. Budapest, 2016. 347–357.
- SARNYAI 2010 = SARNYAI Cs. Keresztvilágok. Szláv mitológia és orosz irodalom. Szeged, 2010.

The ideological context of Vladimir Sorokin's novel *Day of the Oprichnik* This article explores the ideological context of Vladimir Sorokin's dystopia, written in 2006. It examines how questions of national identity and the mass myths of the totalitarian state are embedded in the world of the novel, and how Ivan the Terrible's oprichnina becomes a timeless and extra-historical universal model. The story of Komiaga's one day is a story about the mechanisms of power and violence of an authoritarian type, shown from the point of

view of a member of the state apparatus. The analysis presents rituals that reinforce a sense of community, as well as issues related to the use of language and the role of literature.

Keywords: dystopia, *Day of the Oprichnik*, oprichnina as a universal model, violence, rituals, framing, stylization

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИОСКЕВИЧ
(Гродно, Беларусь)

**Аксиологический релятивизм понятий «норма»
и «отклонение» и его проявление в литературе переходных эпох**

Аннотация: В статье рассматриваются понятия нормы и отклонения, выявляется специфика их содержания. Подчеркивается, что данные понятия относительны и определяются рядом социокультурных и исторических факторов. Аксиологический релятивизм понятий нормы и отклонения наиболее ярко проявляется в переходные эпохи в истории человечества, когда происходит смена культурных парадигм и активизируются процессы освоения новых сфер человеческого существования, новых знаний о мире и человеке. В свою очередь, интенсивность осмысления этих понятий в литературе провоцирует поиск новых жанрово-стилевых решений и повествовательных стратегий для реализации нормы и отклонения в художественном произведении.

Ключевые слова: норма, отклонение, релятивизм, ментальный кризис, переходная эпоха

Понятия нормы и отклонения являются значимыми как для отдельного человека, так и для сообщества людей; научный интерес к норме и отклонению от нее (аномалии, патологии, девиации) проявляют представители самых разных дисциплин, как гуманитарных, так и естественнонаучных: филологи, культурологи, социологи, антропологи, философы, психологи, психиатры, биологи и многие другие. Различные проявления нормы и отклонения являются объектом постоянного творческого осмысления писателей, художников, музыкантов.

Подобная значимость оппозиции «норма – отклонение» коренится в глубочайшей древности и связана со спецификой мифологического сознания. Окружающий мир издревле воспринимался человеком как система противопоставлений, затрагивавших все сферы его бытия: время, пространство, общество, природу, семейные отношения и др. В мифологической картине мира «нулевой точкой отсчета» служил Хаос: вводя в него основные признаки-противопоставления (тьма – свет, ночь – день, низ – верх, мужское – женское, своё – чужое и т. д.), человек постепенно упорядочивал Хаос и преобразовывал его в Космос. Мир описывался и в то же время моделировался системой основных содержательных двоичных противопоставлений (т. е. бинарных оппозиций), определявших пространственные, временные, социальные характеристики. К таким основополагаю-

щим противопоставлениям, которые сохраняют свою актуальность на протяжении всей истории человечества, закономерно отнести оппозицию «норма – отклонение».

Вместе с тем, дать определение норме достаточно сложно: это многоаспектный феномен, семантическое поле которого постоянно расширяется, вбирая в себя новые смыслы и трактовки: «Область нормы крайне широка; между нормой и тем, что ею не является, нет ясной границы» (ИВИН 2004: 668). Кроме того, понятие нормы является актуальным для самых разных сфер жизнедеятельности человека. Эти факторы определяют дискуссионность рассматриваемого понятия.

Ещё в античной философии наметились две основные линии в понимании нормы. Так, Аристотель предлагал понимать под нормой нечто среднее между «избытком» и «недостатком». К середине же, «заслуживающей одобрения», он относил такие качества, как щедрость, благородство, уравновешенность (АРИСТОТЕЛЬ 1984: 137). В то же время Протагор в качестве основной единицы измерения нормы определял человека с его достоинствами и недостатками, ибо именно «человек есть мера всех вещей» (СКИРБЕКК 2003: 68).

Эти две линии в осмыслении нормы сохраняются с некоторыми изменениями и в настоящее время. В переводе с латинского языка «норма» (погма) – это правило, образец, предписание. В философии одно из наиболее распространенных определений нормы является следующее: «предписание, разрешение или запрещение действовать определенным образом» (ИВИН 2004: 668).

Как отмечает Е.В. Змановская, в естественных и общественных науках норма понимается как «предел, мера допустимого для сохранения и изменения систем» (ЗМАНОВСКАЯ 2008: 17). При этом понятие нормы теснейшим образом связано с понятием отклонения или аномалии, что проявляется и в попытках дать норме научное определение. Так, в психологии наиболее простым и распространенным подходом к определению нормы является негативный подход, согласно которому, нормальный (или здоровый) человек – это тот, у кого отсутствуют аномалии. Например, в словаре-справочнике по психологии М. Кордуэлла нормальность определяется как «отсутствие симптомов психического расстройства или иных видов психологической дисфункции» (КОРДУЭЛЛ 2000: 194); в данном определении норма представлена как показатель психического здоровья человека в противопоставлении к состоянию болезни. Нормы поведения психологами понимаются как «способы мышления и поведения, принятые в данном обществе и разделяемые большинством его членов» (КОРДУЭЛЛ 2000: 195), и противопоставляются девиантному поведению, которое этим нормам не соответствует (ГОЛОВИН 2001: 509). Поведенческие нормы неразрывно связаны с целой системой норм социальных как «конвенциональных [...] правил, предписывающих или запрещающих какое-либо поведение, деятельность, действие» (МЕЩЕРЯКОВ 2003: 318).

Размышляя над проблемой определения нормы, В.П. Руднев указывает на ее «неуловимость»: «...норма неуловима именно потому, что она норма, а не отклонения от нее. [...] Норма – это нечто среднее, не экстравагантное, торжество здравого смысла, „безмятежное пребывание среди вещей”, и, стало быть, гармония между вещами и словами, между фактами и выражающими их высказываниями, между означаемым и означающим» (РУДНЕВ 2005: 170).

В то же время, отклонение определяется как несоответствие норме, правилу, закономерности. От нормы отклонение отличается тем, что это «всегда феномен, явление необычное, особенное» (НЕФЕДОВА 2000: 55).

Итак, норма – понятие многозначное и вместе с тем относительное, способное меняться в зависимости от исторических и социокультурных факторов. При всей относительности понимания нормы и отклонения очевидно, что одно не существует без другого и каждый из членов оппозиции обуславливает содержание другого.

Тезис об относительности нормы и отклонения не всегда был столь очевиден, как в настоящее время, и произвел в момент своего появления настоящий переворот во взглядах на природу психической болезни. Мысль об аксиологическом релятивизме нормы и отклонения позволило продемонстрировать этнографическое исследование. В статье американского антрополога Рут Бенедикт «Антропология и ненормальное» (1934) на обширном этнографическом материале рассматриваются представления о норме и патологии у индейцев. Пытаясь ответить на вопрос, являются ли представления о норме и патологии универсальными, Р. Бенедикт пришла к выводу о том, что базовые представления о нормальном и ненормальном, характерные для западноевропейского общества, не актуальны для других культур. Некоторые типы поведения, которые, в понимании европейца, являются признаком серьезных психических расстройств (например, состояние транса или каталепсии), представителями других культур считаются знаком избраннычества. Например, у индейцев шапта симптомы психического расстройства отождествляются со сверхъестественными способностями, с причастностью человека к некому таинственному знанию, что позволяет ему получить статус шамана.

На основе этих наблюдений Р. Бенедикт сделала вывод о том, что психическая норма полностью определяется традициями данной культуры. «Нормальность определяется культурой; этот термин обозначает социально разработанный сегмент человеческого поведения в отдельной культуре, а аномальность – термин для сферы поведения, которая не используется в данной культуре» (BENEDICT 1934: 73).

При этом, как справедливо отмечает Бенедикт, представления о норме могут различаться не только в разных культурах или сообществах, но и в рамках одной цивилизации в разные эпохи. Так, в Средние века «экстатический опыт» расценивался как признак святости; однако, с точки зрения представителя современной культуры, некоторые моменты жизни

святого (например, самоистязание, отказ от земных благ, повторяющиеся побег из дома с целью уйти в монастырь и т.п.) могут трактоваться как проявления ненормальности (BENEDICT 1934: 60).

На наш взгляд, проблематизация понимания нормы и отклонения, попытка переосмысления этих понятий наиболее актуальна для переходных эпох в истории человечества, когда происходит смена культурных парадигм и активизируются процессы освоения новых сфер человеческого бытия, новых знаний о мире и человеке.

Перспективной видится концепция В.И. Тюпы, который в работе «Дискурсивные формации. Очерки по компаративной риторике» (опираясь на труды Л.С. Выготского «История развития высших психических функций» и П. Рикёра «Конфликт интерпретаций», а также на идеи историков Ж. ле Гоффа, Р. Мандру и др.) предлагает рассматривать историю человеческой цивилизации и становление индивидуальной личности как смену четырех «фундаментальных состояний человеческого духа» («модальностей самоидентификации субъекта») или иначе – **типов сознания**:

1. Роевой Мы-менталитет (статусно-роевое, анонимное сознание) представляет собой дорефлективную самоидентификацию индивида с некоторой общностью индивидов: субъект жизни как «один из многих».

2. Ролевой Он-менталитет (нормативно-ролевое, авторитарное сознание) предполагает отношение к самому себе как бы в третьем лице: самоидентификацию индивида с некоторой сверхличной заданностью – с ролью в миропорядке, с функцией сакрально-онтологической структуры бытия (долгом, предназначением).

3. Дивергентный Я-менталитет (автономное, радикально индивидуализированное сознание) обозначает самоидентификацию личности с содержанием собственного сознания: «я» как «единственный».

4. Конвергентный Ты-менталитет (радикально диалогизированное сознание) предполагает способность «я» мыслить себя во втором лице: как «ты» для окружающих, как «разного для разных» (ТЮПА 2010: 22–25).

Исторический переход от одного типа сознания к другому проявляется в «смене ментальных матриц» (НАЗАРЕТЯН 2007: 135), регулирующих понимание мира и человека, и, вместе с тем, порождает ситуацию «ментального кризиса» (определение В.И. Тюпы).

Можно предполагать, что проблематизация понятий норма и отклонение в литературных произведениях переходных эпох представляет собой отражение ментального кризиса, а сами произведения выступают как «текстуальные манифестации духовной жизни социума», реализующие «коммуникативные стратегии, определяемые принадлежностью к культурной парадигме» (ТЮПА 2010: 47).

Соответственно, как **отклонение от нормы** квалифицируется такая модель поведения, которая предъявляет носителям уходящего в прошлое менталитета новые взгляды и новые поведенческие установки. С этой точки зрения становится понятным, почему оппозиция «норма – отклоне-

ние» актуализируется в литературе именно переходных эпох, когда происходит смена одного типа самоидентификации личности другим.

Переходность исторической эпохи, когда, с одной стороны, происходили изменения в исторической и мировоззренческой ситуации, с другой стороны, новое знание о мире и человеке сталкивалось с традиционными представлениями, обуславливает неоднозначность и многообразие интерпретаций понятий «норма» и «отклонение» в литературе.

Норма и отклонение, представленные в художественном произведении, как правило, обусловлены литературным и культурно-историческим контекстом, а также особенностями мировоззрения автора. Формы выражения отклонения от нормы в литературе многообразны: это безумное / неразумное, странное, таинственное, ужасное (страшное), безобразное, абсурдное, – одним словом, всё, что относится к сфере иррационального и выходит за рамки постижения человеческим разумом.

Для каждой переходной эпохи с ее «многослойностью самого исторического бытия», «культурной неопределенностью» и в целом – тотальным «изменением диапазона культурно-исторических смыслов» (ЧЕРНЯК 2013: 18) характерен выраженный аксиологический релятивизм. Различия ценностных противоположностей снимаются, ценности меняются местами с их антиподами: добро – зло, прекрасное – безобразное, норма – отклонение и др.

Понятия нормы и отклонения являются сквозными для русской литературы, где они представлены, прежде всего, в переходные эпохи (романтизм, модернизм и постмодернизм), для которых характерны культурные и ментальные сдвиги. Уточним, что здесь имеется в виду мегакультурная ментальность, «свойственная целым историческим эпохам» (ТЮПА 2010: 20).

Так, на рубеже XVIII–XIX вв. в западноевропейской культуре происходит смена ментальных матриц. В России этот процесс начинается позже – в 10–20-е гг. XIX в. Смена ментальных матриц обуславливает возникновение ментального кризиса, проявляющегося, прежде всего, в «распаде привычной картины мира» (ТЮПА 2010: 30), вслед за чем осуществляется переход от нормативно-ролевого сознания к культуре дивергентного Я-менталитета и постепенное становление нового типа индивидуальной личности. С разрушением привычной, устоявшейся системы мировоззрения и формированием новой меняются представления о мире и человеке. Разум утрачивает свои ведущие позиции в постижении и объяснении действительности; напротив, в этот период приходит осознание того, что далеко не всё в этом мире может быть объяснено рациональным путем и, соответственно, в обществе актуализируется интерес к иррациональному. Тема безумия становится одной из центральных в литературе этого периода.

Повесть Антония Погорельского «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828), созданная в переходную эпоху, на стыке различных по

своему характеру типов сознания и, соответственно, на стыке культурно-исторических эпох и литературных направлений, в полной мере отражает мировоззренческую драму поколения, обусловленную «кризисом идентичности» (ТЮПА 2010: 30). Первым проявлением этого кризиса становится авторское сомнение в правильности понимания мира. А. Погорельский обращается к сфере иррационального, метафорой которого становится безумие.

В основу произведения Погорельского положена фантастическая ситуация: в гости к герою повести, Антонию, по вечерам приходит его собственный двойник, с которым он ведет дискуссию о таинственных явлениях жизни. Примечательно, что Антоний объясняет их наличием потустороннего мира, временами вторгающегося в реальную жизнь, а Двойник, сам являющийся порождением иррациональной сферы, считает, что большая часть необычных явлений может быть рационально объяснена. Появление Двойника может объясняться безумием Антония, однако, на наш взгляд, продуктивно рассматривать его в русле традиции романтизма, где двойник, как и двойничество в целом, является символом дисгармонии человека и мира, выражением краха целостной системы мироздания, которая была присуща просветителям. Предложенный А. Погорельским вариант двойничества сигнализирует о ситуации неуверенности в адекватном понимании мира, в которой оказался человек переходной эпохи, когда проблематизируются возможности рационализма как способа познания мира.

В состав повести входят четыре новеллы, в каждой из которых есть герой-безумец. Однако в описании сумасшествия своих героев А. Погорельский не идет далее констатации странности их поведения, что подтверждает мысль о понимании им безумия как метафоры душевного потрясения, вызванного наличием таинственных явлений в жизни, а также позволяет рассматривать безумие в повести как форму художественной условности, как средство психологической мотивировки фантастического. Все новеллы выполняют иллюстративную функцию: они призваны доказать состоятельность выдвигаемых собеседниками тезисов о возможности либо невозможности постижения мира.

Важную роль в реализации авторской концепции повести Погорельского играет дискуссия Антония и Двойника о природе таинственного и непознаваемого. На протяжении произведения повествование колеблется между двумя полюсами: рациональным объяснением всего происходящего и верой в непознаваемое, иррациональное. Автор декларирует мысль не только о равноценности рационального и иррационального, нормы и отклонения, но и об их тесном переплетении, что проявляется и в образе Двойника-рационалиста (он сам – отклонение от нормы), и в его размышлениях об уме. Безумие (в широком смысле – как все иррациональное), отодвинутое на задний план эпохой Просвещения, в повести Погорель-

ского признается равнозначным уму способом истолкования мира, само оставаясь при этом непознаваемым.

Параллельно с переживанием и осмыслением смены научной парадигмы, которая происходит на рубеже XVIII – XIX вв. и артикулируется как противостояние рационалистического и иррационалистического способов познания мира, в 20-30-е гг. XIX века в России обозначился и кризис нормативно-ролевого Он-менталитета: начался переход от признания иерархического устройства общества и своей роли в миропорядке, регламентированности социального поведения к осознанию суверенности и центрального положения своего «я» в мире, а значит, к противопоставлению себя миру.

Процесс формирования Я-менталитета был длительным и имел разные проявления в элитарном и массовом сознании. Важно, однако, отметить, что во всех случаях поведение человека, противопоставлявшего свое Я-сознание ролевому Он-менталитету, воспринималось как отклонение от общепринятой нормы поведения и квалифицировалось как безумие. Ранней формой осмысления данного феномена было так называемое романтическое безумие. Одним из первых к такой постановке проблемы обратился Н.А. Полевой в повести «Блаженство безумия» (1833).

В центре произведения – фигура героя-безумца, противопоставленного окружающему его миру. В исследованиях литературного наследия Н. Полевого доминирующим является понимание безумия главного героя повести Антиоха как «истинного проявления мудрости и откровения тайн бытия» (КАНУНОВА 1974: 274), менее распространённым – как «едва ли не клинического случая сумасшествия» (ФАУСТОВ 1998: 29). На наш взгляд, безумие Антиоха – это не столько заболевание психики (хотя у Н.А. Полевого, несомненно, разрабатывается и этот аспект), сколько метафора, выражающая характерное для литературы романтизма противопоставление «я» героя толпе. В семантическое поле этой метафоры входит понимание безумия как духовной свободы.

Идея об относительности нормы и отклонения реализуется в повести Н. Полевого за счет специфики перспективации, в основу которой **положен принцип антитезы**, реализующийся путем введения на каждом уровне повествования представителей противоположных (обыденного, определяемого Он-менталитетом, и романтического, определяемого Я-менталитетом) типов отношения к жизни и способов познания (рационального и иррационального).

Для повести «Блаженство безумия» характерна многоуровневая структура нарратива и многосубъектная система повествовательных инстанций. Первый уровень повествования – рассказываемая первичным нарратором история чтения и обсуждения новеллы Э.Т.А. Гофмана «Повелитель блох». Второй уровень – история о безумце Антиохе, рассказываемая его другом Леонидом. Третий уровень – история жизни Антиоха, поведанная им самим Леониду.

Так, в первичной наррации повествование ведется с перцептивной и идеологической точки зрения нарратора-рационалиста, утверждающего, что «безотчетное чувство есть низшее чувство» (ПОЛЕВОЙ 1986: 91). Ему противопоставлена позиция Леонида – приверженца иррационального постижения смысла бытия. Во вторичной наррации Леонид, рассказывая историю Антиоха, противопоставляет свою оценку поведения героя и оценку с позиции Он-сознания, которое отождествляет мечтателя и безумца. Симпатии Леонида всецело на стороне Антиоха, хотя первоначально любовь Антиоха к Адельгейде воспринимается Леонидом как болезнь, как отклонение от нормы. Но с перцептивной и идеологической позиции самого Антиоха как носителя романтического Я-сознания, его любовь к Адельгейде – это вовсе не безумие, а магическая сила, позволяющая прикоснуться к изначальному смыслу бытия.

Уже в рамках вторичной наррации происходят изменения в оценочной позиции Леонида: он выступает как человек, приобщенный к идеям «бесконечного» мира, и с этой позиции безумие воспринимается им как блаженство. Так, с помощью изменения перцептивной и оценочной позиции вторичного нарратора автор утверждает идею торжества «бесконечного» мира над «конечным», безумия – над «мудростью света» (ПОЛЕВОЙ 1986: 96).

Постепенно изменения происходят и в перцептивной позиции первичного нарратора, выполняющего в финале повести функцию уже нейтрального наблюдателя, не дающего оценки услышанной истории. Носителем обыденного Он-сознания здесь выступает одна из слушательниц – веселая девушка. Однако последнее слово остается за Леонидом, благодаря чему финал повести становится гимном «высокому» безумию.

Таким образом, своеобразие перспективации в «Блаженстве безумия», проявляющееся в постоянном противопоставлении обыденного и романтического типов сознания, способствует выражению авторского понимания безумия как духовного освобождения и формы истинного знания, приобщающего к высшим сферам бытия, а также отражает идею об аксиологическом релятивизме понятий норма и отклонение.

В.И. Тюпа связывает открытие Другого «я» с реализмом и указывает, что к концу XIX века в русской культуре назревает «очередной ментальный кризис – кризис воображающего свои миры Я-сознания» (ТЮПА 2014: 15). Весь «длинный» XX век, который начался ранее 1901 года и, по-видимому, еще не завершился, представляет собой «эпоху длительного ментального кризиса», озаменованного «нищезанством, символизмом, покаянным эгоцентризмом Блока, постсимволистским разбродом художественных практик, фрейдовским психоанализом, а социально-политически – первой мировой войной и Октябрьской революцией» (ТЮПА 2014: 15). Исследовательское внимание отныне, как и писатель-

ские практики, концентрируется на языковом, телесном, нормативно-патологическом аспектах существования человека.

Ментальные изменения, происходящие в этот переходный период, неизбежно влекут за собой смену ценностной парадигмы, в рамках которой происходит переосмысление понятий «норма» и «отклонение» и интенсифицируются связанные с этим переосмыслением поиски новых нарративных стратегий художественной реализации нормы и отклонения в литературе.

Показательным с этой точки зрения является одно из самых ярких и необычных произведений рубежа XIX–XX вв. – роман Ф. Сологуба «Мелкий бес» (1902). Это «пограничное» произведение «золотого» и «серебряного» века русской литературы, в котором элементы поэтики реализма и символизма причудливо соединяются и взаимодействуют.

Главный герой романа, Ардальон Борисович Передонов – озлобленный, полубезумный учитель, чей образ является символом кошмарной жизни, в которой граница между нормой и отклонением размыта настолько, что одно понятие нередко подменяется другим. Как норму жизни окружающие долгое время воспринимают самые нелепые и подлые поступки Передонова, который в начале романа предстает как завидный жених, а в перспективе – педагог-инспектор. Это во многом объясняется атмосферой всеобщей глупости, царящей вокруг: «сологубовский город поистине славен своим идиотизмом; при этом его обитатели еще больше глупеют, веря всяким небылицам... Нагромождение глупости производит впечатление ее неискоренимости» (ЕРОФЕЕВ 1990: 84).

Каждый из героев романа по-своему глуп и ограничен в своих желаниях и интересах (Варвара, Володин, Рутлов, Вершина и др.). Как нравственно здоровые не могут восприниматься и персонажи, выбранные Передоновым для посещения (Скучаев, Кириллов, Авиновицкий и др.). И в целом, жители города предстают погруженными в духовную дремоту: «...шли они медленно, словно ничто ни к чему их не побуждало, словно едва одолевали они клонящую их к успокоению дремоту...» (СОЛОГУБ 1988: 95).

Неудивительно, что в этом пространстве тотальной глупости Передонова с трудом признают сумасшедшим, хотя ненормальность персонажа проявляется уже с первых страниц романа: в его параноидальной подозрительности и недоверчивости, в маниакальной заикленности на одной идее (получение должности инспектора), в извращенной тяге к издевательствам над гимназистами и т.д. Таким образом, в мире абсурда отклонение (помешательство одного из членов социума) приобретает характер нормы. Это происходит потому, что на оппозицию «норма – отклонение» наслаивается другое, не менее значимое противопоставление «мир – человек», где безумный мир также предстает не соответствующим норме.

Специфика субъектной организации в романе «Мелкий бес» заключается не только в постоянно меняющемся характере взаимоотношений

между автором и героем, что проявляется в колебании дистанции между ними, но также в использовании различных форм экспликации образа автора в тексте: от лично-нейтрального повествователя до персонафицированного рассказчика, лично участвующего в жизни города. Результатом подобной субъектной организации становится формирование в романе «Мелкий бес» такого типа нарратива, в котором границы между миром автора и миром персонажей, а также между миром персонажей и миром читателя становятся подвижными и проницаемыми. В итоге читатель оказывается сопричастным господствующей в романе Ф. Сологуба ситуации всепоглощающего абсурда.

Очевидным является переходный характер эпохи рубежа XX–XXI вв.: «в конце XX века происходит слом литературной эпохи, утеря литературоцентризма в обществе, резко меняется тип читателя и тип писателя» (ЧЕРНЯК 2008: 7). Современная социокультурная ситуация, для которой характерна проблематизация понимания нормы и отклонения, требует осмысления через опыт аналогичных эпох (например, рубеж XIX–XX вв., с которым современные писатели и литературоведы так часто сравнивают нынешнюю литературную ситуацию).

Закономерно, что в современной русской литературе тема безумия (понимаемого в узком смысле – как психического расстройства отдельной личности, и в широком – как проявления иррационального в разных его формах, как абсурдности мира и жизни) представлена в произведениях многих авторов: «Сумасшедший» А. Петрушкина, «Патологии» З. Прилепина, «Идиоты» Саши Щипина, «Юродивая» Е. Крюковой, «Легкая голова» О. Славниковой, «Петровы в гриппе и вокруг него» А. Сальникова, «Принц Инкогнито» А. Понизовского, «Учитель Дымов» С. Кузнецова и др. В произведениях современных писателей причудливо переплетаются безумие и норма, реальная повседневность и тотальный абсурд.

Привлекательной для современных писателей по-прежнему остается фигура чудака, странного (курсив наш. – О.И.) человека. Одним из произведений, в центре которого – герой-чудак, является роман Н. Репиной «Жизнеописание Льва» (2021). Название произведения отсылает читателя к одному из самых популярных жанров древнерусской литературы – житию. Традиции жития прослеживаются и в сюжетной организации романа, и в принципах изображения главного персонажа, Льва Неверовского, который позиционируется в аннотации к роману как современный юродивый. Роман состоит из трех частей: «Часть 1. Лучшие годы вашей жизни» (детство Льва, его пребывание летом на даче), «Часть 2. Полная картина мира» (работа Льва в библиотеке) и «Часть 3. Боковое зрение» (последние месяцы жизни Льва). В каждой из трех частей автором выбирается разный ракурс повествования. Так, в Части 1 рассказ ведется от лица всеведущего нарратора, в Части 2 – от лица самого Льва, в Части 3 – от лица Полины, давней знакомой героя.

Образ Льва интересен тем, что в нем отчетливо проявляется относительность нормы и отклонения, размытость границы между ними. Уже с самого детства Лева – необычный мальчик, который любит «разговоры с бессловесным». Ему кажется, что всё вокруг – живое, чувствующее, испытывающее боль и радость: «Никто не может поручиться, что дверь подъезда не чувствует боли, когда ею хлопают. Или что кресло не обижается, когда в нем долго сидят. Лева старается понять их чувства. Это трудно» (РЕПИНА 2021: 9–10). Лева не любит рвать цветы, собирать грибы, ломать ветви бузины, потому что чувствует, что причиняет боль всему живому. Он настолько остро ощущает свое единство с окружающим миром, что начинает задыхаться от боли, когда вместе с мальчишками, его товарищами по дачным бузинным войнам, обламывает кисти бузины и обрывает ягоды: «Его постепенно охватывал если не ужас, то мучительное чувство, что он делает нечто противоестественное, похожее на самоубийство» (РЕПИНА 2021: 62).

Примечательно, что странности Льва заметны окружающим (соседям по даче и даже их детям, которые не хотят играть с Левой), но не заметны его маме и бабушке. Мама Левы – творческая личность, музыкант, концертмейстер, тоже живет в своем идеальном мире. Для нее Лева – замечательный мальчик, очень умный, добрый, чувствительный. Однако, благодаря тому что повествование в Части 1 романа ведется от лица объективного всеведущего нарратора, который при необходимости переходит на точку зрения любого персонажа, читатель обретает возможность и заглянуть во внутренний мир Левы, и взглянуть на него глазами других героев: соседей по даче и их детей. Так создается всесторонний портрет главного героя романа.

В Части 2 повествование ведется от лица уже повзрослевшего Льва, сотрудника библиотеки. Работа для него – счастье, потому что именно в библиотеке царит непреложный порядок. Лева по-прежнему не терпит хаоса и абсурда, не ест «убитых животных», не срезает «живые цветы» и т.п. На первый взгляд, он может показаться вполне обычным человеком, каким его и воспринимают некоторые знакомые, но удивительная глубина его души, нетерпимость фальши и лжи, следование своим собственным принципам делают Льва странным в глазах тех, кто знает его поверхностно, как, например, работающие с ним девочки-библиотекарши. Лев и сам понимает, что не нравится девушкам: «Скорее всего, из-за того, что они находят меня странным. И из-за внешности. У меня живот, и я ношу подтяжки поверх рубашек. Клетчатых или полосатых. И я похож на толстую мышь, если бы она имела высшее филологическое образование» (РЕПИНА 2021: 95).

В Части 2 происходит история, оказавшая на Льва огромное впечатление. В библиотеке он случайно узнает о поэте мандельштамовского круга Клименте Сызранцеве и начинает собирать о нем информацию. Так Лев пытается удержать «в бытии ускользающее имя» Сызранцева (РЕ-

ПИНА 2021: 98). Он даже попадает в дом-музей Сызранцева и знакомится с его потомками. Параллельно у Льва начинают выстраиваться отношения с женщиной, «чиновницей от культуры», Екатериной Ермолаевной Шутько, которая должна поспособствовать тому, чтобы квартира Сызранцева получила статус музея. Однако вдруг выясняется, что поэта Климента Сызранцева никогда не было, а вся мистификация придумана его потомками с целью сохранить квартиру, спасти дом от сноса. В шоке от случившегося, Лев открывает правду чиновнице Екатерине... Тем самым он предаёт своих новых друзей, потомков Климента Сызранцева, который никогда не был поэтом. Часть 2 романа обрывается внезапно, на трагической ноте признания Льва, в момент кульминации. Всеведущий нарратор дистанцируется от происходящего, никак не комментируя события.

В Части 3 описываются события, происходящие почти 30 лет спустя после мистификации с Сызранцевым. Повествование ведётся от лица Полины, внучки Климента Сызранцева, которая представляет собой классический образец «ненадежного» нарратора: из-за мучающей ее бессонницы Полина уже не в состоянии адекватно воспринимать реальность. Она случайно встречает Льва и пытается ему помочь, но с возрастом странность героя, его непохожесть на других людей становится все более очевидной. Он ведет себя подобно юродивому: отказывается от комфортной квартиры, от чистой одежды, подкармливает птиц и котов, избегает встреч со знакомыми. Полина думает, что Лев, увлеченный феноменом юродства, специально юродствует, примеряя на себя маску блаженного. Но это не так. Лев и на самом деле – современный юродивый, в характере которого удивительно переплетаются норма и отклонение. В романе «Жинеописание Льва оппозиция «норма – отклонение» вновь пересекается с оппозицией «мир – человек», но в больном, бездуховном мире как отклонение от нормы воспринимается добрый, ранимый, честный человек. Роман заканчивается смертью Льва, что символично: в современном жестком мире нет места юродивому, непохожему на окружающих его людей Другому.

Таким образом, понятия нормы и отклонения являются относительными: их содержание определяется рядом социокультурных и исторических факторов. Однако, при всей относительности понимания нормы и отклонения, очевидно, что одно понятие не существует без другого и каждый из членов данной оппозиции обуславливает содержание другого. Наиболее ярко аксиологический релятивизм понятий нормы и отклонения проявляется в переходные эпохи в истории человечества, когда происходит смена культурных парадигм и активизируются процессы освоения новых сфер человеческого бытия, новых знаний о мире и человеке. В свою очередь, интенсивность осмысления этих понятий в литературе провоцирует поиск новых жанрово-стилевых решений и нарративных стратегий для реализации нормы и отклонения в тексте художественного произведения.

Литература

- АРИСТОТЕЛЬ 1984 = АРИСТОТЕЛЬ. Сочинения: В 4 тт. Т. 4. Москва, 1984.
- ГОЛОВИН 2001 = ГОЛОВИН С.Ю. Словарь психолога-практика / сост. С.Ю. Головин. Минск, 2001.
- ЕРОФЕЕВ 1990 = ЕРОФЕЕВ В. На грани разрыва («Мелкий бес» Ф. Сологуба и русский реализм) // Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов. Москва, 1990.
- ЗМАНОВСКАЯ 2003 = ЗМАНОВСКАЯ Е.В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения. Москва, 2003.
- КАНУНОВА 1973 = КАНУНОВА Ф.З. Эстетика русской романтической повести. Томск, 1973.
- КОРДУЭЛЛ 2000 = КОРДУЭЛЛ М. Психология. Москва, 2000.
- МЕЩЕРЯКОВ 2003 = МЕЩЕРЯКОВ Б.Г. Нормы социальные // Большой психологический словарь. Под ред. Б.Г. Мещерякова. Москва, 2003.
- НАЗАРЕТЯН 2007 = НАЗАРЕТЯН А.П. Антропология насилия и культуры: Очерки по эволюционно-исторической психологии. Москва, 2007.
- НЕФЕДОВА 2000 = НЕФЕДОВА Л.А. Девиации в языке и коммуникации. Москва, 2000.
- ПОЛЕВОЙ 1986 = ПОЛЕВОЙ Н.А. Блаженство безумия // Полевой Н.А. Избранные произведения и письма. Ленинград, 1986.
- РЕПИНА 2021 = РЕПИНА Н. Жизнеописание Льва. Москва, 2021.
- РУДНЕВ 2005 = РУДНЕВ В. Диалог с безумием. Москва, 2003.
- СКИРБЕКК, ГИЛЬЕ 2003 = СКИРБЕКК Г., ГИЛЬЕ Н. История философии. Москва, 2003.
- СОЛОГУБ 1988 = СОЛОГУБ Ф. Мелкий бес. Москва, 1988.
- ТЮПА 2010 = ТЮПА В.И. Дискурсные формации: Очерки по компаративной риторике. Москва, 2010.
- ТЮПА 2014 = ТЮПА В.И. Ментальные кризисы в истории литературы // Антропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе: сб. науч. ст.: В 2 ч. Ч. 1. Гродно, 2014.
- ФАУСТОВ 1998 = ФАУСТОВ А.А. Динамика русской литературы первой половины XIX века: язык переживания, авторское повествование, характерология. Воронеж, 1998.
- ЧЕРНЯК 2008 = ЧЕРНЯК М.А. Современная русская литература. Москва, 2008.
- ЧЕРНЯК 2013 = ЧЕРНЯК М.А. Массовая литература XX века. Москва, 2013.
- ФИЛОСОФИЯ 2004 = Философия. Энциклопедический словарь. Под ред. А.А. Ивина. Москва, 2004.
- BENEDICT 1934 = BENEDICT R. (1934) Anthropology and the Abnormal // The Journal of General Psychology, 1934. Vol. 10. № 1. 59–82.
DOI: <https://doi.org/10.1080/00221309.1934.9917714>

Axiological relativism of the concepts "norm" and "deviation" and its manifestation in the literature of transitional periods. The article discusses the concepts of norm and deviation, and also reveals the specifics of their con-

tent. It is emphasized that these concepts are relative and they are determined by a number of socio-cultural and historical factors. The axiological relativism of the concepts of norm and deviation is most clearly manifested in transitional eras in the history of mankind, when there is a change in cultural paradigms and the processes of mastering new spheres of human existence, new knowledge about the world and man are activated. In turn, the intensity of comprehension of these concepts in literature provokes the search for new genre and style solutions and narrative strategies for the implementation of norms and deviations in a work of art.

Keywords: norm, deviation, relativism, mental crisis, transitional period

КУРАЛАЙ БИБИТАЛЫЕВНА УРАЗАЕВА
(Нур-Султан, Казахстан)

**Коммуникативная онтология А. Пушкина в одесской лирике.
«Впечатленья бытия» и текст как инобытие автора**

Аннотация. Статья посвящена изучению пушкинской онтологии с применением методов коммуникативной онтологии. Особенности коммуникативной онтологии рассмотрены на примере трудов Ю. Лотмана, посвященных одесской лирике А.С. Пушкина; систематизированы параметры онтологического измерения коммуникации. Обоснование «одесского текста» Пушкина как инобытия осуществлено с позиций корреляции текста автора с системой формирующих его контекстов. Такое представление способствовало классификации контекстов бонапартизма, Православия и фаустианского текста как философско-художественных параметров пушкинской онтологии. Показаны перспективы развития идей и методов Ю.М. Лотмана для последующего изучения бонапартизма и его смысла, парадоксального для русской истории, а также определены пути анализа роли Православия как почвы религиозной художественности и фаустианского текста.

Ключевые слова: пушкинская онтология, коммуникативная онтология, бонапартизм, русский Фауст

Предпринятый в статье подход сфокусирован вокруг пушкинской онтологии, исследование которой осуществляется посредством методов коммуникативной онтологии. В этом смысле анализ пушкинской онтологии, имеющий прецедент в трудах В.С. Непомнящего, создает предпосылки для расширения онтологии коммуникации и способствует обоснованию представления об инобытии текста как корреляции текста автора с системой формирующих его контекстов. Такой прецедент содержат фрагменты работ Ю.М. Лотмана, посвященных стихотворению А.С. Пушкина «Демон» как центральному в одесской лирике произведению, в синтезе с произведениями «Свободы сеятель пустынный», «Недвижный страж дремал на царственном пороге», «Зачем ты послан был и кто тебя послал?».

Современный взгляд на методологию Лотмана позволяет выделить и обобщить научные парадигмы, направленные на структуру восприятия реципиента и его влияние как на автора, так и всю цепь коммуникации. Актуальность работы обусловлена изучением пушкинской онтологии с использованием методов коммуникативной онтологии. Развитие идей Ю.М.

Лотмана об одесской лирике А.С. Пушкина, его сюжетной и исторической интерпретации делает возможным выявление в методологии ученого приемов онтологического измерения коммуникации и трансляции на пушкинскую лирику эстетических и этических характеристик одесского текста поэта.

Рассмотрение следующих вопросов: контекстов, формирующих одесский текст, а именно бонапартизм с его смыслом, парадоксальным для русской истории, Православие как основу религиозной художественности и фаустианский текст – ставит целью рассмотрение пушкинской лирики одесского периода в аспекте онтологических параметров коммуникации. Для достижения заявленной цели предусмотрено решение задач: выявление в методологии Лотмана параметров онтологического измерения коммуникации, а также обоснование одесского текста Пушкина как инобытия, или корреляции текста автора с системой формирующих его контекстов – бонапартизма, Православия и фаустианского текста.

Новые подходы коммуникативной онтологии заключаются в дефинировании этического и эстетического измерений коммуникации в связи с включением в ее пространство не только «индивидуальностей, но и [...] исторических пространств взаимодействия, активности, пересечений» (КОСТИНА 2005: URL). Включение трудов Лотмана в систему коммуникативной онтологии представляется плодотворным по следующим причинам. Известно, что традиционно выявление онтологических параметров коммуникации предусматривает внимание к экзистенциальной литературе, сфокусированной вокруг смысла коммуникации. Здесь исследователь выделяет труды С. Кьеркегора, К. Ясперса, О. Больнова, М. Бубера, М. Хайдеггера и др., направленные на установление фундаментальной роли коммуникации в ее связи с «трансценденцией, рисками индивидуального существования, испытания Другим» (КОСТИНА 2005: URL), и концепцию персонализма, которая характеризуется описанием коммуникаций сознаний, взаимопонимания, подлинной личности. Общность второй группы характеризуется изучением онтологических условий коммуникации в герменевтической перспективе. Обобщая труды семиотиков, русских и зарубежных, О.В. Костина противопоставляет безусловным преимуществам: многоуровневому анализу текста, конкретности исследований, изучению коммуникации как знакового пространства культуры – их односторонность и обусловленность односторонности ориентированностью на «информационную модель коммуникации, которая значительно сужает и обедняет содержание исследования темы онтологии коммуникации» (КОСТИНА 2005: URL). Между тем выделенную исследователем «повышенную чувствительность» «современной культуры к проблемам смыслообразования и текстообразования» (КОСТИНА 2005: URL), являющейся признаком онтологического измерения коммуникации, можно применить к результатам исследования Лотманом пушкинского текста периода южной ссылки.

Применение основных идей коммуникативной онтологии в границах рассматриваемой теме обусловлено снятием антиномии между субъектом и объектом именно в онтологическом плане, как указывает на то другой исследователь. Рассматривая субъект и объект как продукты коммуникации, В.Е. Буденкова разграничивает их онтологическое различие: «Субъект теперь не только выявляет связи между объектами и закономерности их существования, оставаясь "безучастным" к ним, он формирует связи, обеспечивающие существование объекта и его собственное. В современной науке реальность "держится" субъектом, а объект есть то, в какие отношения он включен. Он "раскрывается"» (БУДЕНКОВА 2006: 36). Приведенная мысль отражает изменения традиционных представлений о познании и способах его осмысления. Идеи Лотмана, касающиеся одесской лирики Пушкина, могут быть дополнены с точки зрения взаимоотношений субъекта и объекта, включенных в систему сюжетной и исторической интерпретации, когда персонализирующие Историю субъекты становятся ее объектами, а История эволюционирует в субъект как индикатор духовной и эстетической концепции Пушкина, несущей следы «расставания» с романтизмом и запечатлевающей становление реализма. С таким представлением перекликается мысль В.И. Тюпы об интерсубъективных значениях, содержащих «высший смысл данного коммуникативного события», соединяющего объективность знаков и субъективность их смысловых значимостей (ТЮПА 2019: URL). Рассмотренная ученым проблема метаадресата и метасубъекта соотносится в настоящей работе – в контексте коммуникативной онтологии – с понятием инобытия текста, основанным на сознании адресата лотмановского прочтения пушкинского текста. В таком случае метасубъектом выступает пушкинская онтология как авторская концепция истории. Мысль Лотмана о сюжетной и исторической интерпретации Истории может быть уточнена в аспекте трех составляющих: бонапартизма, точнее его парадоксальной природы для русской истории, Православия как почвы религиозной художественности, фаустианского текста как версии демонизма и русского романтизма.

Актуальность изучения пушкинской онтологии посредством коммуникативной онтологии подтверждается современным пониманием в философии конвенциональности научной истины. Одно из пониманий научной истины заключается в том, что она «общезначима (интерсубъективна). Иными словами, она становится значима не в рамках одной научной дисциплины, а в междисциплинарной, коммуникативной сфере» (ФЕДОРОВА 2012).

Мысли В.И. Тюпы об онтологических опорах коммуникации в таком определении, как «загадка вечности мира и тайна его личностности», дискурсе как «переложении прототекста 'безъязыковой' внутренней речи на общепонятный текстообразующий язык», который в свою очередь представляет собой «чрезвычайно сложный процесс расчленения мысли и ее воссоздания в словах» (ТЮПА 2019: URL), интересны рассмотре-

нием фаустианского текста, в том числе русского Фауста как прототекста, коррелирующего с текстом «русского» Гамлета. Изучение фаустианских мотивов в русской литературе составляет отдельную область. Наиболее популярные интерпретации русского Фауста восходят к образу Ивана Карамазова. Вместе с тем репрезентация аксиологической архитектоники романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», предпринятая современным ученым (СТЕПЧЕНКОВА 2022), обращает внимание на большую связь с корпусом ценностных мотивов Православия, в сравнении с фаустианским текстом. Ученый указывает на тяготение духовно-религиозных истоков духа отрицания к Православию.

Следует обратить внимание на работу Г.Г. Ишимбаевой, посвященную типологии фаустианского текста Гете и Пушкина. В работе объектом сопоставления стала система действий «духа отрицающего», отрицательно-самоопределения через противопоставление я и не-я (ИШИМБАЕВА 2014). Следует также отметить диссертацию Н.С. Васина о рецепции образа Фауста в произведениях и творчестве писателей русской литературы 20–60-х годов XIX века (ВАСИН 2012: URL). Исследование переводческой, литературной, литературно-критической и публицистической фаустианы позволило ученому осуществить реконструкцию и изучение рецептивной модели усвоения трагедии Гете в русской литературе рассмотренного периода и выделить основные тенденции фаустовской проблематики: трактовку Фауста как исторического типа с опорой на компаративистский подход, рассмотрение его как психологического типа, интерпретации, в которых литературный герой выступает онтологическим и символическим типом. В упомянутой диссертации объектом анализа стала и пушкинская фаустиана как источник национальной интерпретации образа Фауста, в частности, в творчестве В.Ф. Одоевского, И.С. Тургенева и пародийных публикациях «Искры». Ученый описал и пушкинскую эстетику на материале стихотворений «Демон», «Разговор книгопродавца с поэтом»), фрагментов («Таврида», «<В.Ф. Раевскому>», «Сцена из Фауста»), черновых набросков («Наброски к замыслу о Фаусте», «Сцены из рыцарских времен»), «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и «Маленьких трагедий».

Трансформация гётевского героя в русской и зарубежной словесности XX в., исследованная на материале произведений таких писателей, как Т. Манн, К. Манн, Г. Гессе, П. Валери, Г. Стайн, Дж. Керуак, Ф. Дюрренматт, М.А. Горький, Л. М. Леонов, В. Я. Брюсов, И. Л. Сельвинский, М. А. Булгаков, И. А. Бродский и др., привела ученого Г.В. Якушеву к мысли о кризисе «знакового» персонажа века Просвещения в эпоху реализма (ЯКУШЕВА 2005).

Таким образом, выбор коммуникативной онтологии и компаративной риторики в качестве методологических подходов, а также учет результатов русской фаустианы, обусловленный интерпретацией контекста как одного из проявлений дискурса бонапартизма Православия и фаустианы,

способствует выделению и обобщению предпосылок названных подходов в научной стратегии Лотмана и их применению для изучения пушкинской онтологии. Аналогичный опыт был предпринят автором настоящей статьи в работе о роли стихотворений А.С. Пушкина «Демон» (опубликованного как «Мой Демон» в «Мнемозине» в 1824 г.) и М.Ю. Лермонтова «Мой Демон» («Собрание зол его стихия...», 1829) как истоков двух типов отношения к традиции Байрона и двух модификаций русского демонизма в литературе романтизма (УРАЗАЕВА 2008). Тогда же и была поставлена проблема изучения литературы с позиций коммуникативной онтологии.

Интересным является установление методов коммуникативной онтологии в работах Лотмана, посвященных пушкинской лирике одесского периода. Оценка Лотманом стихотворения Пушкина «Демон» как центрального в одесской лирике была обусловлена контекстом, в котором различимы такие его виды, как биографический (настроение молодежи, о котором писал А.С. Грибоедов С.Н. Бегичеву, намекая на возможность самоубийства (ЛОТМАН 1995: 87)), авторский литературный («Свободы сеятель пустынный...», «Недвижный страж дремал на царственном пороге...», «Зачем ты послан был и кто тебя послал?...»), а также контекст религиозной художественности. Последний из отмеченных контекстов составил особый пласт в творчестве поэта, в котором сигналами осмысления Православия явились семиотически нагруженные заглавия. Отчетливо проступающая связь между программным характером названий и датами создания произведений позволяет охарактеризовать данный контекст как концептуально-хронологический. Так, отрывки и стихотворения «Вечерня отошла давно» (1821), «Люблю ваш сумрак неизвестный» (1822), «На тихих берегах Москвы» (1822), «Надгробная надпись кн. Голицыну» (1823), «Ангел» («В дверях эдема...») (1827), «Эпитафия сыну декабриста С. Волконского» (1827), «Воспоминание» (1828), «Монастырь на Казбеке» (1829), «Еще одной великой важной песни» (1829), «Воспоминания в Царском Селе» (1829), «Стансы митр. Филарету» (1830), «Мадонна» (1830), «Заклинание» (1830), «Для берегов отчизны дальней» (1830), «Юдифь» (1832), «Напрасно я бегу к сионским высотам» (1833), «Странник (из Буньяна)» (1834), «Когда великое свершилось торжество» (1836), «Молитва» («Отцы-пустынники») (1836) не только несут следы ритуальной христианской образности, но и воссоздают духовный маршрут поэта в движении к очищению от тягот брэнного мира и закрепляют окончательное приятие мира в ценностях Православия. Сравнение с опытом атеизма поэта в период южной ссылки и формирование коранического текста в поэтике Пушкина позволяют выделить внутри контекста религиозной художественности транзитную модель духовного пути поэта. Пушкина в период создания коранического текста друзья называли 'Апостолом Мухаммада'. Это был период формирования русского ориентализма подражательного толка.

В произведениях Пушкина данный период отозвался «Подражаниями Корану», «Татарской песней» в «Бахчисарайском фонтане», стихотворением «Стамбул гяуры ныне славят». Казахстанский ученый С. Абдрахманов отметил использование русским поэтом 33 сур Корана из имеющихся 114 (АБДРАХМАНОВ 2006: 25).

Различение контекстов значимо с точки зрения дефинирования в нем разновидностей бонапартизма не только в его социальном изводе, но и как литературной игры, источника романтического бунта. Появляется возможность обособить разные проявления демонизма. Ключевым, на наш взгляд, является концепт «свобода». Рассмотрение концепта в аспекте бонапартизма стало в настоящей работе границей между фаустианским текстом как контекстом демонизма и Православием как религиозно-художественным контекстом. Транспозиция данных контекстов в плоскость этического и эстетического измерений коммуникации выявляет природу пушкинской онтологии.

В «Демоне», помимо традиционно вычленяемых контекстов, православного и демонического, одинаково определяющих романтический контекст, важен и фаустианский слой. Выделение православного контекста основано на отсылке Лотмана к пушкинскому признанию о «Демоне» и воплощении в нем цели «нравственной», что коррелирует с мнением В.И. Кулешова о духовном содержании лирики периода михайловской ссылки, когда поэт, преодолевая демонизм, совершил поворот к Божескому: «Михайловское – обретение духовных ценностей. Все демоническое уступает место Божескому: *Туда б, в заоблачную келью, // В соседство Бога скрыться мне! Фаустовское «Все утопить» – победа над бесом Мефистофелем* (КУЛЕШОВ 1997: 18). Собственно, «нравственная» цель поэта в «Демоне» обусловлена темой искушения провидения.

Мысль о рассмотрении фаустианского текста как разновидности демонизма иллюстрируется в стихотворении сигналами лирического сюжета, который формируется мотивами «какого-то злобного гения» и «тайных свиданий» (ПУШКИН 1947а: 299). Антагонизм чувств лирического героя, его «возвышенные чувства», волнующие кровь «свобода, слава и любовь», «вдохновенные искусства», осеняющая лирического героя «тоска» реконструируют основной признак пушкинской онтологии – дискурс демонизма и дискурс пушкинского Фауста как сомневающегося Демона, как «умного человека».

Стихотворение «Свободы сеятель пустынный...» (ПУШКИН 1947а: 302) продолжает линию трагических сомнений поэта и понимания свободы как дара. Стихотворения «Недвижный страж дремал на царственном пороге...» (ПУШКИН 1977: 158–160) – об Александре I и Наполеоне – и «Зачем ты послан был и кто тебя послал?..» (ПУШКИН 1947б: 314) раскрывают тему бонапартизма, загадку Наполеона, который преподнес исторический урок Европе.

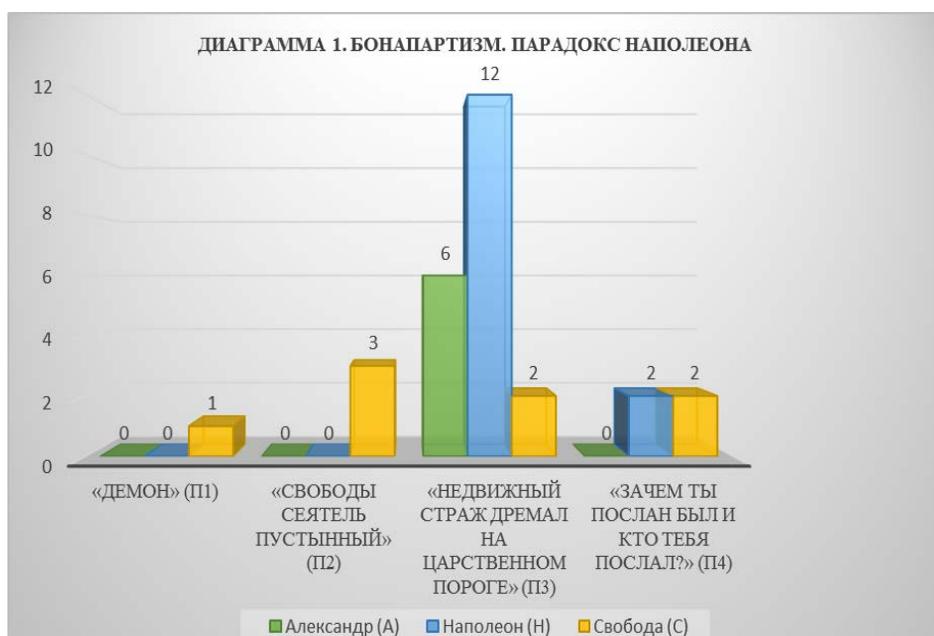
Систематизация контекстов, формирующих дискурсы бонапартизма, Православия, фаустианского текста, рассмотрена в плане внутренней структуры. Так, дискурс бонапартизма – как парадокс Наполеона – дефинирован в понятиях свободы (С) и Наполеона (Н), что позволило сравнить стихотворения «Демон» (П1), «Свободы сеятель пустынный» (П2), «Недвижный страж дремал на царственном пороге» (П3), «Зачем ты послан был и кто тебя послал?» (П4) в плане динамики размышлений поэта о природе деспотизма и развенчания кумира. Так происходило движение поэта от романтизма к реализму. Частотность упоминаний концепта «свобода» и образа-символа как семантически значимых и семиотически нагруженных смыслом единиц характеризует дискурс Православия в П2. В силу аллюзивной и дискурсивно-иконической природы концепта рассматриваемое стихотворение вступает в диалог с П4. Так завершается одесский цикл и происходит окончательный приход поэта к Православию и преодоление моды на Коран.

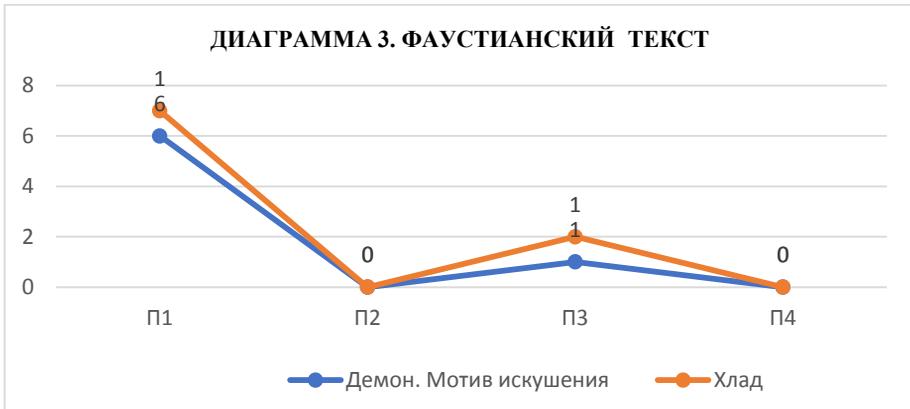
Фаустианский текст – как разновидность демонизма – рассмотрен в аспекте мотива искушения и семиотического «хлад», что позволяет проследить развитие темы искушения провидения.

Итоги сопоставления произведений в аспекте обозначенных контекстов отражает Таблица 1 и составленные на ее основе 3 диаграммы, которые соответствуют трем названным дискурсам.

**Таблица 1. Контексты. Бонапартизм. Православие.
Фаустианский текст**

«Демон»	«Свободы сеятель пустынный»	«Недвижный страж дремал на царственном пороге»	«Зачем ты послан был и кто тебя послал?»
П1	П2	П3	П4
Бонапартизм. Парадокс Наполеона			
«Свобода» (С)			
1	3	2	2
Наполеон (Н)			
0	0	6	2
Православие			
0	4	0	2
Фаустианский текст как разновидность демонизма			
Демон. Мотив искушения			
6	0	1	0
«Хлад»			
1	0	1	0





Результаты сравнительного анализа дискурсов показывают устойчивость размышлений поэта о свободе как главном ценностном понятии в тезаурусе бонапартизма. Сопоставление П3 и П4 показывает окончательное освобождение автора / лирического героя от кумира. Сопоставительный анализ пушкинской лирики с позиции этической характеристики онтологической коммуникации помогает понять причины низвержения Наполеона. Динамика фаустианского текста показывает освобождение ссыльного поэта от литературной игры в байронизм и мельмотизм и победу реализма в поэтике Пушкина, ее сопровождение отказом от демонизма в результате влияния Православия.

Этическая характеристика как онтологический измеритель коммуникации рассмотрена в аспекте таких ценностных составляющих, как «презрение» и «цинизм».

Таблица 2. Этическая характеристика как онтологический измеритель коммуникации. «Презрение». «Цинизм»

«Демон»	«Свободы сеятель пустынный»	«Недвижный страж дремал на царственном пороге»	«Зачем ты послан был и кто тебя послал?»
П1	П2	П3	П4
«Презрение». «Цинизм»			
6	3	1	6

Составленная таблица отражает своего рода цикличность, которая показывает становление духовной зрелости поэта, победу провидения и освобождение от духа отрицания. За числовым совпадением стоят разные поэтические субъекты. В П1 это результат литературной игры и табуированного полицейского демонизма как биографического и литературного контекстов. В П4 фигура Наполеона утратила парадоксальность и загадку и стала отражением «цинизма» как сути деспотизма и победы реакции над революцией.



Итак, описание методологии Ю.М. Лотмана в понятиях коммуникативной онтологии показывает возможность анализа пушкинской онтологии в аспекте представления о лирике как историко-художественной и социальной коммуникации. Такой взгляд стал основой описания одесского текста Пушкина как инобытия. Размышления о природе деспотизма характеризуют становление исторической концепции революции в аспекте формирующих его дискурсов бонапартизма, Православия и фаустианского текста. Освобождение поэта от загадки Наполеона и приход к Православию иллюстрируют преодоление романтизма и приход к реализму.

Развитие идей Лотмана в русле коммуникативной онтологии создает перспективу описания метасубъекта и метаадресата пушкинской лирики как конструкторов пушкинской онтологии.

Литература

- АБДРАХМАНОВ 2006 = АБДРАХМАНОВ С. Коран и Пушкин. Астана: Елорда, 2006.
- БУДЕНКОВА 2006 = БУДЕНКОВА В.Е. Коммуникативная онтология как основание современной эпистемиологии // Вестник Томского государственного педагогического университета, 2006. №7 (58). 33–37.
- ВАСИН 2012 = ВАСИН Н.С. Рецепция трагедии «Фауст» И.В. Гёте в русской литературе первой трети XIX века // Филология и человек, 2012. № 2. <https://cyberleninka.ru/article/n/retseptsiya-tragedii-faust-i-v-gete-v-russkoy-literature-pervoy-eti-xix-veka> (Дата обращения: 01.04.2022)
- ИШИМБАЕВА 2014 = ИШИМБАЕВА Г.Г. Образ Фауста в немецкой литературе XVI–XX веков. Москва: Литагент Финта, 2014.
- КОСТИНА 2005 = КОСТИНА О.В. Онтология коммуникации. Дис. на соискание ученой степени д-ра философ. наук. Саратов, 2005. <https://www.dissercat.com/content/ontologiya-kommunikatsii> (Дата обращения: 01.04.2022)
- КУЛЕШОВ 1997 = КУЛЕШОВ В.И. А.С. Пушкин и христианство // Русская литература XIX века и христианство. Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. 10–25.
- ЛОТМАН 1995 = ЛОТМАН Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя // Лотман Ю.М. Пушкин. Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 1995.
- ПУШКИН 1947а = ПУШКИН А.С. Полное собрание сочинений: В 16 тт. Т. 2, кн. 1. Стихотворения, 1817–1825. Лицейские стихотворения в позднейших редакциях. Москва – Ленинград: издательство АН СССР, 1947.
- ПУШКИН 1947б = ПУШКИН А.С. Полное собрание сочинений: В 16 тт. Т. 3, кн. 1. Стихотворения, 1817–1825. Лицейские стихотворения в позднейших редакциях. Москва – Ленинград: издательство АН СССР, 1947.
- ПУШКИН 1977 = ПУШКИН А.С. Полное собрание сочинений: В 10 тт. Т. 2. Стихотворения, 1820–1826. Ленинград: Наука, 1977.
- СТЕПЧЕНКОВА 2022 = СТЕПЧЕНКОВА В. Ценностные доминанты в мотивной структуре романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата филол. наук. Москва: МГОУ, 2022.
- ТЮПА 2019 = ТЮПА В.И. Дискурсные формации. Очерки по компаративной риторике. Москва: Юрайт, 2019. https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/7CE369F4-4328-4444-8C6E-237BA683B8C5.pdf
- УРАЗАЕВА 2008 = УРАЗАЕВА К.Б. Художественная антропология русской литературы XIX века: текст как инобытие автора. Тема Демона в поэтике А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова // Материалы III международной научной конференции «Феномен творческой личности в культуре». Фатющенковские чтения. Москва, 2008. 455–461.
- ФЕДОРОВА 2012 = ФЕДОРОВА Н.Г. Научная истина в контексте коммуникативной онтологии // Вестник Томского государственного университета, № 362. 40–42.

ЯКУШЕВА 2005 = ЯКУШЕВА Г.В. Фауст в искушениях XX века: Гетевский образ в русской и зарубежной литературе. Москва: Наука, 2005.

A. Pushkin's Communicative Ontology in Odessa lyrics. “Impressions of Being” and the Text as the Author's Otherness. The article is devoted to the study of Pushkin's ontology with application of communicative ontology. The methods of communicative ontology in the works of Yu. Lotman about the Odessa lyrics of A. Pushkin are investigated, the parameters of the ontological dimension of communication are systematized. The substantiation of Pushkin's “Odessa text” as an otherness is carried out as a correlation of the author's text with the system of contexts forming it. This view contributed to Bonapartism contexts’ classification, Orthodoxy and the Faustian text as philosophical and artistic parameters of Pushkin's ontology. The prospects for the development of Yu. Lotman's ideas and methods for the analysis of Bonapartism and its paradoxical meaning for Russian history, Orthodoxy as a philosophy of religious artistry and the Faustian text are shown.

Keywords: Pushkin’s ontology, communicative ontology, Bonapartism, Russian Faust

ЛАРИСА ВІКТОРІВНА КРАВЕЦЬ
(м. Берегове, Україна)

Метафоризація концепту *життя* в мові української поезії

Анотація: У статті розглянуто метафори життя в мові української поезії ХХ – початку ХХІ ст. Джерельною базою послужили твори митців материкової України і діаспори. За допомогою методу метафоричного моделювання визначено й схарактеризовано ключові моделі метафор життя в українській поезії аналізованого періоду, проаналізовано індивідуально-авторські метафори, що виникли на їх основі. З'ясовано походження метафор, описано специфіку їх значень. Установлено, що метафори, зафіксовані в мові української поезії ХХ – поч. ХХІ ст. виявляють багатоаспектність розуміння життя кожним із митців, що спричинено комплексом зовнішніх та внутрішніх передумов.

Ключові слова: метафора, модель, концепт, індивідуально-авторська метафора

Прагнення пізнати й збагнути сутність життя пронизує всю історію людської цивілізації. Численні філософські, наукові, культурологічні, релігійні концепції з найдавніших часів і до сучасності засвідчують поліфонію розуміння й динаміку осмислення цього феномену. Здебільшого життя пояснюють у біологічному, космопланетарному, містичному, культурно-історичному та інших аспектах, наголошуючи на характерних ознаках життя й аналогізуючи його з чимось конкретнішим, більш пізваним. Художня інтерпретація концепту *життя* в літературних текстах широко представлена метафорами, які відбивають світогляд автора, його буттєві та естетичні пріоритети й мають наївно-мовне, філософське або релігійне підґрунтя.

Метафора – це лінгвоментальний інструмент, який допомагає розкрити сутність пізнаваного, пояснюючи невідоме, складне через відоме, зафіксоване в значенні слова, ґрунтуючись на здатності людського мислення зіставляти різні поняття та задіювати набутий досвід у сприйнятті нового. Метафора як емоційно-образна форма раціонального концентрує в собі результати концептуалізації, категоризації й оцінки світу, оприявнюючи зв'язки між зіставляваними поняттями й зберігаючи двоплановість змісту мовної одиниці (СЕЛІВАНОВА 2010: 388). Одна форма метафори може реалізувати різний зміст залежно від контексту та ситуації, що відкриває і для автора, і для реципієнта можливість великого вибору, у межах якого можна здійснювати смислове декодування метафоричної

моделі. Ця властивість робить метафору ефективним засобом не тільки образності, але й пізнання та перетворення дійсності, а також виразником ключових ідей, які розкривають сутність позначуваного і водночас індивідуальну чи колективну специфіку його бачення.

Метафори, зафіксовані в мові української поезії ХХ – поч. ХХІ ст. за-свідчують багатоаспектність розуміння життя кожним із митців, що спричинено комплексом зовнішніх та внутрішніх передумов. Ці метафори виникли в процесі взаємодії індивідуального й загальнонародного, емоційного і раціонального чинників у свідомості письменника. Вони відбивають, з одного боку, універсальні закони світобудови, національну специфіку їх рецепції, а з другого – індивідуально-авторські уявлення про дійсність. Образні кореляції в цих метафорах виникли вибірково, але асоціативними аналогами були ціннісно марковані у свідомості носіїв мови об'єкти.

Домінантними асоціативно-образними моделями метафоризації концепту *життя* в аналізованих поетичних текстах є *вода* → *життя*, *дорога* → *життя*, *рослина* → *життя*, *земний простір* → *життя*. Вони відбивають розуміння життя загалом і конкретизують свій зміст у похідних метафорах. Водночас базові метафори співвідносні з метафорами глибшого рівня, що ґрунтуються на архетипах.

Асоціативно-образна кореляція життя з водою, водним простором є однією з найчастотніших у мові поезії аналізованого періоду. Метафори, утворені за цією моделлю, наявні і в інших, навіть неспоріднених культурах. Наприклад, у Дзен-буддизмі життя трактують як річку. Розгортання цієї моделі передбачає переведення думок від абстрактних понять до конкретно-чуттєвих форм, що має і естетичний, і психотерапевтичний ефект. Оскільки воду і життя поєднує рух, то бінарну модель можна доповнити цим важливим елементом, перетворивши її в тріаду *вода* – *рух* – *життя*.

Концепт *вода* пов'язаний з архетипом і містить численні концептуальні схеми, які можна реконструювати шляхом саморефлексії: *вода* – *це очищення*; *вода* – *це джерело життя*; *вода* – *це відродження*; *вода* – *це стихія*; *вода* – *це безперервний рух*; але й водночас *вода* – *це небезпека, загроза* тощо. Як природний об'єкт вода характеризується плинністю, мінливістю, динамізмом, нестримністю, стихійністю, циклічністю (*замерзати* – *танути* – *випаровуватися*), що відображено в структурі відповідного концепту. Ці властивості проєктують на реципієнтну зону *життя*, профілюючи в ній ті чи ті ознаки та реалізуючи певний зміст.

У мові української поезії життя аналогізовано з *океаном*, *морем*: *пінить океан кипучого життя* (М. Драй-Хмара); *житечне море* (П. Тичина); *океан житейський клекотить* (М. Луків); але найчастіше з *рікою*: *так вільно і просторо // розлилася ріка життя, змагань, стремлінь* (П. Карманський); *ріка життя біжить, хлюпоче, грається* (П. Тичина); *ріка життя уже тече повз мене* (В. Стус); *життя – це річка: вміло не веслуєш – // у першій хвилі втопить без жалю* (Г. Чубач). У цих метафо-

рах профільована бурхливість, емоційна насиченість життя соціуму й окремої людини. В аналогізації життя з океаном і морем акцентовано безмежність; з рікою – спрямованість, рух у певному напрямку. Проте контекст може актуалізувати й інші ознаки. Океан, море – це насамперед неприборкана стихія, що таїть різні небезпеки, але може бути й дуже погідною. Ріка асоціюється з постійним рухом, змінами, минуцтвом і необоротністю, а також з непередбачуваністю. Ті чи ті асоціації виникають під впливом об'єктивних і суб'єктивних чинників.

Співвіднесеність *життя з озером* позначена впливом естетики романтизму: *лебідонько, що плаваєш в пустині, // кричиш на озері життя, // чи чуєш ти з безодні голос, // мій крик жалю і каяття?* (О. Олесь). Такі метафори увиразнюють душевний стан ліричного героя, що часто контрастує з картинами природи. Близька до наведеної метафора *став життя* також створена в душі романтичного світовідчуття: *твоє життя – холодний світлий став – // без темних вирів і дзвінких прибоїв* (О. Теліга). Обидві метафори профілюють спокій, певну відстороненість, осібність життя ліричного героя. Проте це лише фрагментарне значення, яке влітається в ширший контекст і формує загальний зміст тексту.

На перший погляд, до метафор, сформованих на основі смислових кореляцій життя і води, можна віднести й модель *криниця життя*. Проте є підстави вважати, що вона має біблійне походження і пов'язана зі словами Ісуса Христа: «Хто жадає, іди до мене і пий». Зв'язок цей неочевидний, оскільки в метафоризації бере участь не пряме значення слова *криниця*, а символічне. Частотність уживання метафори сприяла закріпленню за нею поетичної конотації й ослабленню біблійної: *заглядаючи в криницю свого життя, // я не бачу маленького дзеркальця води, // так далеко воно від моїх очей* (Д. Павличко). У цій метафорі актуалізовані й іманентні властивості об'єкта метафори, і символічні значення невичерпності, тягlostі, спадкоємності поколінь.

Фіксуємо в мові української поезії й аналогізацію *життя із болотом*, де профілюється застій, відсутність активної діяльності, буденність: *а зажене тебе недоли сила // там, де життя грязюка бездорожна, // то розпістреш душі сріблесті крила // й перелетиш, куди пройти не можна* (Б. Лепкий), *ненавиджу темне // життєве болото* (П. Тичина); *поете, поринай у вир буття, // у будні, в хаці днів, у твань життя, // і ти здобудеш дивні самороди* (М. Драй-Хмара).

Високий ступінь концептуалізації донорської зони *вода* визначив її продуктивність у процесах метафоризації та сприяв появі численних оригінальних метафор. Проектування на реципієнтну зону властивості води текти невеликим потоком, утворюючи струмки, актуалізує постійний рух життя: *переливними струмками // в вічне море забуття // разом з ясними думками // тихо котиться життя* (Г. Чупринка); *дивлюся й слухаю: прозоро // співає струмисько биття* (М. Драй-Хмара). Витікання води, вичерпування її профілює кінець життя: *з їх витеклих життів, дочерпаних до дна, //*

спливають і дзюрчать гіркі таємні смисли, // не вгадані ніким – лиш видні їм самим (О. Забужко). Проектування властивостей води текти дуже швидко, іноді утворюючи хвилі або вир (нурт), викликаючи потоп, або мати повільну плинність, формують значення бурхливості, стрімкості *життя*, іноді – життєвих труднощів або рутинності: *і їм назустріч не летять // вже більш життя бурхливі хвилі* (О. Олесь); *із потопу життя я знімав рамена // і благав на колінах підмоги* (П. Карманський); *знов життя, надовго чи на мить, // розколихалось хвилею припливу* (О. Теліга).

Межею суходолу і водного простору є берег, тому актуалізація цього концепту логічно вмотивована: *їх винесе бурун Запомин-океана // на береги життя, мов перли світляні* (М. Зеров); *між житейськими берегами* (А. Малишко). Така метафора характеризується оригінальністю, а створений нею конкретно-чуттєвий образ відзначається виразністю.

Впливом символістської поетики позначена метафора міфологічного походження *вино* → *життя* (у фольклорі *жити* – *мед-вино пити*). Утворені за цією моделлю індивідуально-авторські метафори профілюють насолоду життям, збагачення досвідом, мудрістю: *в обіймах вроди пий вино-життя* (В. Еллан-Блакитний), *до останку пий // життя людського пінистий напій, // палай з людьми жагою однією* (М. Рильський). Цьому сприяє сутнісний та символічний зміст образу вина, яке здавна символізує життя, а також натхнення, енергію, божественний захват.

Мову української поезії характеризує вживання метафори *вогонь життя* та її варіантів, які профілюють енергійність, натхнення або труднощі, що зумовлено природними властивостями вогню й пов'язаними з ними асоціативно-символічними значеннями: *ніби і в серці у мене // вогник життя догора* (О. Олесь); *огонь життя лелійте, // огонь вина* (П. Тичина); *кличуть знов дороги в полі, // і здається все мені, // що прожив я не доволі // у житейському вогні* (А. Малишко); *і завжди в них вогонь життя горів* (Д. Павличко). Ці метафори різняться за інтегральним змістом та емоційно-оцінним забарвленням.

Традиційна для української поезії метафора *дорога* → *життя* належить до метафоричних архетипів і пов'язана з концептуальною метафорою *рух* → *життя*, яка має значний потенціал смислового розгортання. В українських наївно-мовних уявленнях життя співвідносне з односпрямованим рухом переважно вперед і вгору, що означає розвиток. Рух має початок і кінець, може бути різної інтенсивності, складності, з перешкодами і без них, різним може бути і спосіб пересування. Ці та інші властивості донорської зони визначають потенціал аналізованої моделі, продукування на її основі індивідуально-авторських метафор, що виражають інтенції митців.

Метафору *дорога* → *життя* фіксують ще у творах античних мислителів (Гесіод, Продік, Піфагор), простежують у Старому й Новому Заповітах. Відомий літературний приклад використання цієї метафори – «Божественна комедія» Данте Аліґ'єрі. Українська поезія також містить чис-

ленні приклади її художньої інтерпретації. Наприклад, І. Франко, передаючи складність життя, конкретизує метафору класичної поезики народницькою: *Поете, тям, на шляху життєвому // Тобі перлини-щастя не знайти, // Ні захисту від бурі, злив і грому*. В інших контекстах увиразнює її характеризувальними епітетами: *На шлях тернистий сам подався; Невже ж уже минув я свій зеніт // і розпочав спадистий шлях до склону?* Українські поети ХХ – ХХІ ст. зображують життя через образ людини, яка йде дорогою: *моя дорога догоряє* (В. Стус); *в заметілях весь життєвий шлях* (І. Драч), або окремо від людини: *голубими дорогами // одпливає, одходить життя* (В. Свідзінський); *життя мене обігнало, // а я зостаюсь романтиком* (М. Семенко); *ми розминулися з життям* (В. Стус).

Дорога – досить узагальнене поняття, яке охоплює різні типи і види доріг, а також те, що з ними пов'язано. Це забезпечує широкий простір для уяви й створює передумови для виникнення індивідуально-авторських метафор життя. Наприклад, Л. Костенко аналізує життя із *ралі*, профілюючи стрімкий і змагальний рух за заданим режимом та експресивно характеризуючи швидкість предикатом *божєвільне*: *калина міряє коралі // а ти летиш по магістралі // життя – це божєвільне ралі*. Розгорнутий метафоричний образ життя творить Д. Павличко, акцентуючи його уявну нескінченність: *життя – це шлях, що переходить в шлях, – // кінця не має ні одна дорога. // Смерть – тимчасовий міст, що на вітрах // ледь-ледь стоїть і наганяє страх* (Д. Павличко). Життєвий досвід В. Стуса послужив основою для формування асоціативного ряду життя з важкими випробуваннями: *гримаси віри, болю круглі більми, // чіткий малюнок самокатувань // на негативі людської надії – // оце ви й є, дороги життєві* (В. Стус). Ця розгорнута метафора виражає характерне для творчості митця осмислення життя як *дороги долі, дороги болю*.

Дорога й рух по ній передбачають актуалізацію концептів транспорту, які виконують роль асоціативних аналогів життя. У трансформованій метафоричній моделі компонент *дорога* відсутній, натомість наявні *віз, ескалатор* та ін. У мові творів Г. Чупринки фіксуємо традиційний образ *віз життя* («Телега життя» О. Пушкіна): *через гатки та рови // віз метнувся життєвий // і з бентежного зусилля, // з порожнечі, з божєвілля // покотився у байрак*. У поезії шістдесятника Д. Павличка – *ескалатора: на ескалаторі життя – // одні в долину, інші вгору* (Д. Павличко). Показовою для мови української поезії ХХ ст. є аналогізація руху життя із *поїздом*, як, наприклад, у вірші «Велика подорож» Б.-І. Антонича. Оскільки пересування поїздом передбачає зупинки на *пероні*, то цей концепт закономірно з'являється в структурі поетичних метафор: *і на життєвському моїм пероні // теплушки інші у далеч кличуть* (А. Малишко), *життя ішло, минуло той перон* (Л. Костенко).

Частотною в мові української поезії ХХ ст. є аналогізація життя з рослиною, зокрема *деревом*, що має міфологічне підґрунтя й пов'язане з давніми уявленнями про *Дерево життя* (Світове дерево, Небесне дерево, Де-

рево пізнання, Райське дерево): *і цвіт весняний – літній овоч // на дереві життя давав* (М. Рильський), *правічне дерево життя* (А. Малишко); *чом яблука не рвем задарма // із дерева життя й знання?* (Д. Павличко). У наведених метафорах можна простежити зв'язки не тільки з міфічним деревом, а й із біблійним, що в свою чергу сприяє актуалізації концепту яблука або його аналогів із різних культур (фіги, апельсина, груші тощо): *ці дні, немов зотлілі груші // на мокрій гілці існувань* (В. Стуса).

За моделлю *рослина → життя* в українській поезії створені численні індивідуально-авторські метафори: *і стало сходити поволі // життя майбутнього стебло* (О. Олесь). Вплив міфологічних уявлень і традиції вбачаємо в аналогізації *життя* із *житом*: *шумить життя журливе жовте жито, // подій хитає повні колоски* (Б.-І. Антонич). За словами М. Льницького, Б.-І. Антонич «подолав витворену фантазією музичну гармонію космосу, місце причалу своїх дум і свого існування, і побачив у природі своєрідне віддзеркалення людського “марнотного світу”» (ЛЬНИЦЬКИЙ 2008: 106). Появі такого типу метафор *життя* сприяє етимологічна спорідненість слів *жито* і *жити* та їх співзвучність. Звукова форма цих слів посилює й увиразнює метафоричний зміст, збагачує створений образ, розширює його асоціативні й художні межі. Як розширення меж метафоричної моделі трактуємо вживання в метафорах слів із асоціативного поля *рослина*: *життя лежало тихо, як посів* (М. Вінграновський). *Посів* асоціюється із зерном, насінням, які, як і *жито*, символізують ідею неперервності життя й плодючості, що поглиблює зміст метафори. Цю ідею повною мірою експлікує асоціативно ускладнена розгорнута метафора І. Малковича, в якій людина й людське життя співвіднесені з рослиною, циклами її розвитку: *ти теж покинув той імлавий рай // незглибної копальні хромосомів // де – мов жива роса – тріпоче купно // невидиме зерно людей // (у щільниках незримих) // й піддався легкодухо на життя // прийшов – зацвів – зів'яв – // і – шусть у землю*.

У мові української поезії першої половини ХХ ст. частотна метафора *сад життя*: *в саду життя величнім посадив і грієш сонцем ласки!* (Б.-І. Антонич). Як ідеологема, що реалізує пропагандистську ідею процвітання, добробуту, щастя радянського народу, метафора *сад життя* широко вживана в мові української поезії 30-х років. Проте фіксуємо метафори і з іншим змістом, який виникає під впливом контексту: *життя не є цвітучий гай. // Життя є вулиця шумлива* (М. Семенко); *в наших нетрях життьових* (Г. Чупринка), *життя глогаста й ненаситна пуца // здере із тебе мрій твоїх єдваб* (Д. Павличко). Метафора М. Семенка профілює бурхливість життя, а метафори Г. Чупринки і Д. Павличка – його заплутаність, складність, важкі умови.

Показові для української поезії просторові моделі метафор. Донорськими зонами найчастіше є *поле*: *о, я знаю, життя – довге поле, // будуть зустрічі, гарні години* (О. Теліга); *пустеля*: *у пустелі життьовій // без мети блукають люде* (О. Олесь); *майдан*: *невже запорошився, наче тік, //*

майдан мого життя в лискучім плитті? (Д. Павличко); *вулиця*: *я проходжу вулицями життя* (Ю. Тарнавський); *тунель*: *життя – тунель із лун, де йолоп // узув на босу ногу кенді* (Е. Андіївська). Просектування властивостей *поля* і *пустелі* профілює, крім просторовості, безмежність *життя*, концепт *поле* також викликає асоціації з тяжкою працею та врожаєм, а *пустеля* – із самотністю, неродючістю і несприятливими умовами для життя. *Майдан*, *вулиця* і *тунель* – це чітко обмежені простори. Актуалізацію цих концептів в якості донорських зон можна пояснити тим, що «ми сприймаємо себе як сутності, відокремлені від зовнішнього світу, – як вмістилища із внутрішньою і зовнішньою частинами. Об'єкти зовнішнього світу ми також інтерпретуємо як сутності, причім часто аналогічно – як вмістилища із внутрішньою і зовнішньою частинами. ...Завдяки зору і дотику ми виявляємо межі між речами, а коли в речей немає чітких меж, ми часто проектуємо на них ідею меж, концептуалізуючи їх як окремі сутності, а в багатьох випадках і як вмістилища» (ЛАКОФФ, ДЖОНСОН 2004: 95).

Характерна для мови української поезії модель *книга* → *життя* має біблійне походження та є основою для творення численних індивідуально-авторських метафор: *розгорнеш колись книгу свого життя* (П. Карманський); *перегортаю знову книгу страшного биття мого* (М. Драй-Хмара); *час перегортає мого життя нову сторінку* (Б.-І. Антонич); *не виявитися б // такою випадковою сторінкою // у книзі життя* (А. Мойсієнко). Ці метафори реалізують різне значення, проте кількісна характеристика є їх спільним компонентом. Фіксуємо також функціонування сформованої в поезії символістичної моделі *поема* → *життя*, що має пафосну конотацію: *життя божественна поема, // яку ще треба довершити* (Г. Чупринка); *ми творимо тепер // з хвилин і дій життя поему* (Ю. Клен). Натомість інша мистецька метафора *театр* → *життя*, що пов'язана з творчістю В. Шекспіра, позбавлена пафосності: *і я вже двадцять літ в театрі життєвому // томлюсь під маскою моїх нудних гас-троль* (П. Карманський).

Міфологічне походження має аналогізація життя з *ниткою*, що профілює тривалість, наступність, зв'язок минулого з майбутнім: *життя соталось, соталось // гіркими нитками іронії* (Л. Костенко); *життя сувору нитку // проклята Парка тче* (В. Стус). Ці індивідуально-авторські метафори є виразним прикладом перетворення узагальнено-символічного значення на метафоричне, що загалом характеризує мову української поезії ХХ ст. Значення тягlosti життя реалізує також метафора *ланцюг життя* (Є. Плужник), проте в ній акцентовано й інші властивості, серед яких можемо простежити жорсткий зв'язок минулого з майбутнім, певну обмеженість можливостей.

Результатом аналогізації *життя* з *ниткою*, *ланцюгом* є профілювання лінійної часової послідовності перебігу подій, водночас аналогізація його із *сіткою* (*сіттю*) профілює складний зв'язок між попереднім і наступ-

ним; нелінійні і такі, що виходять за межі простої послідовності, відносно без певних меж і структури: *щомить розпадається зоряно, // розсипається сіль життявова* (В. Свідзінський). Уживання в наведеній метафорі предикатів *розпадається, розсипається* виражає втрату, руйнування цих зв'язків із певних причин.

Із символістської естетики прийшла в поезію ХХ ст. метафора *торг* → *життя*. Виявлена вона тільки у творах деяких митців початку століття: *покинь на хвилю торг життя* (Б. Лепкий); *забудьте торг життя на мить, // втишіться, Господь з вами* (Б. Лепкий); *таким беззахисним, таким безруким // я був тоді на торзі життявоім!* (М. Зеров).

Продуктивна в мові української поезії модель *боротьба* → *життя*, на основі якої виникають численні індивідуально-авторські метафори: *життя – борба* (Б. Лепкий); *борні життя* (Г. Чупринка); *життя – страшна корида, // на сотню Мінотаврів – один тореадор* (Л. Костенко). Розвиток моделі *боротьба* → *життя* відбувається й у напрямку творення мілітарних метафор із використанням мовних знаків *поле бою*: *життя для нього – поле бою // двох сил, світоглядів, світів* (М. Рильський); *армія: в армії Життя я ваш солдат!* (Д. Павличко).

В мові української поезії простежуємо також вживання метафори літературного походження *сон* → *життя*, історія якої пов'язана з п'єсою іспанського драматурга П. Кальдерона де ла Барки (1632 – 1635). Ця метафора активно функціонувала в символістській поетиці, проте в мові української поезії ХХ ст. не здобула широкої популярності. Фіксуємо її в поетичних текстах М. Рильського, Б. Нижанківського, В. Стуса.

Символістській поетиці також була характерна аналогізація життя з *тюрмою*. Приклади такої метафоризації наявні і в текстах поетів материкової України, і в поетів діаспори, які декларували свій розрив із традицією: *в'язниця життя* (Ю. Тарнавський). Поява таких метафор частіше була зумовлена не стільки впливом символістської поетики, скільки певними життєвими обставинами, у яких опинявся автор. Так, метафора І. Світличного *мов злодій кару, відбуваєш // життя земного тужний бран* постала під впливом табірних умов життя автора.

Отже, метафоризацію *життя* в мові української поезії ХХ ст. визначала обмежена кількість метафоричних моделей різного походження. Вони послужили основою для творення індивідуально-авторських метафор, які виникли внаслідок проектування раніше невикористовуваних якостей та ознак донорської зони на реципієнтну, заповнивши концептуальні лакуни, рідше через проектування нових властивостей традиційної донорської зони.

Література

- ІЛЬНИЦЬКИЙ 2008 = ІЛЬНИЦЬКИЙ М. На перехрестях віку: У 3 кн. Кн. II. Київ, 2008.
- ЛАКОФФ, ДЖОНСОН 2004 = ЛАКОФФ Дж., ДЖОНСОН М. Метафори, котрими ми живем. Москва, 2004.
- СЕЛІВАНОВА 2010 = СЕЛІВАНОВА О.О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава, 2010.

Metaphorization of the concept of life in the language of Ukrainian poetry. The article discusses the metaphor "life" in Ukrainian poetry of the 20th - early 21st century. The source of the material was the works of Ukrainian writers from mainland Ukraine and the Diaspora. Using the method of metaphorical modeling, the key models of the metaphors of "life" in the Ukrainian poetry of the analyzed period were identified and characterized, and individual author's metaphors that were based on them were analyzed. The change of metaphors is explained, the specificity of their meanings is described. It has been established that the metaphors recorded in the Ukrainian poetry of the XX - Art. XXI Art. reveal a different understanding of life by each writer, which is due to a complex of external and internal factors.

Keywords: metaphor, model, concept, individual-author metaphor

ANDOR VEGH
(Pečuh, Mađarska)

Demografski i društveni razvoj Martinaca u 18. i 19. stoljeću

Sažetak: U ovom se radu kvantitativnom analizom podataka matičnih knjiga rođenih i kvalitativnom analizom prezimena u spomenutim bazama podataka sela Martinci / Felsőszentmárton istražuje način formiranja seoske hrvatske manjinske zajednice na kraju 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća. Uz pomoć dostupne literature pruža se pregled doseljenja koje je stvorilo osnovu daljnjeg razvoja i modernizacije čije se faze određuju koristeći se metodama društvenih i povijesnih istraživanja.

Ključne riječi: Martinci, Matična knjiga rođenih, demografski i društveni procesi, analiza prezimena, formiranje manjinske zajednice, integracija, modernizacija

Uvod

Selo Martinci pripada onim mađarskim naseljima u kojima prevladava hrvatsko življe i to s približno tročtvrtinskom većinom. Prema popisu 2011. godine postotak onih stanovnika sela koji sebe smatraju (i¹) Hrvatima je 75,079%. Značajnija, natpolovična hrvatska komponenta kraj hrvatsko-mađarske granice na Dravi primjetljiva je u više naselja, no tročtvrtinski udio danas je već rijedak slučaj. Ovaj rad se prvenstveno bavi analizom demografskih podataka crpljenih iz matičnih knjiga rođenih s kraja 18. stoljeća i u cijelom 19. stoljeću. Cilj rada je preko analiza podataka iz navedenih izvora doprinijeti upoznavanju onih prilika koje su učvrstile hrvatski karakter ovog sela u 19. stoljeću stvorivši temelj onoj zajednici koja, usprkos svim nedaćama modernizacije i globaliziranoga svijeta ulaže velike napore u očuvanje svoga identiteta.

Metode analize

Rad je većinom temeljen na analizi brojki i prezimena zabilježenih u matičnim knjigama krštenih u martinačkoj župi od samih početaka vođenja ovih podataka. Na području Mađarske vođenje matičnih knjiga počinje nakon konci-

¹ Posljednji popis stanovništva Mađarske je izvršen 2011. godine. Metodološki, prema ovom cenzusu je etnička i nacionalna pripadnost obilježila i tzv. složene dvojne-trojne itd. identitete, pa zato se ne isključuje da su se pojedinci mogli identificirati na više načina. Zbog ovih složenih identiteta je npr. postotak Mađara u Martincima, prema istom popisu 54,995% što već s postotkom Hrvata samo po sebi prelazi 100%.

la u Trnavi (mađ.Nagyszombat) 1611. godine, a naročito će uzeti maha nakon 1625.godine uredbom ostrogonskog nadbiskupa, Petra Pázmánya, no za cijeli državni teritorij Ugarske će se proširiti samo nakon protjerivanja Osmanlija². U Martincima matičnu knjigu krštenih moguće je pratiti od srpnja 1789. godine. Temelj ovoga istraživanja čini digitalizirana zbirka matičnih knjiga dostupna na poveznici <https://www.familysearch.org/>, koja se smatra međunarodno priznatom bazom za internetsko istraživanje obiteljskog stabla. Navedeni podaci su uspoređeni s već objavljenim popisima poreznih obveznika (BOROS GYEVI 1988: 102–103; KITANICS – rukopis; FERKOV 2013: 22) s kraja 17. i početka 18. stoljeća. Bitno je napomenuti kako prije spomenutih matica već od 1744. godine postoje zapisi za žitelje istraženog sela u zapisima župe Lukovišća³. Sva su ta sela pripadala upravnom području Sigeta, gdje su podaci krštenih zabilježeni već od 1697.godine. Ova dva spomenuta izvora o martinačkim demografskim kretanjima iz 17. stoljeća nisu detaljno pregledana, naime ovi daljnji dokumenti predstavljaju sljedeće faze započetog istraživanja.

Kao metode analiza koriste se klasični demografski pokazatelji izračunati iz unošenih podataka spomenutih matičnih knjiga. Osim navedenih izvora u radu se koriste i analize obiteljskih imena preko kojih su vidljive međusobne veze, kako i proces formiranja zajednice, etnička dinamika sela a naročito hrvatske zajednice. Kao kraj razdoblja istraživanja određen je termin uvođenja civilnog a ne crkvenog matičnog postupka, kada država preuzima od raznih kršćanskih konfesija vođenje statističkih podataka, i umjesto krštenih zapisuju se rođeni, neovisno o vjerskoj pripadnosti. Taj termin je prema zakonu XXXIII/1894. 1 listopada 1895.godine.

Ovdje se mora dotaknuti i pitanje jezika, transkripcije i pravopisa analiziranih hrvatskih prezimena. Izvori podataka su pisani u početku na latinskom pa kasnije od siječnja 1833. g. do kraja lipnja 1851. g. na mađarskom jeziku, nakon toga se matične knjige ponovo vode na latinskom do 1895. godine. Zapisivači, lokalni župnici i pomoćni župnici (rijetko fratri) većinom nisu bili hrvatskog podrijetla, premda pretpostavljamo da su znali hrvatski služeći u Martincima. Osim toga tada još nije izvršena standardizacija hrvatskoga pravopisa, stoga su imena zabilježena mješavinom latinske, njemačke i mađarske grafije. Vjerodostojnost zabilježenih prezimena uvelike je ovisila o župniku i o njegovom materinskom jeziku kao i o stupnju poznavanja hrvatskoga jezika. Uočljivo je kako npr. dolaskom novog župnika, Paulusa Lichtensteina ex Szajk od listopada 1812. godine značajno mijenja način zapisivanja hrvatskih imena. Prije njega od početka vođenja matičnih knjiga sve do listopada 1802. godine

² Informacije s web stranice Mađarskog državnog arhiva http://www2.mol.gov.hu/bal_menusor/hasznalat/oktatas/mindenkinek/csaladfakutatas/csaladtortenet_i_kutatasok.html (posljednji pristup 06.07.2022.)

³ Vidi na stranici: Lukovišće: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y5BC-M16?i=5&cc=1743180>, Siget: <https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-659X-4H?i=1&cc=4133831>

župnik je bio Joannes Török. Od početka studenoga iste godine do kraja kolovoza 1804. njegov zadatak vođenja matičnih knjiga nasljeđuje kapelan (kasnije već zapisan kao parochus loci) Paulus Gyurtsevits. U kolovozu 1804. g. posljednja dva krštenja zapisuje Thomas Csolics (bez zapisanih titula) da bi njega od 1. studenoga 1804. g. zamijenio Francisco Aloysio Kogler, koji će služiti do dolaska spomenutog Lichtensteina. Iz navedenog se vidi da su župnici, kapelani i svi ostali zapisnici matičnih knjiga samo u neznatno kratkom vremenu bili izvorni govornici hrvatskog jezika. Ako još uzmemo u obzir da je spomenuti Lichtenstein, koji će u istraženom razdoblju najduže služiti dolazio iz sela Szajk – između Mohača i Pečuha – u čijem izravnom susjedstvu obitavaju Hrvati Šokci ikavskog štokavskog govora (Vršenda, a nedaleko i Mohač), onda je razumljivo da je mjesnom župniku trebalo poduže vremena za bolje razumijevanje martinačkog govora. Zahvaljujući tome npr. prezimena Stražanac u 15-20 godina prelazi isključivo u formu kao Stražan, miješaju se više puta u zapisima Kolari i Kolarici, a prezime Balatinac također se transkribira na 2-3 različita načina. Obiteljsko prezime (kasnijih) Gregurica se piše na 4 načina – Gregorič, Greguricz, Gregoricz, Gregurič – dok krajem 1820-ih se ustaljuje kao Greguricz. Slični se procesi odigravaju i s Balažićima koji će još početkom 19. stoljeća većinom biti Balažići, da bi jedno desetljeće kasnije pretežito, samo uz jedan zapis Balažića postali većinom Balaži, a da se izvorni oblik posve gubi. Hergovići će npr. za vrijeme Lichtensteina izgubiti H s početka svojega prezimena nakon miješane transkripcije u trećem desetljeću 19. stoljeća, a u istom razdoblju od Krajačića nakon dvadesetak godina nesigurnosti (Krajačić-Skrajačić-Skrajak-Skrajić) nastat će Skrajići.

Navedeni su samo najupadljiviji primjeri spomenutih promjena, koji su vjerojatno pored spomenutih subjektivnih imali i druge – npr. jezične, društvene, kulturološke itd. uzroke, čije razotkrivanje iziskuje uporabu znanstvenih metoda. Jezična analiza bilježenja hrvatskih prezimena nadilaze zadane okvire ovoga rada, stoga su sva prezimena prepisana današnjom hrvatskom transkripcijom i grafijom ujediniвши pojedine varijante „istih“, da bi se analiza imena mogla obaviti prema jedinstvenim kriterijima ističući prvenstveno demografske i društvene procese. U skoroj budućnosti ova važna pitanja transkripcije i pravopisa bi trebali privući znanstveni interes kako bi se dosljedno riješili ovdje navedeni problemi.

Kod najčešćih hrvatskih prezimena Martinaca korištena je komparativna analiza geografskih lokacija istih prezimena u Hrvatskoj u dvadesetom stoljeću. Ovo je učinjeno pomoću web stranice Acta Croatica <https://actacroatica.com/hr/> koja ujedinjuje hrvatske projekte istraživanja obiteljskih veza, zemljišnih vlasnika, arhivnih dokumenata itd. Kako je fokus Acta Croatice uglavnom na Hrvatskoj i na hrvatskom iseljeništvu u prekoceanskim zemljama s ovim radom se namjerava skrenuti pozornost na povijesni hrvatski identitet Hrvata u Mađarskoj, koji može naknadno obogatiti znanstveni obzor kako hrvatskih istraživača tako i mađarskih znanstvenika na tome polju. Ako ne drukčije ba-

rem s povezivanjem, internacionalizacijom njihovog rada i njihovih rezultata na osnovi osmostoljetnog suživota Hrvatske i Mađarske.

Podravski Hrvati, pitanje autohtonosti i društvenih odnosa prije 18. stoljeća

U dvadesetom stoljeću s raspadom Austro-Ugarske Monarhije, nakon Prvog svjetskog rata novi okviri nacionalnih država su rezultirali takve društvene pojave, nacionalne i etničke grupacije, koje i dan danas stvaraju osnove naših razmišljanja. Među ove spadaju i Hrvati unutar državnih granica svagdašnje Mađarske, čije podrijetlo, društveni, etnografski i povijesni razvoj čine dobar temelj društvenih istraživanja. Među ovim Hrvatima etnografska i povijesna literatura razlikuje više tzv. subetničkih skupina, među koje pripadaju i podravski Hrvati. Ova grupa je naseljena na mađarskoj, sjevernoj (lijevoj) obali rijeke Drave a čine dvije podskupine – zapadnu koja se većinom asimilirala i istočnu, čijih sedam sela na granici Šomođske i Baranjske županije sve do danas manje-više još čuvaju svoj hrvatski karakter. Njihovo podrijetlo prema do sada obrađenim povijesnim vrelima (BOROS GYEVI 1988: 98–101, SOKCSEVITS 2022:124–125, KITANICS: rukopis, FERKOV 2013: 23) kako i govor (BARIĆ 2006: 22–23, 2021: 420) ili narodni običaji (BEGOVÁČZ 1980: 274–276, 1984: 223–224, 2001: 430) govore o izrazito složenom procesu nastajanja i formiranja ove subetničke skupine Hrvata u Mađarskoj i otkrivaju elemente starih (srednjovjekovnih) slojeva. Što se podrijetla ovih Hrvata tiče u literaturi se navode dvije struje – jedna koja predstavlja teoriju povijesnog kontinuiteta i autohtonosti tj. da slavensko/hrvatsko stanovništvo ovdje već postoji prije doseljavanja Mađara i ona kontinuirano postoji dopunjujući se kasnijim migracijskim valovima. Druga pak veli da slično ostalim hrvatskim subetničkim skupinama u Mađarskoj i podravski su Hrvati plod dugog i složenog migracijskog procesa hrvatskog naroda koji je prouzrokovan osmanlijskim prodorom na bosanske i hrvatske krajeve od kraja XV. stoljeća. Prema ovom mišljenju novovjekovno stanovništvo već nije nastalo na bazi starog (srednjovjekovnog) etničkog elementa već zahvaljujući novijim migracijskim strujama.

Najznačajniji zagovornik teorije autohtonosti bio je etnolog Đuro Šarošac, iako u svojim ranijim radovima ne prihvaća bez kritičkog razmatranja niti jednu stranu i odbacuje mogućnost predosmanskog kontinuiteta (SAROSÁČZ 1973: 385). U jednom svom kasnijem radu ipak je mišljenja da se kontinuitet slavenskog stanovništva može pratiti prema raznim nazivima naselja uglavnom na južnom Zadunavlju (ŠAROŠAC 2008: 5-50). Kontinuitet srednjovjekovnih Hrvata na lijevoj obali Drave pretpostavlja i Dinko Šokčević u svojoj najnovijoj knjizi o povijesti Hrvata u Mađarskoj (ŠOKČEVIĆ 2022: 125), tvrdeći „da prisutnost hrvatskog stanovništva nije prekinuta ni u XVII. – XVIII. stoljeću, neovisno o ratnim pustošenjima i progonima“.

U znanstvenoj renesansi povijesno-geografskih i demografskih istraživanja u Mađarskoj 1990-ih i početkom 2000-ih pojavili su se novi radovi koji se dotiču pitanja predosmanskog stanovništva Panonskog bazena, tako i okolice

Drave. Jedno od najtemeljitijih i najznačajnijih istraživanja je vršeno na Odsjeku za geografiju Mađarske akademije znanosti pod vodstvom Károlya Kocsisa, gdje su se od kraja 15. stoljeća sve do početka 21. stoljeća obradili podaci dostupnih poreznih popisa i kasnijih (od vremena Josipa II.) popisa stanovništva u Panonskom bazenu⁴. Prema Károlyu Kocsisu nazočnost hrvatskog elementa na mađarskom području današnjih hrvatskih naselja datira se za predosmansko razdoblje (KOC SIS – BOGNÁR 2003⁵). To još ne potvrđuje činjenicu kontinuiteta, koje bi u svakom slučaju bilo iznimno teško dokazati zbog dugog razdoblja bez vjerodostojnih i jedinstvenih baza podataka, odnosno u nedostatku modernih matičnih knjiga prije 1780-ih godina.

Pitanje kontinuiteta i naseljavanja će se pokazati istaknuto važnim za vrijeme i poslije protjerivanja Osmanlija s ugarskih i hrvatskih prostora, kada u jako kratkom razdoblju (pola stoljeća) dolazi do izrazito ubrzanih migracijskih procesa⁶. S pitanjem razdoblja prvih desetljeća 18. stoljeća bavilo se više istraživača. Mate Kitanić (mađ. Kitanics Máté) analizirajući imena iz poreznih popisa ovog prijelaznog doba naročito kod podunavskih i bunjevačkih hrvatskih grupa prije svega u Bačkoj županiji prije i poslije bune Franje II. Rákóczyja (KITANICS, SOKCSEVITS 2009: 11–13, KITANICS 2014: 102–113) ukazao je na povratak prijašnjeg stanovništva poslije ratnih događanja. Slično je pažnje vrijedna literatura, koja je nastala temeljem analize povijesnih izvora iz pera Gábora Mátéa (MÁTÉ 2021: 90–95) koji analizira hajdučiju i učinak nasilništva uglavnom „rackih“ i mađarskih pograničnih vojnika nad običnim pukom koji se nije raselio za vrijeme protjerivanja Osmanlija s južnih dijelova Zadunavlja. Mada se ovo djelo koncentrira na sjevernija šomođska i tolnanska a ne podravska područja vjerno opisuje stanje običnih seljaka i građana za vrijeme ovih promjena, ističući proces protjerivanja i vraćanja naseljenog stanovništva na mjesto svojih nekadašnjih nastambi (ili pak u nekim slučajevima preseljavanja pojedinaca). Osim toga taj rad s kulturno-antropološkog gledišta postavlja važna pitanja identiteta i unutrašnjih društvenih razlika na etničkom, jezičnom, vjerskom i političkom polju koje će se vjerojatno u budućnosti morati uzeti u obzir i u kontekstu analize hrvatskih etničkih skupina na našem prostoru.

⁴ Internetski pristup navedenim kartografskim prikazima i povijesno-geografskoj i demografskoj analizi: <http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/etnika/indexMAPh.html> (posljednji pristup 06.07.2022.)

⁵ Dostupno na internetskoj stranici: http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/etnika/ethnicMAP/004_session_h.html (posljednji pristup 02.08.2022.) Povijesni kartografski prikazi dostupni su na: <http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/etnika/indexMAPh.html> stranici (posljednji pristup 02.08.2022.).

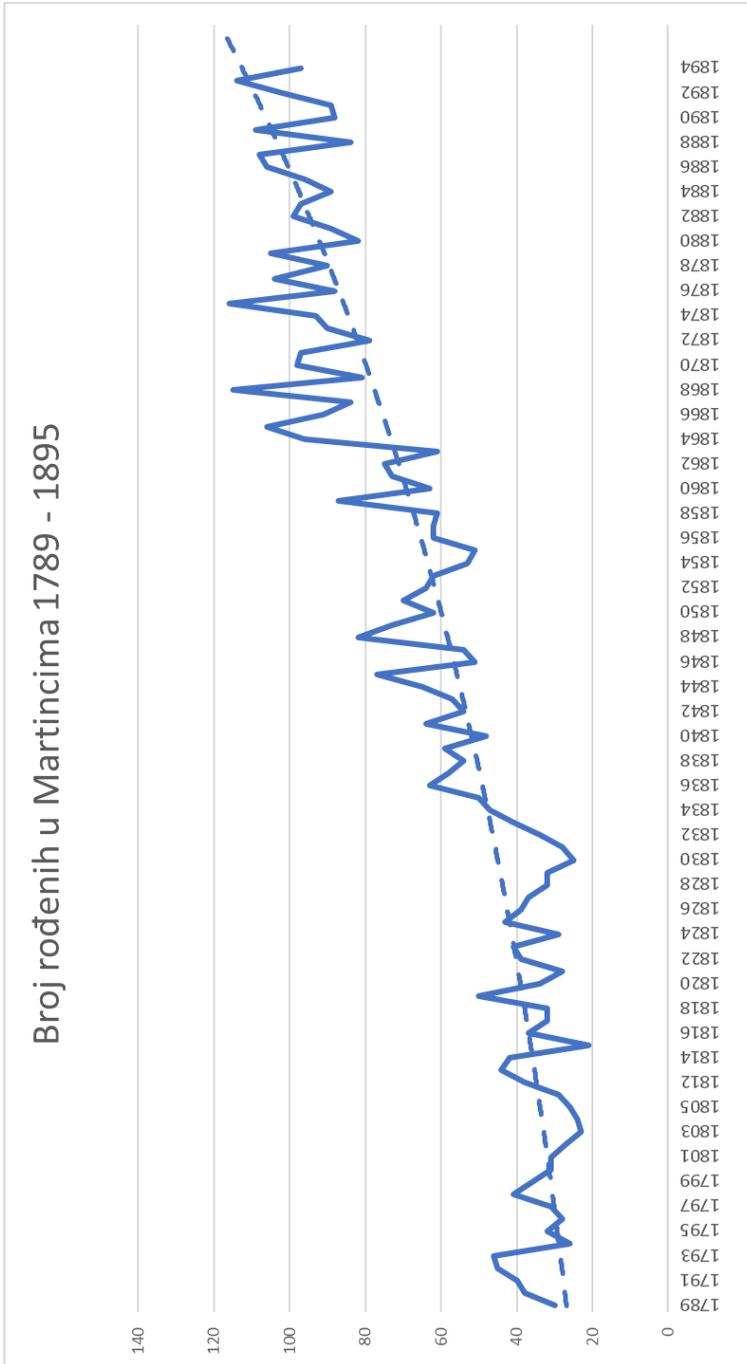
⁶ Moramo napomenuti da migracijski procesi oko i poslije Velikog bečkog rata vezani za podravski kraj nikako se ne mogu razdvojiti od demografskih i migracijskih procesa osmanskog razdoblja o kojem dragocjene informacije možemo doznati od Moaćanina (MOAĆANIN 2001: 145–149) i Mažurana (MAŽURAN 1989: 22).

Brojke i imena

Prema prvom popisu stanovnika, za vrijeme Josipa II. Martinci su imali 599 stanovnik, a pri kraju istraženog razdoblja 1890. prema popisu selo broji 1785 duša. Vidljivo je kako kod analize obiteljskih imena ovaj razvoj stanovništva je samo djelomično bio unutrašnji, jer se doseljavanja mogu uočiti još i na početku 19. stoljeća.

Broj rođenih prikazan na grafički način na dijagramu svjedoči o tomu kako unutrašnji razvoj naselja uopće nije bio izjednačeno linearan, nego se jasno mogu odrediti dinamičnije faze razvoja, stagnacije, a također i opadanja u razvitku demografske osnove, broja rođenih. Koristeći se središnjom trend linijom (na prikazu središnja isprekidana linija) jasno se iscrtavaju veća čvorišta i pozitivnih i negativnih trendova.

Slika br 1 – Brojčani podaci rođenih po godinama između 1789. i 1895. u Martincima

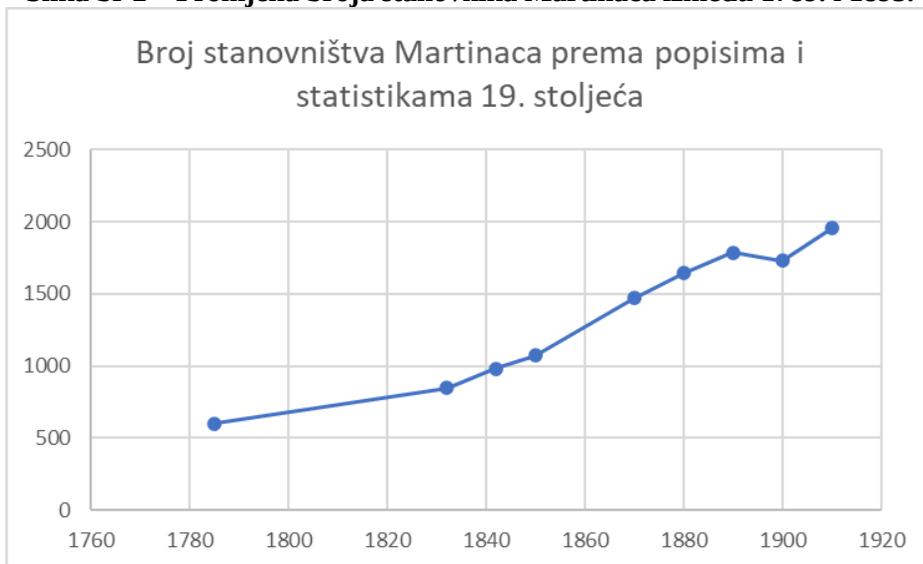


Izvor podataka: Crkvene matične knjige rođenih župe Martinci od 1789. do 1895.

Početak istraživanog razdoblja možemo opaziti prosječni trend razvitka u broju rođenih koji će se od početnih godina 19. stoljeća naglo smanjiti ispod prosječnog pokazatelja, kako bi se nakon toga ponovo približio prosjeku. Sljedeći, i u 19. stoljeću najznačajniji pad u broju rođenih primjetno je od sredine 20-ih do sredine 30-ih godina. Iz literature (KISS 1988: 196) saznajemo kako je sredinom ove demografske „krize“ harala epidemija kolere u Martincima. Sljedeće se krizno razdoblje može odrediti za vrijeme Bachovog apsolutizma u 1850-im godinama kako bi od polovice 1860-ih uslijedila najznačajnija faza u demografskom razvoju, koja traje do početka 1880-ih godina. Nakon toga, do kraja stoljeća broj će rođenih biti u središnjem trendu s blagim padom. Uzroci da se od 1880. demografska osnova nataliteta nije mogla održati na ranijem nivou vjerojatno su mnogobrojni, od vlastelinskih odnosa (veleposjed), do prenapučenosti pa sve do većeg broja iseljavanja iz sela. Iseljavanja su vjerojatno počela krajem 1870-ih a uzela većeg maha nakon razvojačenja Vojne krajine 1881. a priključile se općoj struji iseljavanja većih razmjera iz Austro-Ugarske Monarhije u prekoceanske zemlje. Nažalost detaljna istraživanja o ovim migracijskim procesima još nisu izvršena, no napominje se da je podravsko područje županije Šomođ bilo među najznačajnijim u gubitku stanovništva na kraju 19. i početkom 20. stoljeća (MÁRFI 1988: 267-269).

U istraživanom razdoblju prema dostupnim popisima stanovništvo Martinaca se razvijalo na sljedeći način. Na prikazu su uočljive prije spomenute epidemije i iseljenički gubici, koji usporavaju rast ili u nekim slučajevima prouzrokuju i pad stanovništva.

Slika br 2 – Promjena broja stanovnika Martinaca između 1789. i 1895.



Izvori podataka: BOROS GYEVÍ 1988, KISS 1988, MÁRFI 1988

U svojoj temeljitoj analizi o podravskim hrvatskim naseljima Boros-Gyevi opisuje najmanje tri vala naseljavanja s južnih – hrvatskih, bosanskih i slavonskih područja na lijevu obale Drave. U njegovoj potrazi za zabilježenim imenima još prvih godina kao najstarija hrvatska prezimena nalaze se Piskor (ili Piškor) i Cerić (ili Čerić). Skoro dva desetljeća kasnije u županijskom popisu iz 1820. godine isti autor donosi više prezimena koja će biti mjerodavna u razvitku sela u 19. stoljeću. To su imena: Stražan (kasnije još u obliku Stražanac), Barić, Brezović (čak pet obitelji s istim prezimenom), Gregorić, Blažović, Mandić, Vuković (BOROS GYEVI 1988: 101-106). U međuvremenu su još otkriveni izvori s kraja 17. stoljeća, među kojima se nalazi i popis poreznih obveznika iz Martinaca, no ova prezimena se nimalo ne preklapaju s prezimenima iz 1720-ih godina⁷. Među ovim prezimenima su npr: Drokanj, Dočić, Radić, Benčić ili Kovač (ovdje navedeni primjeri stoje u modernom pravopisnom, a ne u izvornom obliku). Prema tome se vidi, da preklapanja nema s navedenim prezimenima iz 1720-ih, no svakako je potrebno istaći da su i ove ranije spomenuti obitelji većinom hrvatskog podrijetla, koja se demografski vezuju za slavonski a u užem smislu za podravski prostor s osovinom Mihoļjac-Viljevo-Slatina-Virovitica-Đurđevac. Do detaljnije analize već spomenutih sigetskih i lukoviških izvora, kako i do komparativne analize svih sela s hrvatskom većinom (u cilju otkrivanja procesa nastanjenja i unutrašnjih migracija) međutim treba se držati značajnijih konstatacija. Također je potrebno istaknuti kako iz analize podataka s prve polovice 19. stoljeća je razvidna i često uočljiva pojava pojedinih obitelji i nakon od 40 čak i više godina. A sa sličnim procesima migracije se pogotovo računa od 1690-ih do 1760-ih godina.

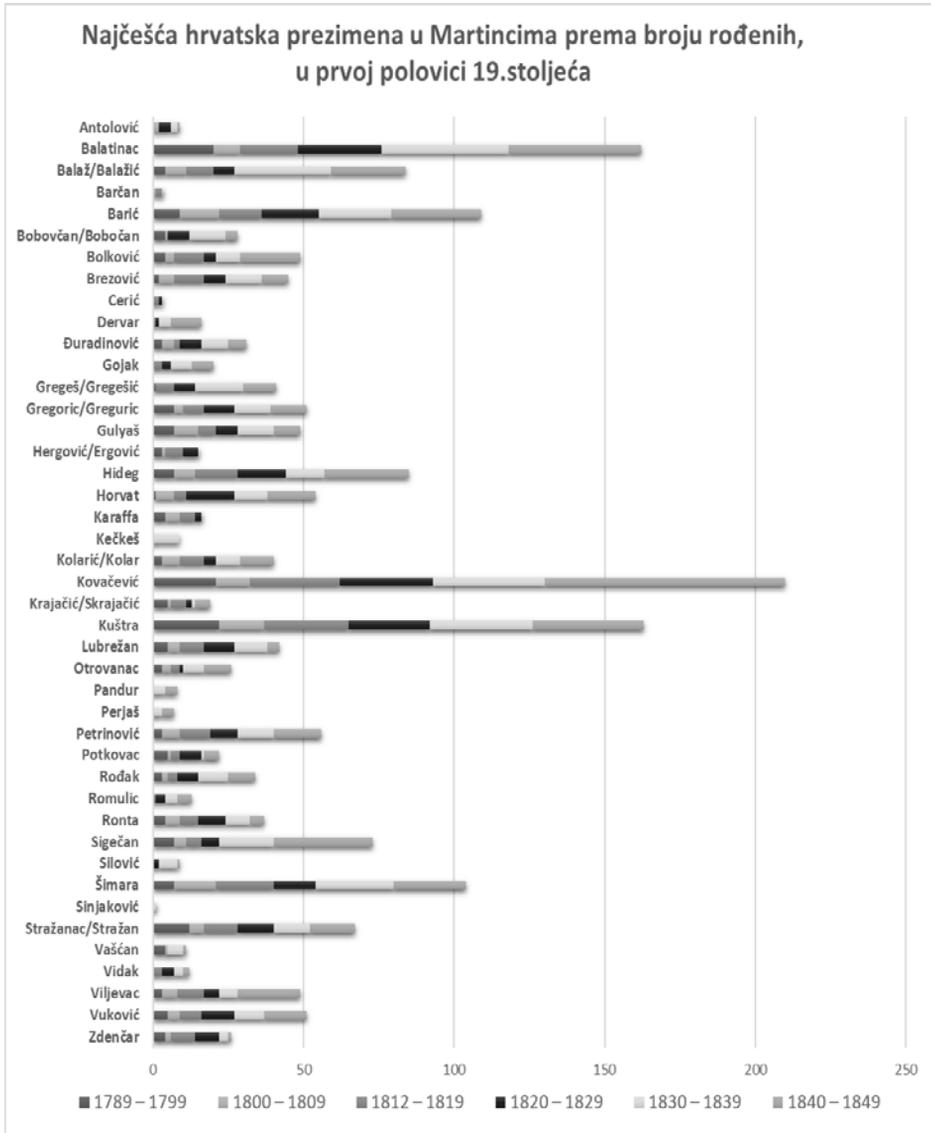
Analizirajući podatke rođenih u Martincima između 1789. i 1850. vidljiva je premoć hrvatskog etničkog elementa od samih početaka pa do kraja ispitanog razdoblja. U tome razdoblju razdvojivši desetljeća, ono prvo, još u 18. stoljeću svakako pripada učvršćivanju seoske zajednice pa prikazana prezimena tvore 73,56% od cjelokupnog nataliteta u tom razdoblju. U prvom desetljeću 19. stoljeća ovaj će se postotak popeti na 92,13%, dok u drugom na 95,03%⁸. Od trećeg desetljeća postotak novorođenih sa spomenutim prezimenima, neovisno o snažnom povećavanju broja nataliteta opada, prvo na 90,73% pa kasnije, između 1830. i 1840. godine na 86,33%, a desetljeće nakon toga na 84,85%.

⁷ Autor se zahvaljuje Mateju Kitaniću što je, još u rukopisnoj formi, omogućio uvid u svoje djelo koje se neće detaljno navoditi niti analizirati samo navesti važnije pretpostavke do kojih se došlo usporedbenom analizom.

⁸ Ovi postoci se odnose samo na prikazana, a ne na sva prezimena hrvatskog podrijetla. Neka imena koja se javljaju samo sporadično, većinom nisam unio u dijagram – takvi su Galić, Marić, Majstorović, Dudaš, Tandarić, Tandžić, Bordočanin, Mostovac, Moiserac – niti ih uračunao u broj onog hrvatskog stanovništva, koji smatramo polazišnim.

Ovo se naravno može tumačiti s procesom modernizacije i razgradnje feudalnih odnosa na seoskim područjima u 19. stoljeću.

Slika br. 3 – Najčešća prezimena u Martincima prema broju rođenih između 1789. i 1850.



Izvor podataka: Crkvene matične knjige rođenih župe Martinci od 1789. do 1849.

Naravno postoje i ne hrvatska prezimena u svakom desetljeću, koja tvore samo manji dio rođenih, to su već od samih početaka mađarska i romska, a kasnije u većem broju od 1820-ih godina njemačka a i poneka slovačka prezi-

mena. Primjetljivo je da osim nekih već rano pohrvaćenih mađarskih obitelji kao Hideg, Guljaš ili Kečkeš mađarska se prezimena javljaju u odvojenom prostoru i u društvenom smislu na donekle segregacijski način. Budući da su Martincima pripojene i neke pustare i salaši nakon formiranja seoske zajednice, koje se odvijalo do drugog desetljeća 19. stoljeća u daljnjem prostornom i demografskom razvoju doseljenici – većinom Mađari a kasnije Nijemci – se ne uključuju izravno u teksturu unutrašnjeg sela već spomenutih salaša. Takvi su Brođanci – koji je zaseok pretežito funkcionirao, naročito u počecima, kao romski kraj Martinaca – nadalje Zanoš, Kosztovany i Sigetska a pri kraju 1840-ih godina ciglana (na mađarskom zapisan kao Téglaház). Useljenici u ove pustare i zaseoke će često biti zanatlije (karakter njemačkih useljenika) ili čuvari stoke – konja, bikova, teladi, svinja, među ovom drugom grupom ćemo isključivo naći mađarska imena. Kod matičnih podataka rođenih u slučaju ovih obitelji se jasno vidi da nemaju još izgrađene društvene veze s domaćim hrvatskim stanovništvom npr. kumstvo se skoro nikada ne primjećuje s hrvatskim obiteljima. Samo u drugom ili trećem koljenu se ove barijere razgrađuju, čemu zahvaljujući možemo naći neka njemačka imena među Hrvatima Martinaca pri kraju 19. i početkom 20. stoljeća (pa i sve do danas). Postoje i rijetki slučajevi da se prilikom sličnih integracijskih procesa u hrvatskim obiteljima nađe koja pripadnica kalvinističke konfesije (npr. Julija Karman u obitelji Kuštra 30-ih godina 19. stoljeća).

Kao treća grupa useljenika pretežito Mađara pri kraju istraženog razdoblja (od 1835 do 1850) javljaju se službenici državnih i aristokratskih službi – šumari, kočijaši, učitelji, služavke. Kod prestižnijih poslova segregacija je obrnuta nego prilikom prije spomenutih stanovnika pustara. Ova grupa se primjetljivo ne miješa s lokalnim stanovništvom, ne sklapaju se brakovi niti drugi obiteljski ili neformalni odnosi, poput kumstva.

Na kraju ovog istraživanja su preko online baze podataka obiteljskih istraživanja u Hrvatskoj i preko Acta Croaticae provjerena najvažnija prezimena Martinaca tražeći moguća čvorišta ovih hrvatskih prezimena na području Hrvatske. Trenutno nisu još pregledani podaci o iseljeništvu, jer se istražuje povijesno razdoblje za koji ovaj proces nije relevantan, ali u nastavku istraživanja ni ove poveznice se ne smiju zanemariti. U nastavku rada će se dati kratak opis prezimena s web stranice Acta Croaticae⁹, koncentrirajući na prostore, gdje su se mogli nekada i gdje se mogu i danas naći nositelji tih prezimena u Hrvatskoj.

Barić – ovo prezime je prisutno u svim hrvatskim županijama, danas s najvećom gustoćom u gradu Zagrebu, Splitu i Zadru. Prema izvorima Barići su većim dijelom iz Slunja i okolice Karlobaga, a osim područja Hrvatske, nositelji ovoga prezimena se u većem broju mogli naći u središnjoj Bosni u okolini Travnik, u Radonjćima.

⁹ <https://actacroatica.com/hr/> - posljednji pristup (11. 07. 2022.)

Balatinac – osobe koje se u Hrvatskoj prezivaju Balatinac uglavnom su naseljeni u Baranji, većinom u naseljima Draž i Gajić, no ima ih i u Belom Manastiru, u Osijeku i u okolici Donjeg Miholjca (Miholjački Poreč).

Balaž/Balažić – najviše Balaža u Hrvatskoj su Hrvati a ima i Mađara koji se tako prezivaju, dok kod prezimena Balažić nositelji mogu biti osim Hrvata i Slovenci. Najčešće prezime Balaž se može naći u Osijeku i Vinkovcima i okolici ovih gradova, kako manjim dijelom i u Virovitici. Balažića najviše ima u okolici Đakova (Sredanci) kako u Osijeku i u Zagrebu.

Bobovčan – prezime Bobovčan većinom nose neki stanovnici Đurđevca kako i u okolici Slatine (npr. Čađavica), znači u zapadnoj podravskoj regiji.

Bolković – osobe s prezimenom Bolković su većim dijelom stanovnici Istre – najviše ćemo Bolkovića naći u Puli i u Rakalju.

Brezović – u Hrvatskoj najviše Brezovića ima u Karlovcu i okolici (u Šišljaviću, koji se danas nalazi unutar upravnog područja grada Karlovca), te naći ćemo ih još u Zagrebu, u Dugoj Resi kako i u okolici Jastrebarskog u Donjoj Kupčini.

Gregeš – prezime Gregeš, kako ni Gergešić a ni Gregešić se ne nalazi u datoteci Acta Croatica, prema tome nositelja ovog prezimena u Hrvatskoj nema.

Greguric – ovo prezime u Hrvatskoj je nekada bilo prisutno u Svetom Ivanu Zelini te u okolici Petrinje. Danas već samo nekoliko osoba nosi ovo prezime u Zagrebu i u Donjoj Zelini.

Kovačević – Kovačević je rašireno prezime, koje se može naći u svakoj županiji u Hrvatskoj – Zagrebu, Osijeku, Slavonskom Brodu, a u manjem broju i u Splitu i u Rijeci. Osim Hrvatske nositelji ovog prezimena se mogu naći u većem broju i u Bosanskoj Posavini i u Tuzlanskoj regiji.

Kuštra – Kuštre u Hrvatskoj su stanovnici Imotskog i okolice ovog grada (Runović), no danas već žive i u Zagrebu, u okolici Orahovice i Iloka.

Lubrežan – u datoteci Acta Croaticae nema podataka o prezimenu Lubrežan ili Ludbrežan na području Hrvatske niti danas, niti u arhiviranim dokumentima datoteke.

Otrovanac – u datoteci Acta Croaticae nema podataka o prezimenu Otrovanac ili Otrovanec na području Hrvatske niti danas, niti u arhiviranim dokumentima datoteke.

Petrinović – danas najviše Petrinovića živi u Zagrebu, Splitu, u gradu Vinkovcima te u okolici (Otok), a ima ih i u Novom Vinodolskom. Prema povijesnim izvorima Petrinovići potječu iz okolice Vinkovaca a bilo ih je i oko Svetog Ivana Zeline.

Rođak – najčešće prezime Rođak možemo naći u zapadnom podravskom području između Đurđevca (Budančevica, Podravske Sesvete) i Virovitice, danas ih već ima u većem broju i u Zagrebu.

Ronta – tipično je prezime za grad Donji Miholjac i za okolicu s većim brojem nositelja u Viljevu. Nekada ih je živjelo i u Požegi i u okolici.

Sigečan - prošlom stoljeću stanovnika s prezimenom Sigečan rođeno je u okolici Ivanić-Grada i u gradu Virovitici. Danas se mogu naći u manjem broju i u Donjem Miholjcu.

Stražanac – u prošlom stoljeću najviše nositelja ovoga prezimena je rođeno u Donjem Miholjcu i u Osijeku. Danas ih najviše također živi u Donjem Miholjcu i Viljevu, dok u manjem broju u Koški i Čačincima.

Šimara – na prekretnici 19. i 20 stoljeća ovo prezime smo mogli najčešće naći u Donjem Miholjcu i u okolici Našica. Danas ih je najviše u Podravskoj Moslavini, Donjem Miholjcu, Zagrebu, Osijeku i Slatini.

Viljevac – ovo prezime najčešće i danas i u prošlosti nalazimo u gradu Virovitici i u okolici – Gradini, Brezovici i malo istočnije u Viljevu.

Naravno navedeni podaci se ne mogu smatrati rezultatom temeljitog istraživanja, sličnima analizi matičnih knjiga, ali svakako mogu poslužiti kao smjernice, jer se i ovi podaci temelje na arhivskoj građi. Tako prema ovdje iznesenim informacijama jasno je vidljivo kako je većina najtipičnijih prezimena Martinaca, tako i demografska povijest Martinaca usko vezana za prostor hrvatske Podravine uglavnom od Đurđevca do Osijeka. Jasno se iscrtavaju nadalje i migracijske struje podunavskog migracijskog kanala s čvorištem u Osijeku – tu su prezimena koja su nazočna na slavonskim područjima, a pojavljuje se i drugi migracijski pravac od Primorja (dijelom Dalmacije) i Istre preko zapadno-hrvatskih kajkavskih krajeva. Podrazumijeva se da ove konstatacije i ukazane smjernice se moraju potkrijepiti i nadograditi s daljnjim istraživanjima na mađarskoj a također na hrvatskoj strani. Posebno zanimljivu problematiku daljnjih istraživanja predstavljaju ona prezimena koja se ne mogu naći u hrvatskim arhivnim dokumentima baze podataka Acta Croaticae, vjerojatno ovdje su nužna temeljitija i u prostoru koncentriranija istraživanja i u povijesnim izvorima koji otkrivaju isprepletene odnose dvije obale podravske doline.

Daljnje smjernice umjesto zaključaka

Ovdje prikazani rezultati istraživanja tek su samo prvi koraci u jednom planiranom povijesno-demografskom i društvenom istraživačkom projektu o podravskim Hrvatima u Mađarskoj, no već se i iz ovih prvih poteza vidi da se radi o zadatku koji iziskuje puno daljnjeg vremena i pažnje za traganjem odgovora na postavljena pitanja. Proširujući vremenski obim istraživanja na cijelo 19. i za početak 20. stoljeća procesi modernizacije će se razotkriti u potpunoj širini dok obrada matičnih knjiga rođenih drugih hrvatskih naselja, ne samo Martinaca rasvijetlit će proces unutrašnjih migracija između naših hrvatskih naselja na mađarskoj strani Podravine u procesu formiranja seoskih zajednica, koji će nakon toga slijedom povijesnih tokova početi uključiti u modernizacijske tokove, doživjevši nove izazove novih promjena.

Literatura

- BARIĆ 2006 = BARIĆ E. Rode, a jeziki?! – redovi iz jezikoslovne kroatistike // Biblioteka Nova. Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2006. 9–29.
- BARIĆ 2021 = BARIĆ E. Rječničko blago i pučka kultura Martinaca – Felsőszentmárton szókinca és népi kultúrája. Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2021.
- BEGOVÁČZ 1980 = BEGOVÁČZ R. Dráva menti horvát húsvéti dalok // Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 24. (1979). Pécs: Janus Pannonius Múzeum, 1980 273–300.
- BEGOVÁČZ 1984 = BEGOVÁČZ R. Házasságkötés és szokásköre a Dráva menti horvátoknál // Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 28. (1983). Pécs, 1984. 223–239
- BEGOVÁČZ 1994 = BEGOVÁČZ R. Svadbeni običaji u Hrvata u Podravini // Etnografija Hrvata u Mađarskoj Nr:1, 1994. 21–42.
- BEGOVÁČZ 2001 = BEGOVÁČZ R. Vízkeresztől hamvazószerdáig: adatok a tavaszváró szokásokról és hiedelmekről a hazai horvátoknál // Ando Gy., Eperjessy E., Grin I., Krupa A. (szerk.). A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón (esélyek, lehetőségek, kihívások) (A VII. nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. Békéscsaba, 2001. október 2–4.) Békéscsaba – Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 2001. 426–432.
- BOROS GYEVI 1988 = BOROS GYEVI L. Naša sela u srednjem vijeku i doseljavanje podravskih Hrvata // Ž. Mandić (ed.) Podravski Hrvati 1. Budapest: Tankönyvkiadó, 1988. 41–121.
- KISS 1988 = KISS, Z.G. Podravski Hrvati za uspona i raspadanja mađarskog feudalizma (1686-1849) // Ž. Mandić (ed.) Podravski Hrvati 1. Budapest: Tankönyvkiadó, 1988. 121–213.
- KITANICS 2009 = KITANICS M., SOKCSEVITS D. Kontinuitás vagy diszkontinuitás: Baja lakossága a Rákóczi szabadságharc előtt, és azt követően // Bácsországi Vajdasági Honismereti Szemle. 6-50. 11–13.
- KITANICS 2014 = KITANICS M. A Magyarországra irányuló horvát migráció a 16–18. században. PhD értekezés. PTE – Földtudományi Doktoriskola, Pécs 2014.
- KOCSIS 2003 = KOCSIS K. Horvátország pannon területeinek etnikai térképe. MTA Földtudományi Kutató Központ, MTA Kisebbségkutató Intézet. Bp. <http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/etnika/indexMAPh.html> (poslijednji pristup 2022. 08. 02.)
- KOCSIS, BOGNÁR 2003 = KOCSIS K., BOGNÁR A. Horvátország pannon területének etnikai térképe – Etnička karta panonskog prostora Hrvatske – Ethnic Map of Pannonian Territory of Croatia 1941, 1991, 2001 (1: 400 000). Budapest: MTA FKI – MTA KKI, 2003. <http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/etnika/indexMAPh.html> (poslijednji pristup 2022. 08. 02.)
- MÁRFI 1988 = MÁRFI A. Doba apsolutizma i dualizma (1850–1918) // Ž. Mandić (ed.) Podravski Hrvati 1. Budapest: Tankönyvkiadó, 1988. 215–277.
- MÁTÉ 2021 = MÁTÉ G. „... Most van ideje a marhahajtásnak!” A Dél Dunántúl pusztulása 1683–1685-ben. Pécs – Budapest: PNEKAT – L'Harmattan Kiadó – TIT Kossuth Klub Egyesület, 2021.
- MOAČANIN 2001 = MOAČANIN N. Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2001.

- SAROSÁ CZ 1973 = SAROSÁ CZ Gy. Magyarország délszláv nemzetiségei // Népi Kultúra – Népi Társadalom. VII. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973. 369–386.
- ŠAROŠ AC 2008 = ŠAROŠ AC Đ. / SAROSÁ CZ Gy. Slaveni u Baranji prije dolaska Mađara i za vrijeme Arpadovića – Honfoglalás előtti és Árpád-kori szlávok Baranyában. Pečuh, 2008.
- ŠOKČEVIĆ 2016 = ŠOKČEVIĆ D. Hrvatska od stoljeća 7. do danas. Zagreb: Durieux, Društvo Mađarskih Znanstvenika i Umjetnika u Hrvatskoj, 2016.
- SOKCSEVITS 2022 = SOKCSEVITS D. A magyarországi horvátok rövid története. Budapest: Croatica, 2022.

Demographic and social development of Martinci/Felsőszentmárton in the 18th and 19th centuries. In this paper the author investigates the way the Croatian minority village community was formed at the end of the 18th and in the first half of the 19th century. Through the quantitative analysis of birth register data and the qualitative analysis of surnames in the aforementioned databases of the village of Martinci / Felsőszentmárton, the author creates a picture of the formation of society and community in the 19th century. With the help of published literature, the author provides a summary of the issue of immigration, which formed the basis of further development and modernization, the stages of which the author determines using the methods of social, demographic and historical research.

Keywords: Martinci, Birth Register, demographic and social processes, analysis of surnames, formation of a minority community, integration, modernization

VJEKOSLAV BLAŽETIN
(Pečuh, Mađarska)

Kolonijalizam u socijalističkom diskursu (1948. – 1953.)

Sažetak: Ovaj rad bavi se odnosom kolonijalizma i socijalizma između 1948. i 1953. godine. Polazi se od pretpostavke da je socijalizam označiteljska praksa koja stvara svoju realnost, a time određuje i smjer odnosa. Razlikuju se dva diskursa koji nastaju nakon Rezolucije Informbiroa: antititoistički i protititoistički. Analizom diskursa iz korpusa novinskih članaka (iz Mađarske, Sovjetskog Saveza i Jugoslavije) i karikatura (časopisi *Ludas Matyi* i *Kerempuh*) ukazuje se na paradoksalnosti u reprezentaciji kolonijalizma. S jedne strane ustanovljuje se da antititoistički diskurs kolonijalizam upotrebljava kako bi Tita prikazao kao produženu ruku kolonijalizatora, a s druge strane da protititoistički diskurs informbiroovske države reprezentira kao kolonije Sovjetskog Saveza, a Sovjetski Savez kao istočnog eksploatatora.

Ključne riječi: kolonijalizam, socijalizam, Tito, Staljin, karikatura

*Hiába tanultam nyelvedet lelkesen,
Hogy mondják oroszul: elment a kedvesem?*¹
PA-DŐ-DŐ

1. Umjesto uvoda: kolonijalizam i socijalizam

Ako tko govori o kolonijalizmu i postkolonijalizmu pri analizi odnosa socijalističkih država ili o kolonijalnom subjektu i kolonijalizatoru u istom kontekstu, onda ulazi u jedan specifični paradoks kojeg mora biti svjestan. Kolonijalizam se pojavljuje kao nuspojava imperijalizma ili, kako je to Lenjin napisao: „kolonijalna politika i imperijalizam nipošto nisu bolesni i izlječivi otkloni kapitalizma, nego neizbježne posljedice samih temelja kapitalizma: konkurencija među poduzećima postavlja pitanje ovako – propasti ili upropastiti druge; konkurencija među različitim državama postavlja pitanje ovako – ostati na devetom mjestu i zauvijek riskirati sudbinu Belgije ili upropastiti i osvojiti druge države, stvarajući sebi mjesto među ‘velikim’ državama” (ЛЕНИН 1969: 15)². Dakle, kolonijalizam je nezamisliv u ideologiji socijalizma jer je on jedan od osnovnih elemenata kapitalističkog društvenog obrasca i ne bi se smio pojaviti u socijalističkom državnom uređenju.

¹ Uzalud sam učila tvoj jezik ushićeno, / Kako se kaže na ruskom: Otišao mi dragi? (prijevod autora).

² prijevod autora

Ipak, pojedini povijesni događaji ukazuju na inferiorne i superiorne odnose između Sovjetskog Saveza i socijalističkih država u Europi, kao Mađarska revolucija 1956. ili Praško proljeće 1968. godine. U obama slučajima sovjetska vojska guši proturežimsko tijelo i diskurs te uspostavlja svoj, a „svaka država koja ima više kolonija, kapitala, vojnika od ‘nas’ oduzima ‘nam’ određene privilegije, određene profite ili viškove profita” (ЛЕНИН 1969: 16)³. Upravo je Sovjetski Savez u navedenim revolucijama imao više vojnika.

Annus tvrdi da socijalističke države u Europi nisu bile kolonije Sovjetskog Saveza, ali postavlja tezu da se svaka prisilna reorganizacija društva na svim njegovim razinama u kojoj sudjeluje etnički različit legalni entitet koji proširuje svoj utjecaj izvan granica vlastitoga tradicionalnog teritorija⁴ treba shvatiti kao uspostava kolonijalne matrice moći. Dalje izdvaja da je u europskim socijalističkim državama stupanj kolonijalnog nadzora varirao od opresivnog do jedva postojećeg, da se ponekad podudarao, a ponekad sukobljavao s nacionalnim težnjama pojedinih naroda (usp. ANNUS 2018: 14)⁵. Kolonijalizator svoje postupke i prisutnost na tuđem teritoriju objašnjava ističući svoju civilizacijsku misiju, predstavlja se kao prorok noviteta koji uzdiže civilizaciju slabijih, tehnološki nerazvijenijih naroda, upotrebljavajući diskurs prosvjetiteljstva. Isto ističe Annus kad piše da se „pravno opravdanje zapadnog kolonijalizma temeljilo na rasnoj razlici između ‘civiliziranih’ i ‘neciviliziranih’ naroda: kolonijalizacija se smatrala moralnom i pravno prihvatljivom ako su kolonijalizirani ljudi bili ‘necivilizirani’ prema standardu europskog moderniteta” (ANNUS 2018: 94). O zapadnom kolonijalizmu Césaire tvrdi da je „kolonizacija beskonačno udaljena od civilizacije i da se iz svih tih brojnih kolonijalnih ekspedicija, razrađenih kolonijalnih statuta, iz svih otposlanih ministarskih okružnica ne bi mogla iznjedriti ni jedna jedina ljudska vrijednost” (CÉSAIRE 2020: 191).

Stavi li se u taj kontekst poznati komunistički uzvik i geslo Sovjetskog Saveza „Proleter i svih zemalja, ujedinite se!”, u kojemu se pod maskom pružanja očinske potpore prve socijalističke države drugim komunističkim partijama diljem svijeta zapravo krije namjera da se proleter i svih zemalja ujedine pod vodstvom SSSR-a, može se tvrditi da postoji kolonijalna matrica moći Sovjet-

³ prijevod autora

⁴ Nejasno je što *tradicionalni teritorij* znači jer razne nacionalne povijesti različito tumače svoj tradicionalni teritorij pa tako sintagma „granice svojega tradicionalnoga teritorija” postaje problematična. Granice tradicionalnog teritorija mogu varirati ovisno o interpretaciji nacionalne povijesti.

⁵ Promjenu kolonijalnog nadzora dobro pokazuje i primjer mađarskog filma *A tanú* (jugoslavenski prijevod *Krunski svjedok*), koji tematizira društvene obrasce u poslijeratnoj socijalističkoj Mađarskoj (u staljinizmu). Film je dovršen 1969., ali je zabranjeno njegovo prikazivanje. Marcsek zabranu povezuje s političkim kontekstom u istočnom bloku (Praško proljeće). 1979. ukinuta je cenzura i počinju prikazivati film (samo u jednom budimpeštanskom kinu) (usp. MARCSEK 2012: 143–157). Postoji anegdota da su mađarski političari između 1969. i 1979. gledali film na partijskim sastancima.

skog Saveza. Sovjetski Savez nakon II. svjetskog rata svoje teritorijalne, gospodarske i ideološke ekspanzije objašnjava kao prijateljske odnose socijalističkih država, a kao što Žižek tvrdi „ideologija doista uspijeva kad čak i činjenice koje joj se na prvi pogled suprotstavljaju počinju služiti kao argumenti njoj u prilog” (ŽIŽEK 2002: 76). Upravo se to događa s ideologijom socijalizma koja je u srži protiv kolonijalne moći jer činjenice koje upućuju na sovjetsku, zapravo rusku, kolonijalnu matricu uspijeva okrenuti u vlastitu korist. Postojanje sovjetske kolonijalne moći potkrepljuju i pop, odnosno *rock*-pjesme koje nastaju za vrijeme ili netom prije demokratizacije Mađarske u kojima se lirski subjekt raduje odlasku ruskih trupa. Grupa Beatrice pjeva:

<p><i>Naš je oproštaj najljepši trenutak i ono kada ulaziš u vlak, Sa suzom u oku mislim na to samo da ne zakasniš!</i>⁶</p>	<p><i>A legszebb pillanat, amikor búcsúzunk És a vonatra felszálasz Könnyes szemmel arra gondolok, Hogy nehogy lemaradjál!</i></p>
---	--

Takvi se glasovi u javnom prostoru javljaju tek pri sutonu socijalističkih režima i njihovih diskurzivnih praksi, dok socijalističke diskurzivne prakse u početku hegemonski oblikuju reprezentaciju kolonijalizatora i kolonijaliziranog bez otpora u njihovu društvenom uređenju. Kao "Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog" (IV 1: 1–2), tako riječ bijaše u Partiji i riječ bijaše Partija.

2. Socijalističke diskurzivne prakse: od bratstva i jedinstva do neprijateljstva i podijeljenosti

Zadnja rečenica u prethodnom poglavlju da naslutiti kako se u ovom radu polazi od ideje da je socijalizam proizvod teksta. Ako jest proizvod teksta, tj. tekstualni proizvod, zapravo je rezultat djelovanja jezika (diskurzivne prakse) i kao takav on sam sebe stvara. Epštejn govori o autoreferencijalnoj naravi socijalizma i tvrdi da se „ne može komunističku ideologiju optužiti zbog laži jer je ona ta koja stvara taj svijet koji zatim sama opisuje” (ЭПШТЕЙН 2005: 70)⁷. Budući da je socijalizam ideologija stvorena tekstualnim okvirom, on se manifestira kao realna apstrakcija, „*‘ideološka’ je društvena realnost ona čije samo postojanje implicira ne-znanje učesnika o njezinoj biti – to jest, društvena stvarnost čija sama reprodukcija implicira da pojedinci ‘ne znaju što čine’.* *‘Ideološka’ nije ‘lažna svijest’ (društvenog) bića, već samo to biće u onoj mjeri*

⁶ prijevod autora

Mađarska rock grupa Beatrice 1988. godine na dvostrukom albumu objavljuje pjesmu *Azok a boldog szép napok (Oni lijepi i sretni dani)* u kojoj lirski subjekt opisuje svoju nesretnu ljubavnu vezu i oprašta se od svoje „ljubavi” koja odlazi vlakom (što se može povezati i s odlaskom ruskih vojnika). Takvoj interpretaciji pjesme pridonosi spot u kojemu se članovi grupe šale kraj spomenikā posvećenih sovjetskoj vojsci.

⁷ prijevod autora

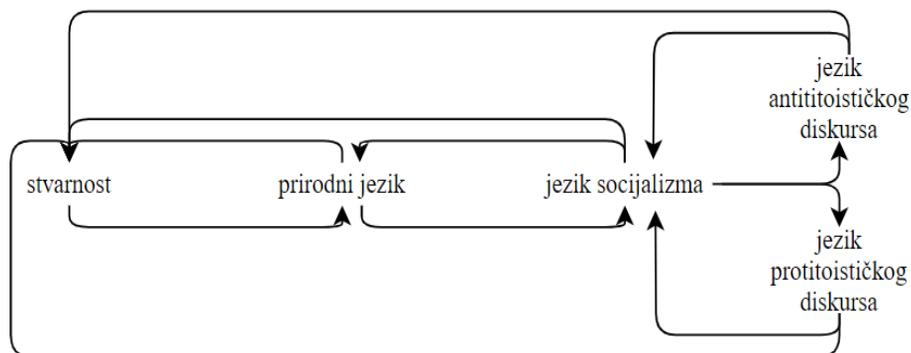
u kojoj je podržano ‘lažnom sviješću’” (ŽIŽEK 2002: 39). Čitav je socijalistički svijet svjesni konstrukt koji na životu drže nesvjesni subjekti: „paradoksalni status vjerovanja prije vjerovanja: slijedeći običaje, subjekt vjeruje, a da to i ne zna, tako da je konačno preobraćenje samo puki formalni akt kojim priznajemo ono što već ionako vjerujemo” (ŽIŽEK 2002: 64). To znači da postoji znakovni sustav, jezik koji zarobljava subjekta, a kako bi to učinio, on mora imati svoje obrasce i pravilnosti.

Lotman razlikuje dva tipa jezičnog sustava: s jedne strane govori o prirodnom jeziku, a s druge strane o drugostupanjskim modelativnim sustavima. „Drugostepeni modelativni sistemi predstavljaju strukture u čijem se osnovu nalazi prirodni jezik. Međutim, sistem kasnije dobija dopunsku, drugostepenu strukturu ideološkog, etičkog, umetničkog ili bilo kog tipa” (LOTMAN 1976: 72). U tom je smislu prirodni jezik mjesto denotacije, bliži apsolutnoj stvarnosti, dok je socijalizam kao drugostupanjski modelativni sustav mjesto konotacije, a time udaljeniji od apsolutne stvarnosti nego prirodni jezik. Drugostupanjski modelativni sustav zamagljuje instancu prirodnog jezika i tako ideologija socijalizma kao realna apstrakcija koja nastaje jezikom socijalizma stvara paradoks stvarnosti jer stvara iluziju izravne veze sa stvarnošću. Taj odnos prikazan je na Slici 1.



Slika 1. Prikaz odnosa stvarnosti i jezika socijalizma

Stavi li se u kontekst rečenoga razdoblje od 1948. do 1953. (Rezolucija Informbiroa – Staljinova smrt), mogu se prepoznati i objasniti načini pojavljivanja kolonijalizma i kolonijalne moći u socijalističkim diskursima koji usložnjavaju opis drugostupanjskog modelativnog sustava. Naime, 1948. godine potpisivanjem Rezolucije Informbiroa jedinstveni europski socijalistički diskurs lomi se na dva pola. S jedne se strane nalazi diskurzivna praksa informbiroovskih država koje stvaraju propagandni diskurs protiv Tita, *antititoistički diskurs*, a s druge se strane u Jugoslaviji oblikuje diskurs koji napada informbiroovske države i Staljina te brani Tita i jugoslavenski samoupravni socijalizam, *protititoistički diskurs* (usp. BLAZSETIN 2019: 11–12). Rascjepom dolazi do destabilizacije ustaljene označiteljske prakse jer ta dva nova socijalistička diskursa potječu iz zajedničke kolijevke, a pritom su trebala razviti novu označiteljsku praksu kako bi obilježili drugi socijalistički diskurs kao ispravan ili neispravan, neprijateljski ili prijateljski i kako bi stvorili dva posebna ideološka identiteta. Slika 2 prikazuje kako bi se novonastali odnosi mogli prikazati.



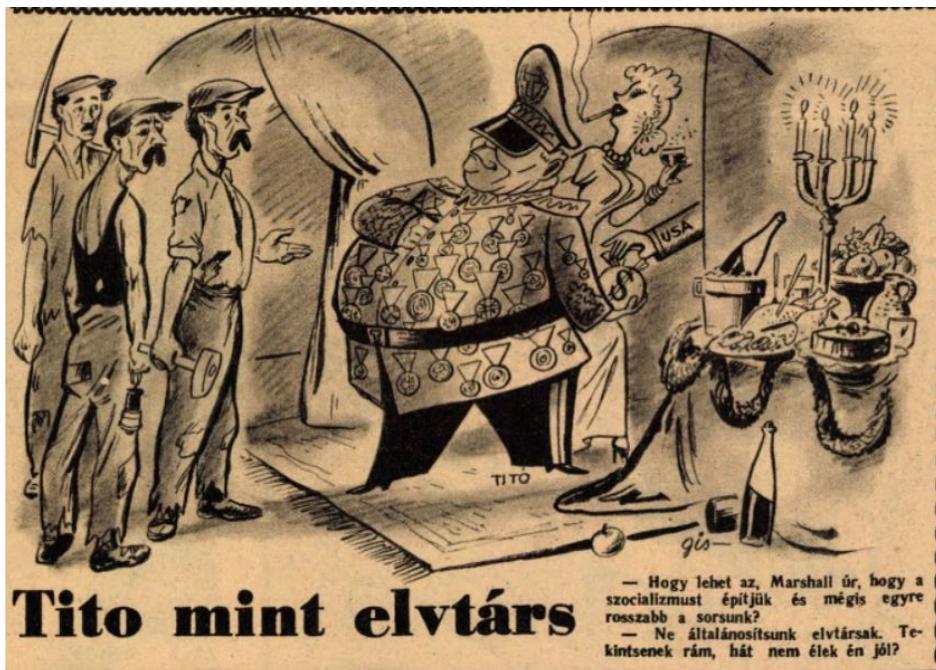
Slika 2. Prikaz odnosa stvarnosti te jezika antititoističkog i protititoističkog diskursa

Obje se diskurzivne prakse prema kolonijalizmu odnose negativno, smatraju ga kapitalističkim obilježjem i upotrebljavaju ga kako bi prikazali drugog kao onog koji je skrenuo s puta ispravnog socijalizma. Antititoistički diskurs upotrebljava konotatore koji se vežu uz kolonijalizam da bi optužio jugoslavensko vodstvo za izdaju, a protititoistički diskurs uz njihovu pomoć želi prikazati Sovjetski Savez kao kolonijalizatora koji svoje namjere skriva iza vela internacionalizma i proletera svih zemalja.

3. Manifestacija kolonijalizma u antititoističkom diskursu

U drugoj točki *Rezolucije Informacijskog biroa o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije* stoji: „jugoslavenski [su] rukovodioci počeli identificirati vanjsku politiku SSSR sa vanjskom politikom imperijalističkih sila i ponašaju se prema SSSR isto onako kao i prema buržoaskim državama” (RI 1948: 48–49). Ako se KPJ odnosi prema imperijalističkim državama zapada i Sovjetskom Savezu na identičan način, to znači da je Sovjetski Savez u jednakoj mjeri imperijalistička sila kao što su to i „prave” imperijalističke države. Kako bi opovrgnuo tu logiku, antititoistički diskurs počinje reprezentirati Tita i jugoslavensko vodstvo kao imperijalne agente koje su jugoslavenskom narodu nametnuli kolonijalni gospodari. Ta je reprezentacijska praksa jasno uočljiva u tekstu druge rezolucije (*Jugoslavenska kompartija u rukama špijuna i ubojica*) u kojoj se jugoslavensko vodstvo opisuje i sa sljedećim cirkumlokucijama: „najamni agenti anglo-američkih imperijalista”, „jugoslavenski plaćenici imperijalizma”, „najamnici imperijalizma” (usp. RI 1949: 98–103). Tito se reprezentira kao produžena ruka zapadnih kolonijalnih sila, on bi trebao biti posrednik između njih i jugoslavenskog naroda kao što je to indijska elita između indijskog naroda i britanske vlasti (usp. SAID 1999: 200). U tom je smislu Tito kolonijalni autoritet koji je izravno povezan s kolonijalizatorskom silom. Taj se odnos u publicističkim tekstovima počinje precizirati pa se pojavljuju naslovi

članaka poput: „Tito je pas imperijalista” (NK 1949: 85), „Tito je dobio tri milijuna Judinih dolara”⁸ (SZN 1949/237: 3), „Tito je otvorio svoje aerodrome za Amerikance”⁹ (SZN 1949/301: 2), „Titova klika priprema maršalizaciju Jugoslavije”¹⁰ (PRAVDA 1949/182: 3). Antititoistički diskurs poziciju Tita kao kolonijalnog agenta učvršćuje i njegovim karikaturnim prikazom. Kao primjer izdvojena je jedna karikatura iz mađarskog satiričkog časopisa *Ludas Matyi*. Uz karikaturu navodi se i moguća interpretacija u skladu s onim što antititoistički diskurs želi prenijeti svojem recipijentu.



Karikatura 1. Szegő Gizi (gis). *Tito kao drug* (mađ. *Tito mint elvtárs*) (LUDAS MATYI 1949/50: 3)

Likovi se na karikaturi mogu svrstati u dvije skupine. S lijeve se strane nalaze pozitivni likovi, to su jugoslavenski radnici koji zapravo predstavljaju većinu u Jugoslaviji, a s desne se strane nalazi Tito, žena koja puši cigaretu i pije alkohol te ruka koja je sinegdoha SAD-a. Oni se povezuju sa zapadnim državama i eksploatacijom. Pozitivno određenje jugoslavenskih radnika vidi se i u tome što su nekarikirani likovi karikature, dok su Tito i likovi uz njega karikirani. Jugoslavenski radnici nisu karikirani jer predstavljaju skup likova s ko-

⁸ prijevod autora (orig. mađ. „Hárommillió dollár judáspénzt kapott Tito”)

⁹ prijevod autora (orig. mađ. „Tito megnyitotta repülőtereit az amerikaiak előtt”)

¹⁰ prijevod autora (orig. rus. „Клика Тито подготавливает маршализацию Югославии”)

jima se recipijent treba poistovjetiti. Oni su likovno reprezentirani slično skulpturama socijalističkog realizma, stilskog pravca koji postaje službenim umjetničkim stilom u Sovjetskom Savezu između 1932. i 1933. godine (usp. ВОРОБЬЕВ 2012: 45). Jugoslavenski su radnici prikazani kao siromašni (poderana radnička odjeća sa zakrpama) i mršavo (izražena jagodična kost, upali obrazi), no unatoč tome zdravo i snažno (jedan u svojim rukama drži malj, drugi pijuk, a treći fenjer – svi su ti alati zapravo metonimije poslova koji zahtijevaju jaku fizičku snagu). Takvim se prikazom priziva latinska poslovice *U zdravom tijelu zdrav duh*. Takav se socijalistički prikaz nekarikiranih likova na karikaturi može povezati s konceptom *Homo sovieticus* (sovjetskim čovjekom) koji se pojavio kao koncept savršenog čovjeka novog socijalističkog svijeta. Taj je koncept sveprisutan u sovjetskom društvu. On se primjerice nalazi u Ždanovljevu (rus. Жданов) udžbeniku psihologije (usp. ВОРОНИН 2016: 18).¹¹ *Homo sovieticus* uvijek aktivira pozitivne konotacije, on je lik u kojemu recipijent treba prepoznati samog sebe. Takva reprezentacija uvijek predstavlja skupinu *mi* koja stoji nasuprot neprijatelja, skupine *oni*. Tito je suprotno jugoslavenskim radnicima prikazan kao karikiran lik. On je debeo (ima podbradak i napuhan je). Titova se pretilost povezuje s proždrljivošću koja se potvrđuje i stolom na kojemu su plodovi eksploatiranih jugoslavenskih radnika (na stolu je vino, purica, voće i torta). Situacija na karikaturi odigrava se u jednoj od Titovih vila, to potvrđuje i tepih na kojemu on stoji poput kakva monarha. Prikazan je kao kralj iz bajke kojemu podanici dolaze u posjet kako bi ispunili njegove zadatke. Naslov je karikature „*Drug*” *Tito*¹², poziva recipijenta da počne sumnjati u to je li Tito zaista drug. Time se upućuje u lažnu narav njegova socijalizma, a vizualnim označiteljem američke ruke koja kriomice daje dolare Titu potvrđuje se lingvistička poruka karikature. Na taj se način Tito pretvara u autohtonog vladara koji djeluje prema volji američkog imperijalizma i uspostavlja se odnos kolonijalizatora i kolonijaliziranog. Karikatura govori da su Jugoslaviju i jugoslavenski narod kolonizirali američki imperijalisti uz Titovu pomoć. Na karikaturi se odvija razgovor jugoslavenskih radnika i Tita. Radnici postavljaju pitanje „Kako je moguće, gospodine Maršale, da gradimo socijalizam i ipak nam je sve gore?”¹³. Riječ je *gospodin* u iskazu radnika važna jer stupa u dijalektički odnos s riječi *drug* koja se nalazi u samom naslovu karikature. *Gospodin* je čovjek kojemu su drugi ljudi podređeni, a u socijalističkom društvenom uređenju svi bi ljudi trebali biti jednaki, što se u socijalističkom diskursu postiže s pomoću riječi *drug*. Tako se u naslovu karikature Titovu imenu pridana riječ *drug* izjalovljuje, postaje nadomještена riječju *gospodin*. Radnici su svjesni da nešto ne funkcionira onako kako bi

¹¹ Sintagma je *Homo sovieticus* (rus. *Гомо советикус*) preuzeta iz istoimenog romana Aleksandra Zinovjeva (rus. Александр Зиновьев) (usp. ЗИНОВЬЕВ 2000).

¹² Doslovni je prijevod naslova karikature „Tito kao drug”.

¹³ Tekst na mađarskom: „Hogy lehet az, Marshall úr, hogy a szocializmust építjük és mégis egyre rosszabb a sorunk?”.

trebalo jer socijalizam kao sustav ne doprinosi razvitku, njihovu socijalnom i ekonomskom stanju, osjećaju da su iskorišteni. Tito pak odgovara radnicima: „Drugovi, ne generalizirajmo. Pogledajte me, ne živim li ja dobro?”¹⁴. Titovo obraćanje radnicima s *drugovi* odraz je njegova lažnog socijalističkog identiteta. To je maska kojom on pokušava prekriti svoje nakane, a to su izrabljivanje Jugoslavije i jugoslavenskog naroda, pretvaranje Jugoslavije u američki kapital. Svim tim sredstvima antititoistički diskurs nastoji reprezentirati Tita kao sredstvo preko kojeg zapadni imperijalisti ostvaruju svoje ciljeve u Jugoslaviji kao što to rade na Orijentu: „Imamo zapadnjake i orijentalce. Prvi vladaju; drugima se mora vladati, što obično znači da im se osvoji zemlja, da se strogo nadziru njihovi unutarnji poslovi, da su njihova krv i njihovo blago na raspolaganju ove ili one zapadne sile” (SAID 1999: 49). Antititoistički diskurs tvrdi da u slučaju Jugoslavije zemlju ne treba osvojiti, nego je dovoljno potplatiti pohlepnog vođu koji će sve ostalo podrediti volji zapadnih sila. Nasuprot tomu jugoslavenski se narod reprezentira kao masa koja bi se oduprla tim težnjama da ima mogućnost, a upravo zato jugoslavenskom narodu trebaju pomoći sve informbirovske države pod vodstvom Sovjetskog Saveza. Naizgled se poruku koju želi prenijeti antititoistički diskurs ne može shvatiti na drugi način, no sama struktura karikature stvara paradoks. Jugoslavenski radnici govore, u dijalogu su s Titom, njihov glas nije ugušen. Umjesto njih ne govori Tito ili kolonijalizator, već oni mogu izraziti svoje misli slobodno u prisutnosti vlasti. Međutim u tom se govoru jugoslavenskih radnika krije srž paradoksalnosti. Njihove su riječi zapravo riječi koje antititoistički diskurs stavlja u njihova usta, on se manifestira s jedne strane i u likovima koji su protagonisti na karikaturi, a s druge strane i u onim likovima koji su antagonisti. Na djelu je skoro identična „retorička predstava” kao što je na Orijentu.

„Balfourov je govor važan kao retorička predstava zbog načina na koji on preuzima na sebe ulogu raznolikih likova i predstavlja ih. To su, naravno, »Englezi«, za koje se zamjenica »mi« rabi s punom težinom otmjenog, moćnog muškarca koji za sebe misli da je reprezentativan za sve najbolje u povijesti svoje nacije. Balfour isto tako može govoriti u ime civiliziranog svijeta, Zapada, i u ime razmjerno malog zbora kolonijalnih dužnosnika u Egiptu. Ako ne govori izravno u ime Orijentalca, onda je to zato što svi oni, na kraju, govore drugim jezikom; pa ipak, on zna što oni osjećaju, jer zna njihovu povijest, zna da imaju povjerenja u takve ljude poput njega, jer zna njihova očekivanja” (SAID 1999: 47).

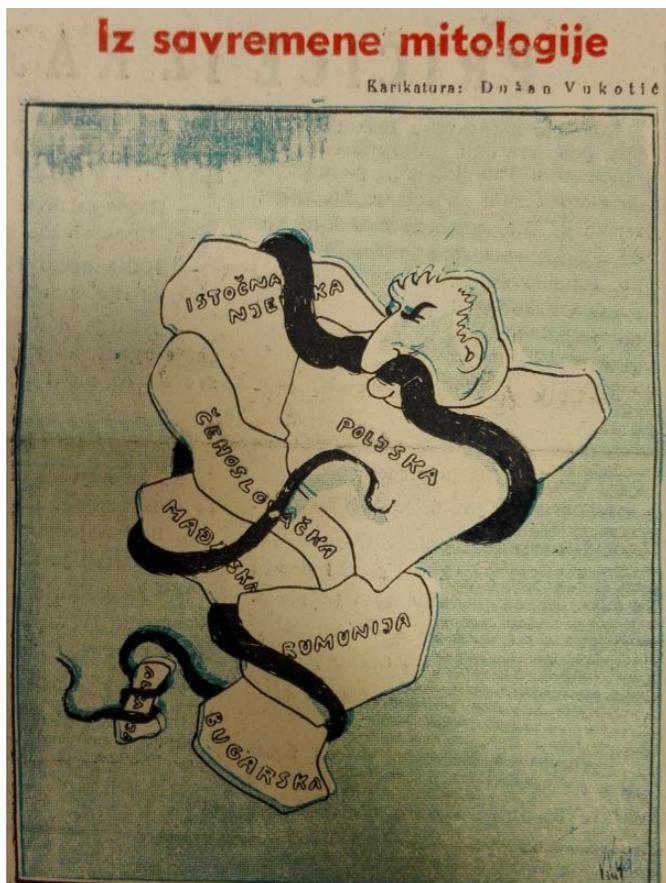
Antititoistički diskurs polazi od ideje „da se ljudi, mjesta i iskustva uvijek mogu opisati u knjizi do te mjere da knjiga (ili tekst) postigne veći autoritet, pa i veću korisnu vrijednost od same stvarnosti koju opisuje” (SAID 1999: 123). Tako se u stvaranju neprijateljskog Tita koji se optužuje za povezanost s imperijalizmom i za provođenje zapadne kolonijalizacije u jednoj od novih socijalis-

¹⁴ Tekst na mađarskom: „Ne általánosítsunk elvtársak. Tekintsenek rám, hát nem élek én jól?”.

tičkih država, zapravo paradoksalno potvrđuje postojanje kolonijalne matrice moći onoga koji njega želi reprezentirati na taj način. Pojavljuje se istočni eksploator koji svoj novi svijet, svoju novu kulturu želi nametnuti drugim postojećim državama, a to je Sovjetski Savez pod vodstvom Josifa Visarionoviča Staljina.

4. Protitoistički diskurs i istočni eksploator

Protitoistički se diskurs usredotočuje upravo na paradoks postojanja kolonijalne matrice moći i reprezentira Sovjetski Savez kao novonastalu imperijalističku silu. Na taj način želi istaknuti da se u Jugoslaviji može „graditi socijalizam svojim putem, mimo sovjetskoga te pokazati neslaganje sa sovjetskim diktatom, koji svojata revolucionarne tokovine drugih naroda i koji nastoji odrediti pravila dobrog i lošega ponašanja, propise i pravila djelovanja” (PERUŠKO VINDAKIJEVIĆ 2018: 229). To svojatanje i pokušaj toga da se nametne upravljanje iz Moskve u drugim socijalističkim državama protitoistički diskurs povezuje s kolonijalizacijskim namjerama Sovjetskoga Saveza. Tako jugoslavenski samoupravni socijalizam s protitoističkim diskursom proizvodi diferencijalna obilježja i stvara svoju mitologiju, a kako to Peruško Vindakijević tvrdi: „Svaka politička mitologija svoju istinitost i pravičnost dokazuje pomoću neprijatelja, koji postaje važan element te strukture” (PERUŠKO VINDAKIJEVIĆ 2018: 61). Na djelu je identična logika kao u antititoističkom diskursu, samo se mijenja pošiljatelj poruke. Protitoistički diskurs nastoji reprezentirati Sovjetski Savez i njegovo vodstvo kao novu kolonijalnu silu na istoku Europe. U beogradskoj se Borbi objavljuju vijesti u kojima se vrlo oprezno govori o tome da Sovjetski Savez upravlja informbiroovskim državama, primjerice: „Činjenica je da je rukovodstvo Federacije naprosto postalo informbiroovska filijala i oruđe u neprijateljskoj politici koju partijsko i državno rukovodstvo SSSR i informbiroovskih zemalja vodi protiv nezavisnosti i socialističke izgradnje naše zemlje” (BORBA 1950/31: 2) ili „Zapaženo je da su za sovjetskim delegatima ove komitete automatski napustili i pretstavnici onih istočnoeuropskih zemalja koje su zastupljene u tim organima, naime Poljske i Čehoslovačke. To, bez sumnje, svedoči da se pretstavnici tih zemalja u Ujedinjenim nacijama ne rukovode principijelnošću i interesima međunarodnog razumevanja i saradnje nego jedino direktivama sovjetske vlade” (BORBA 1950/17: 3). Ideja istočnog eksploatora jasnije je izražena u satiričkim časopisima, kao primjer izdvojena je jedna karikatura (Karikatura 2) iz jugoslavenskog satiričkog časopisa *Kerempuh*. Uz karikature se (kao i u prijašnjem poglavlju) navodi i moguća interpretacija u skladu s onim što protitoistički diskurs želi prenijeti svojem recipijentu.



Karikatura 2. Dušan Vukotić. *Iz savremene mitologije* (KEREMPUH 1951/294: 1)

Lingvistička je poruka ove karikature njezin naslov i imena država koje su obgrljene Staljinovim brkovima. Suvremenu mitologiju recipijent može shvatiti kao mit sovjetske pomoći informbiroovskim državama, mit pokroviteljstva najjače socijalističke države. Autor se karikature poigrava riječju *mit* i zato je Staljin prikazan kao morska neman koja izranja iz mora (pozadina je karikature plavkaste boje). Takav prikaz uspostavlja intertekstualnu vezu s karikaturnom tradicijom jer se tijekom povijesti ekspanzionistička politika i kolonijalizatorska namjera često prikazivala u vidu hobotnice koja krakovima prigranjuje teritorije na koje želi proširiti svoj utjecaj ili koje želi zauzeti (usp. BLAZSETIN 2019: 110). Karikaturnom protitoistički diskurs želi prenijeti svojem recipijentu misao o ekonomskoj, političkoj, ideološkoj i kulturnoj neovisnosti informbiroovskih država. Sve su istočnoeuropske države prikazane kao Staljinovo vlasništvo. Za protitoistički diskurs iznimno je važno prikazati odnos među informbiroovskim državama i SSSR-om kao hegemonski odnos jer na taj način može opravdati svoju inačicu socijalizma. Sovjetski Savez s pomoću antititois-

tičkog diskursa slijedi logiku prvotnosti. Smatra da je ta prvotnost ona koja mu daje pravo donositi odluke o ispravnom ili neispravnom socijalizmu. Gramsci tvrdi da bilo koji narod može biti podvrgnut intelektualnoj i moralnoj hegemoniji drugih naroda (usp. GRAMSCI 1984: 69–70), a ova karikatura želi ukazati upravo na tu hegemoniju sovjetskog naroda nad ostalim informbiroovskim državama, pri čemu se ne smije zaboraviti da je unutar samog Sovjetskog Saveza zapravo ruska kultura hegemon. U tom se smislu sovjetska socijalistička država zapravo prevrće u sovjetsku imperiju, sovjetsko carstvo, *de facto* u Rusku Imperiju čiji je car Staljin. Tako karikatura reprezentira Sovjetski Savez kao istočnog eksploatatora, iz čega pak proizlazi da se socijalizam izjalovio u svojoj matici, a da funkcionira zdravije u Jugoslaviji. Protitoistički diskurs ne zna kako pristupiti činjenici da je Sovjetski Savez otac socijalizma, a to stvara neku vrstu identitetske krize u recipijentu protitoističkog diskursa jer je on svjestan da takav način razmišljanja i takvo vođenje države potječe iz Sovjetskog Saveza. Recipijent se protitoističkog diskursa teško nosi sa sličnošću svoje i sovjetske ideologije. On nije u stanju svoj identitet iskazati bez spomena Sovjetskog Saveza i zato ostvaruje tek neku vrstu djelomične reprezentacije, po čemu se približava pojmu kolonijalne mimikrije (usp. BHABHA 1984: 130). Recipijent kao da vjeruje u optužbe antititoističkog diskursa, koji razlikuje pravog socijalista od lažnog socijalista, kao da vjeruje u označiteljsku praksu antititoističkog diskursa. On istovremeno negira i čezne za sličnošću. Čeznja proizlazi iz toga što su neki zapadni komunisti koji nisu bili u takvom odnosu sa Sovjetskim Savezom kao komunisti informbiroovskih država smatrali da je Jugoslavija skrenula s ispravnog socijalističkog puta. Kao primjer za kraj navodi se ulomak iz dnevnika Aleksandra Flakera u kojemu se dobro osjeća nemogućnost fiksacije socijalističkog ideološkog identiteta, paradoksalnost koja proizlazi iz jugoslavenskog odvajanja iz socijalističkog bloka:

„Ipak mi je teško kad John Marqusee, jedini komunist na ovom brodu, prolazi kraj mene kao da me ne vidi. Da, to je teško. Osjećam se možda i jači od njega, ali ipak jedini je drug, jedini s kime bih mogao iskreno razgovarati, a koga mnogi ovdje mrze, a i ja njih mrzim, prolazi mimo kao riđa avet. Nije mi ni najmanje simpatičan, ne. Ali ne radi se o tome. Nego – usred onih podsmjeha, arogantnih postupaka Posthumusa, ili čak van Bellinghena, koji me nije pozvao na diskusiju o evropskim univerzitetima, izgledivši to kasnije prilično licemjerno – potreban mi je drug, čovjek s kojim bih mogao do kraja iskreno razgovarati. Gubim se inače u ovoj diplomaciji. Da je barem još jedan Jugoslaven ovdje! Navečer bih pošao u kabinu s njime i pričao o svemu, zajednički bi riješili stvari, donijeli odluke, pričali o uspjesima, podstrekivali jedan drugoga na veće napore, na veću agitaciono-propagandističku aktivnost. Naći prijatelja? Ne, to ne može biti ovdje. Naći neprijatelja? Da, vrlo često. Jer čak iza naoko prijatelja krije se najljući neprijatelj” (FLAKER 2018: 45–46).

5. Zaključak

Kolonijalizam u socijalističkom diskursu uvijek ima negativnu konotaciju. On se povezuje sa zapadnim kapitalističkim svijetom i socijalistička ga diskurzivna praksa predstavlja kao sastavni element kapitalističkog društvenog uređenja. Socijalistička ga ideologija upotrebljava kao sredstvo s pomoću kojeg stvara predodžbu vlastitog neprijatelja. Iz toga proizlazi da se socijalizam *a priori* odriče toga da sebe obilježi kao kolonijalizatora ili kolonijaliziranog.

Ovaj rad ukazuje na to da veza između socijalizma i kolonijalizma nije crno-bijela kao što to socijalistička diskurzivna praksa pokušava prikazati.

Na primjeru antititoističkog diskursa ukazalo se na to da se dekonstrukcijom socijalističke diskurzivne prakse mogu iščitati matrice moći koje su srodne kolonijalizmu i da Sovjetski Savez kao lučonoša socijalističkog društvenog obrasca nameće drugim informbiroovskim državama svoje ideološke, političke i ekonomske ciljeve.

Na primjeru protititoističkog diskursa ukazalo se na to da diskurzivna praksa jugoslavenskog samoupravnog socijalizma u neprijateljskim odnosima sa svojim socijalističkim susjedima (kao što stara mnemotehnika kaže: Jugoslavija je okružena BRIGAMA) prepoznaje zapravo sovjetski utjecaj te obilježje kolonijalizma pripisuje Sovjetskom Savezu kako bi opravdala svoj odabir i obranila se od napada antititoističkog diskursa. Pritom se dekonstrukcijom protititoističkog diskursa ukazuje i na kolebljivost ideološkog identiteta koji stvara protititoistički diskurs u želji da se odriče informbiroovskog socijalističkog tabora, a da pritom stvori vlastiti ideološki identitet.

Izvori

- BORBA 1950/17 = Borba. 1950. Beograd. № 17.
BORBA 1950/31 = Borba. 1950. Beograd. № 31.
FLAKER 2018 = FLAKER A. Bez linije: »Volendamom« iz Nizozemske u Sjevernu Ameriku 1950. i 1951. Durieux. Zagreb, 2018.
KEREMPUH 1951/294 = Kerempuh. 1951. Zagreb. № 294.
LUDAS MATYI = Ludas Matyi. 1949. Budapest. № 50.
NK = Narodni kalendar 1950. 1949. Budimpešta.
Pravda = Правда. 1949. Москва № 182.
RI = Rezolucija Informacionog Biroa Komunističkih Partija o stanju u Komunističkoj Partiji Jugoslavije. U: Narodni kalendar 1949. Budimpešta, 1948.
SZN 1949/237 = Szabad nép. 1949. Budapest № 237.
SZN 1949/301 = Szabad nép. 1949. Budapest № 301.
ЗИНОВЬЕВ 2000 = ЗИНОВЬЕВ А. Гомо советикус. Центрполиграф. Москва, 2000.

Literatura

- ANNUS 2018 = ANNUS E. Soviet Postcolonial Studies: A View from the Western Borderlands. London – New York: Taylor & Francis Group, 2018. DOI: [10.4324/9781315226583](https://doi.org/10.4324/9781315226583)
- BHABHA 1984 = BHABHA H. Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse // October, 1984. № 28. 125–133. DOI: [10.2307/778467](https://doi.org/10.2307/778467)
- BLAZSETIN 2019 = BLAZSETIN V. Slika Tita u popularnoj kulturi između 1948. i 1953. godine: Komparativna analiza. Diplomski rad. Zagreb: Filozofski fakultet, 2019.
- CÉSAIRE 2020 = CÉSAIRE A. Govor o kolonijalizmu // Europski glasnik, 2020. № 25. 189–218.
- GRAMSCI 1984 = GRAMSCI A. Marksizam i književnost. Zagreb: Školska knjiga, 1984. DOI: [10.3817/0384059127](https://doi.org/10.3817/0384059127)
- IV = Biblija: Stari i Novi zavjet. Jure Kaštelan i Bonaventura Duda (ur). Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1968. <http://biblija.ks.hr>
- LOTMAN 1976 = LOTMAN J. M. Struktura umjetničkog teksta. Beograd: Nolit, 1976.
- MARCSEK 2012 = MARCSEK GY. Történelem, emlékezet, cenzúra: A tanú mint emlékezhely // Studia Litteraria. 2012. № 51/1–2. 143–157. DOI: [10.37415/studia/2012/51/4007](https://doi.org/10.37415/studia/2012/51/4007)
- PERUŠKO VINDAKIJEVIĆ 2018 = PERUŠKO VINDAKIJEVIĆ I. Od Oktobra do otpora. Zagreb: Fraktura, 2018.
- SAID 1999 = SAID E. W. Orijentalizam. Zagreb: Konzor, 1999.
- ŽIŽEK 2002 = ŽIŽEK S. Sublimni objekt ideologije. Zagreb: Arkzin d.o.o., 2002.
- ВОРОБЬЕВ 2012 = ВОРОБЬЕВ И. С. Соцреализм как «третья эстетика» в художественной культуре СССР 1920-х годов // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, 2012. № 26/12. 45–48.
- ВОРОНИН 2016 = ВОРОНИН А. Советский человек // Телескоп, 2016. № 116/2. 15–18.
- ЛЕНИН 1969 = ЛЕНИН В. И. Полное собрание сочинений: Издание пятое. Москва: Издательство политической литературы, 1969.
- ЭПШТЕЙН 2005 = ЭПШТЕЙН М. Постмодерн в русской литературе. Москва: Высшая школа, 2005.

Popis karikatura

- Karikatura 1. Szegő Gizi (gis). Tito kao drug (mađ. Tito mint elvtárs) // Ludas Matyi 1949/50: 3. 8.
- Karikatura 2. Dušan Vukotić. Iz savremene mitologije // Kerempuh 1951/294: 1. 12.

Popis prikaza

- Slika 1. Prikaz odnosa stvarnosti i jezika socijalizma. 6.
- Slika 2. Prikaz odnosa stvarnosti te jezika antititoističkog i protititoističkog diskursa. 6.

Colonialism in socialist discourse (1948–1953). This work is concerned with the relations between colonialism and socialism in the period between 1948 and 1953. The research presupposes that socialism is a labeling term with connotations that help create its own sense of reality through which it also determines the direction of such a relationship. Through discourse analysis, this work points out logical paradoxes apparent in the represented relations using a corpus of newspaper articles (from Hungary, the Soviet Union and Yugoslavia) and cartoons (published in the satirical magazines *Ludas Matyi* and *Kerempuh*) as its basis. On the one hand the work concludes that the anti-Titoistic discourse utilizes colonialism to paint Tito as an agent of imperialism and a helping hand to the colonizers, while on the other it determines that the pro-Titoistic discourse represents the „Informbiro period” states as colonies of the Soviet Union and at the same time the Soviet Union itself is being presented in the role of the „Eastern exploiter.”

Keywords: colonialism, socialism, Tito, Stalin, cartoon

НАТАЛИЯ НЯГОЛОВА
(Велико Търново, България)

Човекът на 60-те – българо-хърватски паралели Предварителни бележки

Анотация: В статията е проследено функционирането на сходни художествени особености в два текста на българската и хърватската култура от 60-те години на XX век. Появата на тези особености е мотивирана от влиянията на националната модернистична парадигма и западното изкуство от периода. Проведени са редица разграничения между спецификата на дефинираните особености и соцреалистическия канон от времето на съветската „оттепел“.

Ключови думи: поетика, „Размразяване“, хронотоп, метаезик, топос

Целта на настоящата статия е да бъдат дефинирани няколко особености от атмосферата на 60-те в Югоизточна Европа въз основа на текстовете на културата от онова време. Известната книга на П. Вайл и А. Генис „60-е. Мир советского человека“ предлага реконструкция на поведенческите и художествени практики на „шестидесетниците“ в контекста на съветското „Размразяване“. Много рядко са правени опити за научно описание на културните модели на тази епоха в различните страни, влизащи в състава на т.н. „социалистически лагер“. Такива опити се свеждат най-вече до паралели между съветската „оттепел“ и процесите в съответните национални култури, отчитайки по този начин сходствата, но не и националната специфика.

Обект на изследване в настоящата статия са два текста, създадени в България и Хърватия (тогава – част от СФРЮ) в края на „Размразяването“ – филмът „Рондо“ („Rondo“, 1966) на режисьора и сценариста Звонимир Беркович и романът на Васил Попов „Времето на героя“, написан през 1968 г.

Основанията за паралелния им „прочит“ се съдържат не само в близката хронология на възникването им, но и в цяла поредица структурни сходства. Централни образи в двете произведения са образите на героинтелигенти, изграждащи два любовни триъгълника, които със своята неразрешимост илюстрират екзистенциалната и нравствена безизходица на фона на измененията в политическата конюнктура. Този модел на безпътицата е художествена проекция на разколебаването на соцреалистическия канон и реставрацията на цял ред естетически форми, характерни за модернистичната културна парадигма.

Моделът на безпътницата възниква на фона на деконструкцията на фундаменталния за соцреализма центростремителен инициационен сюжет. Този тип сюжет обикновено представя идейното израстване на младия човек, превръщането му от неосъзнат и стихийен индивид в носител на основните идеологически ценности на „новото общество“. Трансформациите у героя се осъществяват чрез приближаване до средите на пролетариата и под мъдрото ръководство на предани на социалистическата идея „бащи-наставници“ (КЛАРК 2002: 139–153). Подобен сюжет предполага клишираност на елементите и ясно изразен финал, в който идеологическата победа в рамките на индивидуалната съдба би трябвало да се проектира в глобалното настъпление и победа на тази идеология в национален и световен мащаб. Линейната представа за времето, заложена в трудовете на марксистките идеолози, е заменена в двете произведения с темпорална цикличност, с повторемост и затвореност, напомняща за времевите структури на модернизма. В критическите текстове, посветени на творбите, тази времева цикличност е коментирана нееднократно. Иван Станков отбелязва, че в романа на Васил Попов героите живеят в съвършено различни времеви геометрии: „Персонаж от евклидовско-нютонovski тип, Иван е линеен и безкраен. Обратно на него, Калуд е айнщайновски герой, краен, но безграничен, като Вселената в Теорията“ (СТАНКОВ 2012: 192). Като „циклична“ определя структурата на „Рондо“ Петър Креля, която „фабулно и сюжетно се разгръща под формата на кръг“ (KRELJA 1969: 32).

Затворената, кръгова времева стратегия, която избират Попов и Беркович, намира своята художествена концептуализация в класически музикални форми. Д. Кръстев пише, че романът на В. Попов има „фугатна структура на повествуването“ (КРЪСТЕВ 2001: 74), която се асоциира с музикалния принцип на вариациите и кореспондирането между няколко теми и мотиви. В статията си „Рондо в пространството и пространството на Рондо“ Бруно Крагич отбелязва, че „фабулата на филма се изгражда според формата на музикалния жанр рондо – форма, в която началната тема се повтаря с малки изменения и в света на произведението тя се използва като символ на неизменността, на невъзможността за промяна, на силата на жизнените правила.“ (KRAGIĆ 2006: 533)

Героите на произведенията са герои на времето си, за което говори и заглавието на романа на Попов. Те са вписани в своето десетилетие, донесло известна либерализация в социалистическата система. Те живеят с тревогите му – войни, несгоди и миграция, но и с мечтите на „Размразяването“ за бъдещите нови хора или за онзи апарат, който ще лекува хората без да се среща с тях, от фантазиите на героя на Беркович. Същевременно персонажите се стремят да избягат от своето обществено битие в нещо много интимно, много съкровено, създавайки си свой малък свят сред бурите на града. Този малък свят е възможен само чрез любовта, която разрушава зададеното от соцреализма равенство между половете

и връща в литературата прастарата война между Мъжа и Жената. За разлика от лиричните любовни истории на съветската „оттепель“, в разглежданите произведения тази война се разгаря с мълчаливо ожесточение. Във финала им тя се оказва неразрешима и вечна, тя се оказва надсоциална, надморална, надидеологическа. И с тази своя неразрешимост и глобалност актуализира цяла поредица от митопоетични значения.

Реалният свят напомня за себе си, за своите вини и присъди, доста поосезаемо при В. Попов, доста по-отдалечено и опосредствено при З. Беркович. В произведенията образът на града не е поетично пространство, за разлика от ведрата, пролетна урбанистиката на Шпаликов, Миронер, Хуциев. Инициационният соцреалистически сюжет в съветското изкуство, особено в киното, приема формата на разчитане на паметта, на търсене на истината за времето, в което живее героят. Неслучайно главен структурен елемент на много от филмите на „Размразяването“ става „разходката из града, която за героите се оказва толкова загадъчна и значителна, колкото едно околосветско пътешествие“ (БАЛАНДИНА 2009: 133). Градът у Попов и Беркович е тъмен лес на живота, изпълнен с тайни, опасности и тъга. Неговите обитатели са печални и отчуждени, те се срещат и разминават като сенки, лишени от истинско разбиране и общуване. През 60-те години на ХХ век в българската проза се актуализира урбанистичният модел на „греховния град“. Появата на топоса е подготвена от сложната литературна традиция на довоенната проза. В текстовете на българските писатели от 20-те и 40-те години на ХХ век се формира урбанистично пространство, за което са характерни двойствеността, екзистенциалната безизходица, демоничната самота. В дисертационния си труд, посветен на града в българската белетристика от първата половина на ХХ век, Александър Христов отбелязва, че през дадения период пространството на града е „поле на субективни зависимости, които се променят от емоционалния заряд и различния тип светоусещане на героите“ (ХРИСТОВ 2017: 38). Това е типично модернистичен град, който се възприема като „жизнена среда за човека, намиращ се в навечерието на Апокалипсиса, благодарение на което се превръща в митопораждащ топос и във всяко модернистично течение създава собствен градски метамит, отразяващ картината на света“ (ШМИДТ 2007: 4). В творчеството на българския писател Георги Стаматов дадената концепция на града от първата половина на ХХ век получава своето архетипично название – „малкият Содом“. През 40-те и 50-те години на същата концепция се подчинява градското пространство в романите на Димитър Димов, в които градът е трагедийно пространство, сцена на катастрофалните колизии на персонажите и най-често този топос се отъждествява със столицата София. Концепцията на „греховния град“ се появява в българската проза отново едва в средата на 60-те години в текстовете на П. Вежинов, Б. Райнов, В. Попов. Градът в тези текстове е фрагментарно и херметично пространство, придобиващо измеренията на затвор и капан. Той включва цяла поредица

затворени локуси, камерни интериорни мизансцени, за разлика от мащабните епически хронотопи на 50-те години.

В романа „Времето на героя“ нееднократно е представена обстановката в жилището на Калуд. Тя се отличава с необичайна скромност – бели стени, килим, две кресла, диван, противопоставяйки се на изящната обстановка в дома и вилата на Иван, на неговия луксозно мебелиран кабинет, сред който дори секретарката Боряна представлява „говорещ предмет“. Героите на Васил Попов се чувстват неуютно в домовете си, те търсят многолюдни пространства – барове, ресторанти, тенис-кортове, стадиони, нощни трамваи – за да усетят покой и топлина. Тези герои живеят двойствен живот и пространствено това се проектира върху противопоставянето между домашно и публично пространство. Във фризьорските салони, в университетските аудитории, в нощните клубове, те се надяват на общуване, на приобщаване към живота на социума, а след това, разочаровани и отчаяни, се връщат в “бърлозите” си, в миниатюрните си убежища, в които кътат своята болка и отчуждение.

Градът в романа на В. Попов има и своята светла половина, с което се отличава от мрачните „малки Содоми“ на Павел Вежинов и Богомил Райнов. Той е раздиран от съмнения и противоречия, в него човешкият живот се оказва „застрашен“, но същевременно градът създава необичайни сцепления с градове от различни страни и континенти. Така той става проекция на глобалния Град–Свят от сънищата на Калуд, „Република на човечеството“, по стадионите на която младежта и старците ще скандират „тихо-тихо-тихо“ и ще пускат в небето хиляди гълъби.

Освен музиката, в двете произведения семиотични функции придобива и архитектурата, и с това е свързана специфичната пространствена образност на творбите. В романа на В. Попов главната героиня Мария е сравнена от художника със стара базилика: „Стара и разкошна базилика. Проста и незабравима.“ (ПОПОВ 1968: 148). Базиликата като архитектурен феномен носи специфични значения в социологията на пространството. Тя е изразител на единство между сакрално и утилитарно пространство, на амбивалентност (БАРМИНА, ЛЕВЧЕНКО 2016: 43), която останалите герои нееднократно забелязват в личността на Мария: „Тази Мария – кротка, равна, почти безлична в държанието си, нито отблъскваща, нито особено привлекателна. В нея имаше нещо чеховско и нещо дикенсовско, от детските романи, нито практична, нито идеалистка, нито мечтателка, нито реалистка...“ (ПОПОВ 1968: 23). Мария е олицетворението на женския род, не е случаен, разбира се, и изборът на името ѝ, отправящо към образа на Мария Магдалена, каещата се грешница. Към митологичния праобраз отправя- и лйтмотивният образ на блудницата в романа, достатъчно нехарактерен образ за соцреалистичната поетика, и контрапунктният топос на църквата „Света Мария“, с който се сблъсква Калуд сред пейзажа на Хароу.

Във филма на Беркович архитектурата екстериоризира конфликта на творбата – нееднородността на съвременния човек, неговото двойствено поведение, неговите тайни и подсъзнателни желания и най-вече противопоставянето между външен и вътрешен свят. Топосът на Загреб е представен чрез сцените в градското кафене, препълнено с посетители, напоящи марионетки, които, седейки на една маса, дори не разговарят помежду си. Няколко кадъра представят градските улици, архитектурната еkleктичност на Загреб от онова време, в който по абсурден начин се съчетават сгради от австро-унгарското минало с безлични административни здания от социалистическата епоха. Това е микромодел на града-свят, в който самотата е обичайно състояние, а повторемостта на обстановката работи в полза на цикличния темпорален модел на безизходицата. Почти всички останали сцени са представени в пространството на таванското жилище на Неда (М. Дравич) и Федя (Р. Башич). Това е малък апартамент с модернистичен интериор, изпълнен с картини, фототапети, манекени, маски, пиано. Всяка нова мизансцена гради усещането за херметичност, за пренаселеност на жилището. То повече прилича на студентска квартира (всекидневната и спалнята) или театрална сцена (холът). Това е условно пространство, достатъчно флуидно, в което лесно проникват външни за сюжета герои (сцената с маскираните музиканти) или от което персонажите някак естествено се оказват снимани отвън, през стъклото на прозореца. Бруно Крагич определя пространствената стилистика на филма не като модернистична, а като образец за т.н. кинематографичен „естетизъм”, а също отчита връзката му с поетиката на неореализма въз основа на принципа на повторемостта (KRAGIĆ 2006: 535). В пространствените решения на филма би могло да се открие и влиянието на идеите на екзистенциализма – изолация на героя, враждебност на външния свят, свобода на избора.

Между герой и свят съществува отношение на известна театралност. Тя придобива както фабулни, така и семиотични проявления. И в двете произведения присъства театралният жест на спуснатата завеса като акт на отделяне от останалия, външен, непознат и неразбираем свят. Ако в романа на В. Попов това е спускане на завесата е своеобразен гестус за Мария, претенция да запази Калуд за себе си, да го отдели от останалия свят, да сложи ясна граница между Ние и Те, при Беркович спуснатата завеса във финала на филма е равносилна на отказ от развързка, на лишаване на края от позицията му на силно и семантично натоварено звено в мелодраматическия сюжет.

И в двете произведения моделът на играта има структурни функции. В „Рондо” шахът е повече от хоби, той задава правилата, по които се развива фабулата на филма, пренасяйки своите закони дори върху любовта и проявявайки се на различни художествени нива на филма – сюжетно, езиково, персонажно.

В романа „Времето на героя” играта също присъства като модел. Това е седмичният бридж между четирите приятелки, който надхвърля значението на обикновена игра, вплитайки в своите правила тайните, любовите, обсесиите и недостатъците на жените от карето. Но това е игра само за жени, мъжът-герой, запазвайки рационалния си статут, както и при Беркович, участва в далеч по-сложни игри. За Калуд такава игра е преводът. Той превежда Едуард Лир и героите, думите и сюжетите на текстовете му напускат сферата на литературата, населявайки света около него, чиято реалност е разколебана от фантастичните и често абсурдистки образи от песните на английския илюстратор и пътешественик.

Мъжът и жената в двете произведения имат своите строго очертани територии, което само частично напомня за трансформациите на гендерните граници в съветското изкуство от 60-те години. Отношенията между половете напуска професионалната и семейна сфера и придобива еротичен характер с цяла гама от привличания и конфронтации между мъжкото и женското начало. Репрезентациите на женските образи в романа са подчертано телесни. Телесното е водеща характеристика и в редица произведения на „Размразяването” в СССР: „Ако по-рано се подчертава функционалността на човешкото тяло, то сега то се разкрепостява, получава свобода, излиза извън рамките на предписанията, престава да бъде само апарат за изпълнение на идеологически задачи.” (ВИКУЛИНА 2011: 32). При Васил Попов тази тенденция отива още по-далеч. Женското тяло заживява свой собствен живот, то е обект на желание, грижи, символизация и на първо място е лишено от основната си соцреалистична функция – репродуктивната, почти никоя от героините не е майка, често това е въпрос на съзнателен отказ от създаване на деца или на особени възгледи за майчинството, какъвто е случаят със специфичното възпитание на сина на Христина. Женският характер се експлицира чрез тялото, което представя разнообразна гама от значения – покорност, инициатива, съблазняване, безличност. Най-близо до външните телесни характеристики на девойките-спортистки на „Размразяването”, изразяващи хармонията на здравия дух в здравето тяло тяло, е студентката Сия, но стройната ѝ фигура е красива обвивка на хладния ѝ прагматизъм и пресметливост.

За разлика от В. Попов, Звонимир Беркович избира друга стратегия. Разполагайки по-голямата част от сцените на филма около шахматната дъска, той съсредоточава визуалната репрезентация на героите си върху лицето. Това е подход, при който акцентът на изображение пада върху индивидуалността на героя, а едрите планове отразяват неговите нравствени колизии – утвърдена практика в кинематографията още от 20-те години на ХХ век (ЛОТМАН 1973: 108). Много рядко камерата фиксира лицето на Федя. Обикновено тя се спира върху лицето на Неда, по детски прозрачно и говорещо за всички нейни вълнения, и върху лицето на Мла-

ден (С. Жигон), въвеждайки чрез неговата непроницаемост и загадъчност темата за съвестта и вината.

В пряка връзка с тази тема стои въпросът за специфичната концептуализация на историята в двете произведения. Изкуството на „Размразяването“ обикновено се опира на някакви минали събития, като „най-често това са Октомврийската революция и Втората световна война“, уплътняващи темата за „голямото и нуклеарното семейство“ (ПРОХОРОВ 2007: 55). Васил Попов съхранява конкретиката на историческия фон, правейки Калуд участник и свидетел на Отечествената война и на войната във Виетнам, започнала в средата на 50-те. Критиката на сталинизма в романа става част от биографиите на Иван и Мария. За съпруга това е идеологическа криза, „определена“ чрез свалянето на портрета на Вожда от стената. За Мария образът на Сталин е част от интериора на клиниката, в която прави аборт. Историческите граници в романа са максимално широки и независимо от някои моменти на идеологизация, най-вероятно включени с оглед на неминуемата цензура, те обхващат имена от Античността до утопии за бъдещето. Подобна „хронология“ е нехарактерна за историософията на соцреализма, за която летоброенето започва с победата на пролетарската революция.

Във филма „Рондо“ периодът на сталинизма е представен чрез признаците прегрешения на Младен, който в младостта си преследва привържениците на западното културно влияние. Несъмнено става дума за следвоенния период в СФРЮ, когато до скъсването на отношенията със СССР, културната политика се провежда по съветски модел, преследващ подражанието и популяризацията на западните естетически образци. Милован Джилас в една от речите си от онова време саркастично громи западното буржоазно изкуство, в което „устройват оргии разни кубисти, сюрреалисти, екзистенциалисти, художници и писатели от типа на Пикасо и Сартр“ (ПОПОВСКА 2021: 33). Вписването на биографията на персонажа в конкретни исторически рамки има по-скоро алюзивен характер, който трябва да оправдае по-нататъшната му съдба и неговия нравствен избор, а не толкова да изрази някаква последователна историческа или идеологическа концепция във филма.

На базата на предложените наблюдения, можем да очертаем един близък социокултурен модел, който се експлицира в художествени форми, често надхвърлящи или разминаващи се с предписанията на съветското „Размразяване“ и в който личи националната специфика на периода в България и в Югославия. Този модел може да бъде представен в няколко пункта:

- замяна на основния соцреалистичен сюжет с мелодраматичен;
- тематични редове, свързани с безизходицата, песимизма, депресивността;
- циклично-абстрактен хронотоп;
- модернистична урбанистика;

- натоварване на езика на изкуството с метаезикови функции;
- актуализация на гендерната проблематика в посока на еротиката и връзката между пола и характера;
- редуциране и митологизация на историческата конкретика.

Изброените особености са индикатори за една от кулминационните точки в българската и хърватската култура, която се свързва с процесите на политическа либерализация в епохата на „Размразяването” и която подлежи на по-детайлно интердисциплинарно изследване най-вече от гледна точка на националната специфика. През седемдесетте години разширяването на соцреалистическата естетика ще продължи, но вече натоварена с повече социални послания. В контекста на българската култура това разширяване ще намали експерименталния заряд, обръщайки се към сферата на битовото и жанровете на повестта и комедията. В СФРЮ то ще роди кинематографичната „черна вълна”, но център на авторското кино вече ще стане столицата на Федерацията Белград, в който с най-голяма контрастност ще се проявят назряващите в недрата ѝ сътресения.

Литература

- БАЛАНДИНА 2009 = БАЛАНДИНА Н.П. Город и дом в отечественном и французском кино конца 50-х – начала 60-х годов // Театр. Живопись. Кино. Музыка, 2009. №2. 131–146.
- БАРМИНА, ЛЕВЧЕНКО 2016 = БАРМИНА Н.И., ЛЕВЧЕНКО И.Е. Базилика как социокультурный феномен” // Урбанистика, 2016. № 4. 43–56. DOI: [10.7256/2310-8673.2016.4.21355](https://doi.org/10.7256/2310-8673.2016.4.21355)
- ВИКУЛИНА 2011 = ВИКУЛИНА Е. Репрезентация гендера в советской фотографии „Оттепели” // Современный дискурс-анализ, 2011. 5. 2–34.
- КЛАРК 2002 = КЛАРК К. Советский роман: история как ритуал. Екатеринбург, 2002.
- КРЪСТЕВ 2001 = КРЪСТЕВ Д. Време и музика в повествователния изказ на Васил Попов // Писателят – това красиво човечество. Изследвания. Материали. Спомени. Велико Търново, 2001. 71–77.
- ЛОТМАН 1973 = ЛОТМАН Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллинн, 1973.
- ШМИДТ = ШМИДТ Н.В. Городской текст в поэзии русского модернизма. Автореферат на соиск. уч. степени канд. филол. наук. Москва, 2007.
- ПОПОВСКА 2021 = ПОПОВСКА Д. Начела на Југословенската културна политика (1945 – 1852) // *Philological studies*, 19, 2 (2021). 25–38.
- ПРОХОРОВ 2007 = ПРОХОРОВ А. Унаследованный дискурс: парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе „оттепели”. Санкт-Петербург, 2007.
- СТАНКОВ 2010 = СТАНКОВ И. Васил Попов. Релативизъм и полифонизъм. В. Търново, 2010.
- ХРИСТОВ 2017 = ХРИСТОВ А. Пространствата на града в българската белетристика от първата половина на ХХ век. Автореферат на дис. труд за присъж-

дането на научн. и образов. степен „доктор”, СУ „Св. Климент Охридски”.
София, 2017.

KRAGIĆ 2006 = KRAGIĆ B. Rondo u prostoru i prostor Ronda // Dani Hvarškoga kazališta, 32. Prostor i granice hrvatske književnosti i kazališta. Zagreb – Split, 2006. 533–539.

KRELJA 1969 = KRELJA P. Rondo novijeg hrvatskog filma // Filmska kultura, 13, (1969) 65. 29–34.

Man of the 1960's – Bulgarian-Croatian parallels. Preliminary notes. The article traces the functioning of similar artistic features in two literary texts of Bulgarian and Croatian culture from the 1960s. The appearance of these features is motivated by the influences both of the national modernist paradigm and Western art of the period. A number of distinctions have been made between the specifics of the defined features and the socialist realist canon of the Soviet *Thaw*.

Keywords: poetics, the Khrushchev Thaw, chronotope, metalanguage, topos

NYELVÉSZET
SZAKMÓDSZERTAN

TIMEA BOCKOVAC
(Pečuh, Mađarska)

ANA MIKIĆ ČOLIĆ
(Osijek, Hrvatska)

Tvorba pandemijskih neologizama u mađarskom i hrvatskom jeziku

Sažetak: Velike promjene u izvanjezičnom svijetu uvijek iznjedre neologizme. Što su promjene intenzivnije, veći će biti broj novih riječi ili broj novih značenja postojećih riječi. Jezični odgovor na izmijenjene životne uvjete uslijed pandemije koronavirusa jest povećan broj neologizama koji nastaju svakodnevno.

Cilj je ovoga rada analiza pandemijskoga leksika.¹ Hrvatski korpus za ovaj rad prikupljen je u medijskom diskursu, nastalom tijekom pandemije koronavirusa od 2020. do 2022., a mađarski se temelji na građi prvog pandemijskog rječnika izdanog 2020. Naglasak će u analizi biti na tvorbenoj razini. Analizirat će se načini nastanka neologizama: stopljenice – *morona virus, covidiot, capakistan, paketomat, McGužva, kororinya, kovidinka, onlány*; riječi s vezanim leksičkim osnovama – *koronamanija, koronafobija, kupomanija, koronabébi, koronakarantén, koronaparti*; te plodni tvorbeni afiksi – *koronaš, koronašica, koronizacija, koronizirati, turistificirati, covidos, cecíliás, zoomol*.

Ključne riječi: neologizmi, pandemijski leksik, tvorba riječi, stopljenice, vezane leksičke osnove, plodni afiksi

1. Uvod

Komunikacijska funkcija jezika neprestano nameće potrebu za promjenama. One se mogu očitovati u različitim smjerovima, a na svakodnevnoj razini najlakše su uočljive promjene pojava novih riječi te nagli porast čestotnosti postojećih riječi. Kao glavni pokretači (izvan)jezičnih promjena mogu se izdvojiti znanstveno-tehnološke promjene, društveno-ekonomske promjene, rat, promjene u stilu života, oživljavanje religije, nove ideologije, umjetnički i medijski pokreti, kognitivni i ludički impulsi, te, najnovije, epidemije i pandemije. Što su promjene intenzivnije, veći će biti broj novih riječi ili broj novih značenja postojećih riječi. Jezični odgovor na izmijenjene životne uvjete uslijed pandemije koronavirusa jest povećan broj neologizama koji nastaju svakodnevno u

¹ Pod pandemijskim leksikom podrazumijevamo lekseme koji su se pojavili tijekom pandemije i vezani su uz pojmove, pojave i općenito način života u uvjetima pandemije.

svim svjetskim jezicima. Novi jezični fenomeni iziskuju i proširivanje znanstvenoga interesa, stoga se u mađarskoj lingvistici vrlo brzo pojavio termin *virolingvistike*, koji i sam pripada neologizmima. Novotvorenice uvode Béla Istók i Gábor Lőrinc 2020., prikazujući jezične promjene nastale uslijed pandemije i određivši moguća područja daljnjih istraživanja kao što su: tvorba novih riječi i izraza, utjecaj pandemije na formalnu i neformalnu jezičnu komunikaciju (npr. pojava novih komunikacijskih obrata) te na (virtualni) jezični krajolik.

1.1. Ciljevi rada i metodologija

Cilj je ovoga rada analiza pandemijskoga leksika u mađarskom i hrvatskom jeziku. S obzirom na genetske i tipološke razlike između mađarskog i hrvatskog, cilj je analizom ustvrditi postoje li razlike u načinima proširivanja leksika u tim dvama jezicima. U istraživanju je primijenjen *bottom-up* metodološki pristup koji podrazumijeva odabir materijala iz korpusa uz „ručno“ pretraživanje i praćenje vijesti i objava u elektroničkim medijima, odnosno analiza leksičke građe prvog rječnika *koroneologizama* nastalog nakon prvog vala pandemije u srpnju 2020.² Naglasak će u analizi biti na tvorbenoj razini. Analizirat će se načini nastanka neologizama: stopljenice – *morona virus*, *cov-idiot*, *capakistan*, *paketomat*, *McGužva*; riječi s vezanim leksičkim osnovama – *koronamanija*, *koronafobija*, *kupomanija*; te plodni tvorbeni afiksi – *koronaš*, *koronašica*, *koronizacija*, *koronizirati*, *turistificirati*.

2. Tvorba pandemijskih neologizama u mađarskom i hrvatskom jeziku

Korpus tvorbenih neologizama u hrvatskom jeziku sastoji se od 87 novih riječi nastalih tijekom pandemije koronavirusa, a prikupljen je iz elektroničkih medija³. Mađarski korpus čini 400 natuknica među kojima se nalaze i neki ekvivalentni oblici hrvatskim primjerima. Dva korpusa usustavljena su prema tvorbenim načinima koji su aktivirani pri nastanku riječi. U korpusima je tako najviše složenica, a slijede višerječnice te sufiksalne i prefiksalne izvedenice.

² Veszelszki Ágnes: Karanténszótár. Interkulturális Kutatások Kft. Budapest, 2020.

³ Za prikupljanje korpusa nisu korišteni računalno-jezikoslovni alati. Građa je prikupljena „ručno“ s mrežnih portala Indeks, Tportal, 24 sata, Jutamji list, Dnevnik.hr.

Tablica 1. Pandemijski neologizmi u mađarskom i hrvatskom jeziku

NETVORBENA RIJEČ	VIŠERJEČNICE	SLAGANJE			IZVOĐENJE	
		STOPLJENICE	VEZANI LEKSIČKI MORFEM	POSLSLOŽENICE	SUFIKSALNE IZVEĐENICE	PREFIKSALNE IZVEĐENICE
koro- na	anti-korona geni	capakistan ceciliás	burekomat	COVID-19 covid-19, Covid-19, COVID-19	capakizam győrfipá- losodás	antikorona korona- ellenes
	covid bolnica kovid kórház	covidiot covidióta	dezomat	covid- putovnica védettsé- gi/oltási igazolvány	karanteni- zacija	antimaski- zam maszk- ellenes maszk- szkeptikus
	forumaš koronaš	dnovinarski	infodemija	Covid-uvjeti pandémiás körülmények	koronaš koronás	antivirusni vírusellenes
	imunitet krda nyájimmu- nitás	koronični (bolesnik) koronás	koronabe- daki	korona- avion	koronašica	asimpto- matski
	inteligencija krda	McGužva	koronaefekt koronaeffekt us	korona- dernek koronaparti	koronizacija megkorona- názódás	bezkovid kovidmentes
	korona brada karanténszak áll	morona (virus)	koronafobija koronafóbia	korona-era korona korszak	koronizir- ranje	protukorona koronátlan
	korona brak koronaválás	Novax Đokovid	koronafora	korona- koridori	koronizirati	
	korona cimerfraj	plandemija	koronakriza koronavál- ság koronavírus- krízis	korona-kriza korona- válság	maskizam maskolás	
	korona dom	Plenkorona	koronalista	korona- migranti	turistificirati	

	korona free (područje) koronamentes	Plenkovid	koronama-nija	korona-pandemija koronavirus-járvány	turisztizacija	
	korona hodači	Toni Cjepinski	koronamjere járványügyi intézkedések	korona-pošast		
	korona izazov Karantén-PárnaKihívás	Zoomor	koronamjese-ci koronakor	korona-režim		
	korona kaos koronakáosz		koronaosje-čaj	kovid-stražnjica karanténháj		
	korona mjeseći		koronapro-fiteri			
	korona posvuduša		koronasa-stanak karantén-értekezlet			
	korona punkt gócpont		koronaskep-ticizam			
	korona svadba		koronastožer operatív törzs			
	korona tenis		koronaškola			
	korona virus koronavirus		koronašo-ping			
	korona zakon koronavirus-törvény		koronaturmir			
	korona zloporaba COVID-19 visszaélések		koronaudar			
			kupomanija			
			megazakon			
			paketomat csomag-automata			

U nastavku će rada biti analizirani pojedini primjeri iz korpusa s obzirom na tvorbeni način.

2.1. Slaganje

U slavenskim jezicima, pa tako i u hrvatskom, većina novih riječi tvori se izvođenjem, odnosno sufiksalsnom tvorbom. Ipak, posljednjih desetak godina primjećuje se u jeziku sve veći broj složenica, i to onih koje nisu bile dijelom tradicionalnih tvorbenih opisa u hrvatskom jeziku. Toj tezi ide u prilog i korpus prikupljen za ovaj rad u kojemu dominiraju složenice koje u svom sastavu imaju vezani leksički morfem te stopljenice.

Mađarski jezik pripada zapadnoj ugrofinskoj jezičnoj skupini uralskih jezika, a kao aglutinativni jezik raspolaže iznimno bogatim fondom afiksalsnih morfema, koje dijelimo na oblikotvorne (fleksijske) i na rječotvorne (derivacijske). Po suvremenim gramatikama tvorbeni su načini izvođenje (sufigiranje glagola, imenskih riječi i glagolskih imenica), slaganje (organsko i neorgansko) te tzv. rjeđi oblici tvorbe. Pri izvođenju derivacijski sufiks može promijeniti vrstu i značenje riječi, dok fleksijski sufiksi raspolažu s gramatičkim značenjem, dakle ne mijenjaju vrstu i sintaktička obilježja riječi. Među sastavnicama neorganskih složenica ne postoje gramatički odnosi, oni su uvjetovani učestalom pojavom istih riječi i to uvijek u istome redosljedu. Među sastavnicama organskih složenica izdvajamo morfološki i sintaktički tip tvorbe (zavisne i nezavisne složenice). Zavisne složenice dijele se na subjektne, objektne, priložne, atributne i na složenice zgusnuta značenja, a nezavisne složenice imaju najmanje dvije ravnopravne osnove. Rjeđi su tvorbeni načini srastanje, skraćivanje, akronimi, tzv. pučka etimologija ili resemantizacija, opće imenice nastale od vlastitih, djelomična duplikacija, reduplikacija, haplologija, kontaminacija i promjena značenja (KESZLER 2000: 38).

Vezani leksički morfemi tvorbeni su elementi klasičnoga podrijetla ili domaći tvorbeni elementi nastali kraćenjem duljih leksema, a koji se u uporabi, u pravilu, ne javljaju kao slobodne osnove (MIKIĆ ČOLIĆ, BOŠNJAK 2020). Uz naziv vezani leksički morfem/osnova, u literaturi se javlja i naziv afiksoid.⁴ Barić (1980: 85) definira vezane leksičke morfeme kao „one značajnije nizove koji ne postoje u hrvatskom književnom jeziku izvan složenice, a imaju leksičko značenje“. Sličnu definiciju vezanih leksičkih osnova nudi i Babić (2002: 37) koji ih definira kao osnove „koje ne dolaze kao osnove samostalnih riječi“ nego isključivo u kompozitima. Silić i Pranjković (2005: 153–154) određuju prefiksoid i sufiksoid kao one dijelove riječi koji se pojavljuju ispred, odnosno iza „korijena riječi u različitim riječima s istim značenjem“, a imaju ulogu prefiksa, odnosno sufiksa. Barić (1980: 78) vezane leksičke morfeme parafrazira sinonimnim hrvatskim pridjevom ili konstrukcijom „koji je u vezi s I“ pri čemu I označava imenicu nastalu prijevodom vezanog leksičkog morfema.

⁴ O tome više u Mikić Čolić, Bošnjak (2020).

S 2020. u hrvatskom i mađarskom se jeziku pojavio internacionalizam *koronavirus*, *koronavírus*. Martinetovski protumačeno, zbog visoke frekventnosti u svakodnevnoj komunikaciji uzrokovane izvanjezičnim kontekstom, ta se riječ ubrzo počela rabiti u svom eliptičnom, ekonomičnom obliku – *korona*⁵, *korona*/*korona* (mađ.). Odmah po ulasku u jezik, taj je oblik „ušao“ i u tvorbene procese pa su se na svakodnevnoj razini počele pojavljivati riječi koje su sadržavale tu sastavnicu: *koronakriza*, *koronamjere*, *koronastožer*, *koronašoping*, *koronalista*, *koronafora*, *koronaprofiteri*, *koronaškola*, *koronaefekt*, *koronamjeseci*, *koronaudar*, *koronaturbir*, *koronasastanak*.

Navedeni primjeri mogu se preobličiti, odnosno parafrazirati navedenom konstrukcijom „koji je u vezi s I“ pa je tako, naprimjer, *koronastožer* → ‘stožer u vezi s *koronavirusom*’. Da se oblik *korona* doista može smatrati novim vezanim leksičkim morfemom u hrvatskom jeziku potvrđuju i ova njegova obilježja:

- vrlo plodna tvorba
- internacionalizmi (univerzalni su)
- značenje im je jasno utvrđeno te ga govornici moraju naučiti
- nove riječi koje u svom sastavu imaju vezani leksički morfem tvore se analoški
- jednostavno se povezuju u veće jedinice, odnosno riječi (MIKIĆ ČOLIĆ, BOŠNJAK 2020).

Za razliku od hrvatskog jezika u mađarskom novi leksički morfem *korona* ima svoj homonimni oblik imenice s primarnim značenjem ‘kruna’ koja daje produktivan korijen sufiksalsnoj tvorbi npr. *koronás* (‘okrunjen’), *koronázás* (‘okrunjenje’), a nerijetko je prva sastavnica složenica npr. *koronaékszer* (‘kraljevski dragulji’), *koronaherceg* (‘prijestolonasljednik’) ili je „glava“ složenica npr. *hajkorona* (‘bujna kosa’) ili *lombkorona* (‘krošnja drveća’). U frazeološkim jedinicama riječ se udomaćila u idiomu „a férfi a teremtés **koronája**“, tj. ‘muškarac je kruna postanka (svijeta)’. Uslijed pojave bolesti međutim otvorilo se potpuno novo semantičko polje imenice *korona* koja će prevladati nad primarnim značenjem i dovesti riječ u poziciju osnove novonastalih složenica: npr. *koronababa* (‘dijete korone’), *koronahelyzet* (‘stanje u koroni’), *koronakáosz* (‘kaos za vrijeme korone’), *koronakor* (‘doba korone’), *koronakór* (‘pošašt korone’), *koronapló* (‘dnevnik korone’), *koronavilág* (‘svijet korone’).

Za složenice s vezanim leksičkim morfemima, zbog njihove specifične naravi, ne može se uspostaviti uobičajeni tvorbeni uzorak. One se tvore samo po analoškom uzorku pa ih se naziva i *analoškim složenicama* (BARIĆ 1980: 28). Dakle, motivira ih složenica iste tvorbene strukture, također analoška složenica,

⁵ Blagus Bartolec (2020: 31) povezuje taj oblik s manje formalnim kontekstima te ističe da se u službenoj komunikaciji koja zahtijeva upotrebu standardnoga jezika preporučuje standardnojezični oblik *koronavirus*.

te se na taj način povećava broj složenica s istim elementom. Analizirajući korpus nailazimo na još jednu rubnu tvorbenu kategoriju – stopljenice ili *blendove*. To su riječi koje nastaju stapanjem najmanje dviju riječi i to na način da se stapaju dijelovi polazišnih riječi ili se uzimaju cijele riječi pri čemu dolazi do glasovnog preklapanja. Prema strukturi, stopljenice se mogu podijeliti u tri tipa: a) stopljenice nastale od prvog dijela prve i drugog dijela druge riječi (karantén + téboly > karanté**boldy**, tj. ‘nervoza uvjetovana karantenom’), b) stopljenice nastale uključivanjem jedne ili obiju riječi u cijelosti u novu riječ pri čemu može doći do glasovnog preklapanja (covid + idiot > covidiot, **karantén** + **torna** > karantorna, tj. ‘tjelovježba u karanteni’) i c) stopljenice u kojima je dio jedne riječi umetnut u drugu riječ koja ostaje netaknuta kao što je to slučaj u primjerima *dnovinarski*, *koroneologizmus* (MIKIĆ ČOLIĆ 2015b). Unatoč purističkim nastojanjima i tomu da se anglizam *lockdown* u trenutku pojave zamijeni domaćom alternativom *lezárás*, ipak nailazimo na primjere poput **lock+stalgia** > *lockstalgia*, tj. ‘nostalgčno sjećanje na vrijeme lockdowna’, **locdown + cocktail** > *locktail* u značenju ‘koktel pripremljen za vrijeme karantene’. Spajanje mađarske i engleske riječi vidimo u primjeru **otthon + on** > otthON, tj. ‘biti kod kuće *online* i stalno dostupan’, dok u izrazu **para+karantén** > *parantén* prvi dio odnosi se na naziv straha u slengu, a potpuno značenje aludira na zastrašujući osjećaj samoće u izolaciji. U kontekstu usporedbe stopljeničkih dijelova i vezanih leksičkih morfema posebno će nas zanimati prvi i drugi strukturni tip. Naime, u oba slučaja riječ je o tvorbenim jedinicama na rubu leksičke samostalnosti koje se (još uvijek) moraju spajati s drugim tvorbenim jedinicama kako bi tvorile samostalnu riječ. Tvorba (od) stopljenica je analoška što znači da se analogijom prema jednoj riječi stvaraju i druge pri čemu jedan dio stopljenice prenosi svoja semantička obilježja u svaku novu riječ što se može uočiti na primjeru stopljenice *bankomat* po uzoru na koju su nastale riječi *vicomat*, *platomat*, *parkomat*, *kovinomat*, *dezomat* koje više ne možemo smatrati stopljenicama. Dijelove riječi koji su se „osamostalili“ iz stopljenice, kao što su *-mat* iz *bankomat* ili *-holičar* u riječi *radoholičar* (pa analogijom nastaje npr. *čokoholičar*) Souillé-Rigaut (2010: 18–19) naziva *fraktoleksemima* te utvrđuje da za razliku od dijelova stopljenice koji zadržavaju sve semantičke komponente izvornog leksema, fraktoleksemi zadržavaju samo jednu njegovu semantičku komponentu. Dakle, mogli bismo ustvrditi da su stopljenice potencijalni izvori prvo fraktoleksema koji se mogu smatrati prijelaznim stupnjem do vezanog leksičkog morfema, a sve tri kategorije povezuje analoška tvorba s pomoću tvorbenih elemenata koji imaju fiksirano značenje koje govornici moraju naučiti (prema MIKIĆ ČOLIĆ, BOŠNJAK 2020).

Osim analoški, stopljenice iz korpusa nastale su uključivanjem jedne ili obiju riječi u cijelosti u novu riječ pri čemu dolazi do glasovnog preklapanja – *covidiot*, *Plenkorona*, *Plenkovid*, *dnovinarski*, *koronični*⁶ (bolesnik). U izrazu

⁶ Aluzija na *kronični bolesnik*.

maradjotthonka prepoznajemo imenicu *otthonka* ('kućni ogrtač') koja je nastala sufigiranjem korijena *otthon* ('dom', 'kod kuće') i poznati slogan *Maradjotthon!* ('Ostani doma/kod kuće!'). Uključivanjem dvije samostalne riječi ta stopljenica dobiva značenje 'ostati doma u kućnom ogrtaču'. Drugi je primjer složenica *karantény* u kojoj se aludira na dnevnu informativnu emisiju pod naslovom *Tények* ('činjenice'), ali i na naslov vrlo uspješne *stand-up* emisije u kojoj su komičari imali svaki dan uživo prijenose iz svojih domova u stilu središnjeg Dnevnika. *Karantén* upućuje na zabranu putovanja u inozemstvo i određuje novu lokaciju ljetovanja umjesto Athene Karanténu. Stapanjem nastaju i višeznačne riječi među kojima je najpopularnija imenica *karantini*: 1. alkoholno piće na bazi martinija koje se pije u karanteni; 2. navodno je karantena pozitivno utjecala na natalitet, dakle za 10 – 12 godina pojavit će se u društvu adolescenti (u mađ. *tini*) začeti za vrijeme karantene; 3. osobe koje svoju adolescentsku dob proživljavaju za vrijeme karantene.

Dakle, u hrvatskom korpusu su najbrojniji, a i u mađarskom visoko zastupljeni primjeri s glasovnim preklapanjima koji se ujedno mogu protumačiti i kao „okidač“ za stapanje dviju riječi. Riječ je najčešće o prigodnim ludičkim novotvorbama u novinskom i marketinškom, te u razgovornom jeziku. Budući da u stopljenicama uvijek ili gotovo uvijek dolazi do rezanja fonološkog materijala jedne ili objiju riječi čime se izraz skraćuje i čini semantički učinkovitijim, često se upravo jezična ekonomija navodi kao prvi poticaj za njihov nastanak. Ipak, za većinu se stopljenica iz korpusa ne može reći da u potpunosti doprinose ekonomičnosti izraza jer zahtijevaju dodatne napore za njihovu interpretaciju – bar u početku, dok govornici ne postanu svjesni njezina sastava i značenja koje se dobiva kombinacijom sastavnica. Čini se da se razlog nastanka stopljenica prikladnije može objasniti s pragmatičkog stajališta (LEHRER 2003). Promotri li se registar u kojemu se stopljenice iz korpusa najčešće javljaju – novinski i razgovorni stil – kao razlog njihova nastanka nameće se ilokutorna snaga, odnosno učinak koji govornik želi postići na sugovornika te tako privući njegovu pozornost. Opisanim se razlozima može protumačiti nastanak stopljenica u ovim primjerima:

(1) **ZOOMOR**: *Zašto nas hit aplikacija za video chat toliko iscrpljuje*⁷ / *A pénzbüntetés a karancia*. ('Novčana kazna je jamstvo karantene.')

(2) *Društvene mreže prepune su sprdnji na račun „doktora Tonija Cjepinskog“* / *Nagyon ceciliásan fogalmaz*. ('Izražava se jako cecilijanski.')

(3) *Društvene mreže pune šala o Đokoviću: „Novax Đokovid“* / *Mit csinálunk? Hát gyórfipálódunk*. ('Što radimo? Ostajemo kod kuće i ne idemo nikamo.')

⁷ Svi primjeri preuzeti su 12. kolovoza 2020. s mrežnih stranica Index, 24 sata, Jutarnji, Tportal i Faktograf. Zbog ekonomičnosti ne navodimo poveznice.

(4) **Plandemija**: Najuspješnija teorija zavjere o Covidu-19 pada već na „planu“ / *A Fehér Ház szerint oké kung-flunak hívni a koronavírúst.* (‘Prema Bijeloj kući u redu je nazvati koronavirus kung-flu.’)

U prvom primjeru stopljenica je nastala od engleske riječi *zoom* (riječ je o istoimenoj aplikaciji) te hrvatske riječi *umor*, a kao mjesto stapanja iskorišteno je glasovno preklapanje (*zoomor*). U mađarskom primjeru stopljenica je nastala od riječi *karantén* + *garancia* (karantena + garancija) u značenju kako karantena jamči da će ljudi ostati kod kuće. U drugim dvama primjerima kao dijelovi stopljenica vješto su iskorišteni onimi čime se aludira na javni angažman poznatih osoba vezan uz protivljenje cijepljenju. I u tim su tvorbama glasovna preklapanja poslužila kao mjesta stapanja. U Mađarskoj su upute stožera građanima prenosili i zastupali Cecília Müller, voditeljica Nacionalnog centra za javno zdravstvo, i Pál Győrffy, glasnogovornik Državne hitne medicinske službe. Zbog učestalosti njihova medijskog nastupa, ubrzo su im se vlastita imena poopćila i poprimila glagolska ili pridjevska značenja npr. *cecíliás* ili *elgyőrfipalisodott* oznaka je za osobu koja se ponaša kao Cecília Müller ili Győrffy Pál, a kada netko *győrfipálik* tada se vrlo disciplinirano pridržava svih važećih mjera.

U posljednjem četvrtom primjeru stopljenicom *plandemija* teoretičari zavjere tumače plansko širenje pandemije, a mađarski primjer *kung-flu* povezuje podrijetlo virusa (Kina) sa simptomima gripe (*influenza*). Svi su navedeni hrvatski primjeri naslovi preuzeti s hrvatskih mrežnih portala, a mađarski iz medijskih natpisa čime se potvrđuje teza da su stopljenice izvrstan jezični materijal za privlačenje čitateljske pozornosti.

Jezična igra, ponovno u novinskom stilu, u naslovu, dolazi do izražaja i u sljedećem primjeru:

(5) *Kakva McGužva! Kolone auta u redu za McDonalds u Rijeci. / Este zoom-kocsma a haverokkal!* (‘Navečer se vidimo u zoom-krčmi s ekipom.’)

Zatvoreni kafići i restorani tijekom epidemije uzrokovali su velike gužve u *drive-in* restoranima kojima je rad bio dopušten, odnosno odredili okvire virtualnim druženjima. Osim s jezičnog, odnosno tvorbenog stajališta, takvi primjeri imaju i dokumentarnu vrijednost jer ekonomično i slikovito opisuju fenomene u društvu koji su bili rezultat specifičnih okolnosti.

Da tvorba novih riječi nekog jezika nije privilegija, nego mogućnost koju imaju svi govornici pokazuje i sljedeći primjer *koronafore* – jezične igre koja je kružila društvenim mrežama:

(6) *Je li Covidio more?/ Anyukatársaim, hogy bírjátok a karantanya-létet?* (‘Mame, kako podnostite sudbinu karantenske majke?’)

Prva stopljenica iz primjera (6) pojavila se u vrijeme kad se intenzivno počelo razgovarati o turističkoj sezoni koja je tijekom proljeća 2020., zbog koronavirusa, bila vrlo upitna. Drugi je primjer za tu vrstu stopljenice u mađarskom **KaranTanya**, u značenju izolirani salaš, a od skraćenog oblika *karantén* (‘ka-

rantena') + ubačenog šumnika -T + imenice *anya* ('majka'), aludirajući na izazov pred kojim su se našle mame sa svojom djecom tijekom izolacija.

Velik broj neologizama ukazuje na gospodarske i društvene promjene nastale uslijed koronakrize. Izdvajamo polusloženice nastale analogijom prema riječima s polusloženičkim dijelom e-, poput riječi e-mail, npr. *e-sörözés* ('e-ispijanja piva') ili *e-locsolás* ('e-polijevanje') pod kojim se misli na zabranu narodnog običaja „polijevanja“ djevojaka na uskrсни ponedjeljak, odnosno *eszociális viselkedés* ('e-socijalno ponašanje'). Dokazi su jezične inovacije i riječi kojima se opisuje najveći novitet pandemije, rad od kuće i to s engleskom inačicom *home office*, koji će se ubrzo početi bilježiti mađarskom grafijom kao *homofisz*, a i konjugirati npr. *homofizik* ('radi od kuće'), odnosno uslijed promjene granice slogova poslužiti kao izvor humora i nastaviti evoluciju čovjeka od *homo erectusa*, preko *homo sapiensa* do *homo fisza*. Za vrijeme pandemije procvatila je i kultura grafitija, jezične šale često se odnose na službena tijela, pogotovo na stožer – *operatív törzs* – koji se ubrzo preimenovala u *aperitif törzs*, a ismijavaju se i neke odredbe i zaštitne mjere, pa tako i u prvom valu pandemije uvedena ograničenja koja su nametnula da između 9.00 i 11. 00 sati trgovine smiju posjetiti isključivo osobe starije od 65 godina. Tu pojavu bilježe pejorativni izrazi *banyatájm*, tj. određeno vrijeme (*time*) kupovine za babe (*banya*) i *nyuggersáv* – 'vremenska zona za umirovljenike' (*nyugdijas* – 'umirovljenik' + *sáv* – 'zona', 'traka').

2.2. Izvođenje

U hrvatskom korpusu dominiraju sufiksalsne izvedenice, a plodni su sufiksi *-aš*, *-ica*, *-izacija* te glagolski sufiks *-irati*.

Sufiksom *-aš* u hrvatskom jeziku tvore se imenice od imeničkih, glagolskih, pridjevskih, brojevnih i priložnih osnova, dok se u mađarskom njime služimo za tvorbu imenica i pridjeva od imeničkih osnova (*-ás/-és/-ös*). U hrvatskom jeziku najplodniji je u tvorbi imenica, u mađarskom u tvorbi pridjeva. U korpusu imenica na *-aš* – *koronaš* – označava 'nositelja osobine'. Naime, toj značenjskoj skupini pripadaju imenice koje označuju bolesnike: *plućaš*, *čiraš*, *prostataš*, *infarktaš* te se imenica *koronaš* uklapa i tvorbeno i značenjski u tu kategoriju. Sufiks *-aš* posljednjih se godina navodi kao jedan od najplodnijih u hrvatskom jeziku (MIKIĆ ČOLIĆ, GLUŠAC 2020). Naime, označavajući ljude kao *koronaše* (*koronások*), *forumашe* (*fórumosok*)... zapravo ih se smješta u različite društvene skupine pri čemu se odražava čovjekova imanentna težnja da svijet oko sebe, pa tako i ljude, kategorizira, odnosno ukalupljuje u određene obrasce. U mađarskom među malobrojnim primjerima sa sufiksom *-ás* bilježimo primjere *cecíliás* ('cecilijanski'), *önizolálás* ('samoizolacija'), *videóivás* ('virtualno opijanje').

Sufiksom *-(iz)acija* izvedene su u korpusu tri imenice načinjene isključivo od imeničkih osnova – *koronizacija*, *karantenzacija*, *turistizacija*. Riječ je o sufiksu koji se u hrvatskom jeziku širi pod utjecajem engleskog jezika u kojemu

je vrlo plodan, a njegovo prvotno dodavanje gotovo isključivo na osnove stranoga podrijetla sada sve više ustupa mjesto tvorbama s udomaćenim ili domaćim osnovama (*hadezeizacija*).

Sufiks *-ira(ti)* hibrid je sastavljen od njemačkog sufiksa *-ier* (koji je prilagođen u *-ir*) te domaćeg sufiksa *-a(ti)*. Iako se uporaba glagola na *-ira(ti)* često povezivala s tehničkim jezikom znanosti, trgovine i obrta te gotovo isključivo samo kada je bilo riječi o stranim osnovama (JERNEJ 1959: 31–33), najnoviji primjeri pokazuju da se uporaba glagola načinjenih tim sufiksom proširila u svim funkcionalnim stilovima te da se njime tvore glagoli i od stranih i od domaćih/udomaćenih osnova (MIKIĆ ČOLIĆ 2015a). U korpusu su tim sufiksom izvedena dva glagola: *koronizirati* i *turistificirati*. Sličnoga značenja je denominalni sufiks za tvorbu glagola *-l* u primjeru *zoomol* ('zoomirati') koji se dodaje imenskoj osnovi sa spojnim vokalom (*-o*), a tipičan je kod tvorbe glagola od stranih imenica npr. *faxol* ('faksira'), *printel* ('printa'), *raftingol* ('ide na rafting', '*raftingira*'). Pojavljuje se i sufiks *-odik* koji ukazuje na proces kada vršitelj radnje poprima osobinu izrečenu pridjevom npr. *elkaranténosodik* ('postaje takav kakav treba biti za vrijeme karantene'). Svega jedan primjer zabilježen je sa sufiksom *-ka* za tvorbu deminutiva, a to je imenica *koronka*.

2.3. Semantička tvorba i posuđivanje

Osim domaćih novih riječi koje su rezultat tvorbene kreativnosti, odnosno propitivanja vlastitih izražajnih mogućnosti, neološku građu u oba jezika čine i semantički neologizmi, odnosno neosemantizmi ili novoznačnice (SAMARDŽIJA 2002). Novi se sadržaji često pridodaju već postojećim leksičkim jedinicama povećavajući na taj način broj značenja (MUHVIĆ-DIMANOVSKI 2005). Bitno je naglasiti da promjena značenja, odnosno promjena koncepta vezanih uz riječ ne utječe na njezin glasovni oblik, dakle on ostaje nepromijenjen. Dodajući novo značenje postojećim leksičkim jedinicama, jezik čuva samosvojnost na planu izraza, a značenjski se obogaćuje. Semantičkim neologizmima u pandemijskom leksiku mogu se smatrati primjeri kao što su: *izolacija* – 'izdvajanje zaraženih bolesnika iz okoline i boravak u izdvojenome bolničkom prostoru radi sprečavanja širenja zaraze', *maškare* – 'ljudi koji nose maske kako bi se zaštitili od koronavirusa', *pobrisati* – 'uzeti bris', *prva crta obrane* – 'liječnici, medicinske sestre i ostalo medicinsko osoblje koje štiti i liječi pučanstvo od bolesti COVID-19'.⁸ U mađarskom jeziku postoji leksem *izoláció* ('izolacija'), ali se njegova uporaba nije udomaćila u kontekstu pandemije, nego se dosljedno koristi riječ *karantén* ('karantena') koja se pokazala i najproduktivnijom osnovom složenica. U rječ-

⁸ Sva su značenja navedena prema *Pojmovniku koronavirusa* Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (<https://jezik.hr/koronavirus>).

niku pod leksemom *corona* nalazimo 21, pod *konom* ('korona') 43, dok pod *karantenom* (*karantén*) čak 80 natuknica.

Osim formalnom i semantičkom tvorbom, leksik se proširuje i jezičnim posuđivanjem, a među stranim riječima pandemijskoga leksika pronalazimo: *drive-in* testiranje (*autós koronavírus-tesztelés*), *fake news* (*álhír*), *corona free* (*koronamentes*), *lock down* (*lezárás*), *open-air* kafić (*szabadtéri kávézó*), *corona-party* (*koronaparti*). Prethodni primjeri nisu tipični u mađarskom, ali se javljaju: *corona cop* ('policajac'), *coronacation* stoljenica *corona* + *vacation* u značenju 'provođenje odmora kod kuće', *coronaspeck*; *corona* (engl.) + *Speck* (njem.) i popularna mađarska inačica izraza *karanténháj* ('salo koje se nakupilo za vrijeme karantene'), odnosno *coronnials* koji se odnosi na djecu začetu za vrijeme korone.

S obzirom na broj pronađenih primjera i njihovu klasifikaciju, može se ustvrditi da se pandemijski leksik u hrvatskom jeziku tvorio formalnom tvorbom, odnosno oslanjanjem na vlastite tvorbene mogućnosti dok su primjeri semantičkih neologizama i posuđenica ograničeni. S druge strane, u mađarskom se pronalazi velik broj složenica i posuđenica iz engleskog jezika koje su se u kratkom roku prilagodile mađarskoj ortoepskoj i ortografskoj normi.

4. Zaključno

Značajne promjene u izvanjezičnom svijetu, pogotovo ako su globalne, uzrokuju u jeziku nastanak novih riječi. Pandemijska bolest uzrokovana koronavirusom prouzročila je hiperprodukciju neologizama kojima se opisuje pandemijska izvanjezična stvarnost – *koronamjere*, *koronastožer*, *koronaosjećaj*, *koronabedaki*, *kupomanija*, *infodemija*, *korona-migranti*, *korona-era*, *korona tenis*, *covid-teszt*, *házi karantén*, *homofisz*... Odgovor jezika na novonastale okolnosti, razvidno je iz navedenih primjera, bile su složenice, polusloženice i višerječnice tvorene najčešće sastavnicom *korona* u hrvatskom, odnosno *karantén* ('karantena') u mađarskom. Cilj je ovoga rada bio ponajprije dokumentirati dio pandemijskoga leksika, a potom ga i tvorbeno opisati. Analiza je u ovome radu pokazala da među pandemijskim neologizmima i u hrvatskom i u mađarskom jeziku dominiraju složenice i to one nastale slaganjem vezanih leksičkih morfema (analizom je utvrđeno da se i oblik *korona* svojim obilježjima može smatrati vezanim leksičkim morfemom) te stoljenice kojima je primarni cilj privlačenje čitateljske, odnosno sugovornikove pozornosti. Izvođenjem je, s druge strane, nastalo značajno manje pandemijskih neologizama, ali su pri nastanku hrvatskih izvedenica, konkretno sufiksanih, upotrijebljeni plodni sufiksi *-aš*, *-izacija* i *-irati*, a kod mađarskih sufiksi *-ás*, *-ka*, *-l* i *-odik*.

Po tradicionalnom pristupu neologizmi se u mađarskom jeziku dijele na pojmovne, značenjske i formalne. Pojmovnima se imenuju nove pojave, praktične su svrhe te nakon izvjesnog vremena postaju dio temeljnog leksika. Značenjski pretpostavljaju da je došlo do promjene primarnog značenja riječi, a formalni ili gramatički neologizmi mijenjaju se po obliku, najčešće se skraćuju.

Suvremene gramatike neologizme određuju po cilju i po načinu nastanka, prema cilju razlikuju potrebne i stilističke neologizme, i u tu skupinu uvrštavaju trenutačne, individualne novotvorenice, tj. okazionalizme. Načini tvorbe jesu slaganje, izvođenje, oduzimanje, spajanje, stopljenje, akronimi, skraćivanje, proširivanje, preuzimanje stranih riječi i sintagme na razini leksema (MINYA 2003: 15). Među analiziranim mađarskim pandemijskim neologizmima svaki se navedeni tvorbeni način može oprimirati, međutim najzastupljenije je slaganje, nakon toga spajanje i preuzimanje stranih riječi, a tek onda izvođenje, koje se inače zbog aglutinativne naravi jezika smatra temeljnim načinom tvorbe.

Budući da je leksik analiziran u ovome radu vezan uz trenutačne izvanjezične okolnosti, bit će zanimljivo analizirati stupanj efemernosti pandemijskih neologizama te hoće li te riječi, koje će vjerojatno brzo i nestati iz aktivnoga leksika, ostaviti tvorbeni „trag“ u promatranim jezicima u obliku novih tvorbenih modela i praksi.

Literatura

- BABIĆ 2002 = BABIĆ S. Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku. Zagreb, 2002.
- BARIĆ 1980 = BARIĆ E. Imeničke složenice neprefiksalne i nesufiksalne tvorbe. Zagreb, 1980.
- BLAGUS BARTOLEC 2020. = BLAGUS BARTOLEC G. Jezik u doba korone // Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika, 2020 No 7/2. 30–32.
- ISTÓK, LŐRINCZ 2020 = ISTÓK B. – LŐRINCZ G. A virolingvisztika részterületei // Simon Szabolcs (ed.): 12th International Conference of J. Selye University. Language and Literacy Section. Conference Proceedings. J. Selye University. Komárno. 83–92. DOI: [10.36007/3761.2020.83](https://doi.org/10.36007/3761.2020.83)
- JERNEJ 1959 = JERNEJ J. Glagoli na -irati u XVII. i XVIII. stoljeću // Filologija, 1959. No 2. 31–40.
- LEHRER 2003 = LEHRER A. Understanding trendy neologisms // Rivista di Linguistica, 2003. No 15/2. 371–384.
- KESZLER 2000 = KESZLER B. Magyar grammatika. Budapest, 2000.
- MIKIĆ ČOLIĆ 2015a = MIKIĆ ČOLIĆ A. Tvorba glagolskih neologizama i uklapanje u jezični sustav // Fluminensia, 2015. No 27/1. 87–103.
- MIKIĆ ČOLIĆ 2015b = MIKIĆ ČOLIĆ A. Word formation of blends // Mostariensia, 2015. No 19/2. 21–36.
- MIKIĆ ČOLIĆ, BOŠNJAK 2020 = MIKIĆ ČOLIĆ A., BOŠNJAK M. Vezani leksički morfemi – od norme do uporabe // Od norme do uporabe 2, ur. Maja Glušac. Osijek – Zagreb. 297–325.
- MIKIĆ ČOLIĆ, GLUŠAC 2020 = MIKIĆ ČOLIĆ A., GLUŠAC M. Polisemija sufiksa u hrvatskom jeziku // Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga, ur. Mihaela Matešić i Blaženka Martinović. Zagreb. 3–17. DOI: [10.19195/0137-1150.170.12](https://doi.org/10.19195/0137-1150.170.12)

- MINYA 2003=MINYA K. Mai magyar nyelvújítás: Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig. Budapest, 2005.
- MUHVIC-DIMANOVSKI 2005 = MUHVIC-DIMANOVSKI V. Neologizmi – problemi teorije i primjene. Zagreb, 2005.
- PENAVIN 1986 = PENAVIN O. Nyelvjárás és köznyelv. Novi Sad, 1986.
- SAMARDŽIJA 2002 = SAMARDŽIJA M. Nekoć i nedavno: odabrane teme iz leksikografije i novije povijesti hrvatskoga standardnoga jezika. Rijeka, 2002.
- SILIĆ, PRANJKOVIĆ 2005 = SILIĆ J., PRANJKOVIĆ I. Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb, 2005.
- SOUILLE-RIGAUT 2010 = SOUILLE-RIGAUT C. A Semantic Account of Quasi-Lexemes in Modern English. Doktorski rad u rukopisu. Kansas, 2010.
- VESZELSZKI 2020. = VESZELSZKI Á. Karanténszótár. Interkulturális Kutatások Kft. Budapest, 2020.

Pandemic-related neologism formation. Great changes in the extralinguistic world have always spawned neologisms. The more intense the changes, the greater the number of new words or the number of new senses of existing words. A linguistic response to the changes in our lives caused by the coronavirus pandemic is an increased number of neologisms, which are being created on a daily basis.

The aim of this paper is to analyse the pandemic-related lexicon. The corpus has been collected from the media discourse. The analysis focuses on the word-formation level, i.e. the ways neologisms are formed: portmanteaus: *morona virus*, *cov-idiot*, *capakistan* (from Capak, the Croatian epidemiologist, and the suffix *-istan* as in Pakistan), *paketomat* (*paket* = package, parcel + *automat* = automatic machine, e.g. ATM), *McGužva* (Mc as in McDonald's + *gužva* = rush, crowd) – words with bound lexical bases: *koronamanija* (coronamania), *koronafobija* (coronafobia), *kupomanija* (*kupovati* = to buy + *manija* = mania) – and productive word-formation affixes: *koronaš* (\approx coronaman), *koronašica* (\approx coronawoman), *koronizacija* (coronisation⁹), *koronizirati* (to coronise), *turistificirati* (to touristify). In addition to the word-formation level, the paper analyses the normative level, specifically, the orthographic level, i.e. problems related to irregularities in writing of the new words: *korona virus* / *koronavirus* / *koronavirus*.

Keywords: neologisms, pandemic-related lexicon, word formation, portmanteaus, bound lexical bases, productive affixes

⁹ Ovaj je oblik doslovni prijevod hrvatske riječi *koronizacija* te kao takav ne mora nužno postojati u engleskom jeziku.

DUDÁS ELŐD
(Budapest, Magyarország)

Kajkavska grafija u 18. stoljeću

Sažetak: Povijesni razvoj kajkavske grafije počinje s drugom polovicom 16. stoljeća, kada su objavljene prve tiskane knjige na kajkavskom jeziku. Time su položeni temelji kajkavske grafije. U 17. stoljeću dolazilo je do usustavljanja i normiranja kajkavske grafije, međutim uporaba je pojedinih grafema ostala nepromijenjena te je slijedila uzus prvih knjiga. Kajkavska grafija 18. stoljeća već je dosljedno normirana sa sitnim odstupanjima. Najveću je poteškoću za kajkavske pisce značilo označavanje fonema /s/ i /ʃ/, što je ostalo problematično i u 18. stoljeću.

Ključne riječi: hrvatski jezik, kajkavska grafija, uporaba grafema, mađarski utjecaj, mađarska grafija

Latinica u Hrvata

Počeci

Latinica je bila treće pismo koje su upotrebljavali Hrvati. Ako se govori o hrvatskoj pismenosti, onda primarnost pripada glagoljici, a u slučaju pismenosti na bilo kojem drugom jeziku to ne vrijedi jer se u latinskoj pismenosti hrvatskog srednjovjekovlja pojavljuje već od druge polovice 9. stoljeća (*Trpimirova darovnica* iz 852. g.). Latinska se pismenost njegovala u benediktinskim i drugim samostanskim i katedralnim skriptorijima u Zadru i Splitu, na Rabu i Osoru (HERCIGONJA 1994: 42). Međutim prvi latinični spomenici hrvatske pismenosti potječu tek iz 14. stoljeća: *Red i zakon sestara dominikanki* iz 1345. g., *Šibenska molitva* iz druge polovice 14. stoljeća, *Korčulanski lekcionar* (druga polovica 14. stoljeća), *Žića svetih otaca* (druga polovica 14. stoljeća) i *Cantilena pro Sabatho* iz 1385. g. Tada su se glagoljica i ćirilica/bosančica upotrebljavale već stoljećima. Unatoč tomu latinica se tijekom 15. stoljeća proširila na čitavom hrvatskom jezičnom području (VINCE 1978: 72) i polako preuzimala vodeću ulogu glagoljice u hrvatskoj pismenosti te ju je naposljetku i istisnula.

Sjeverna tradicija latinice

Hrvatska je latinica imala dvojnu tradiciju, koja je bila njezino najvažnije obilježje stoljećima. To se smatra prirodnom posljedicom političke, gospodarske i crkvene podijeljenosti Hrvatske na jug i sjever. Razvila su se dva sustava latinične grafije, tj. dvije tradicije (južna i sjeverna), koje je obilježavao različit izgovor crkvenog latinskog jezika. Na razvoj kajkavske grafije utjecala

je sjeverna tradicija jer se kajkavsko narječje u povijesnom smislu govori na sjevernim dijelovima Hrvatske. Ključnu je ulogu igrala Zagrebačka biskupija koju je osnovao ugarski kralj Ladislav oko 1094. g. Na području Zagrebačke biskupije izgovor je latinskih glasova pratio mađarski uzus. U srednjovjekovnom se mađarskom jeziku lat. /s/ izgovaralo kao [ʃ], a u međusamoglasničkom položaju i rjeđe na početku riječi kao [ʒ], npr. lat. *sanctus* 'svetac' > mađ. *sanktus* > hrv. *šanktuš*; lat. *rosa* 'ruža' > mađ. *rózsa* > hrv. *roža*, lat. *synagoga* 'sinagoga' > mađ. *zsinagóga* > hrv. *žinagoga*. Mađarska se izgovorna inačica latinskog /s/ dakako odražava i u latinskim vlastitim imenima i posuđenicama, npr. lat. *Moses* > mađ. *Móses* [Mo:ʒeʃ] > hrv. *Možeš*, lat. *Kaifas* > mađ. *Kaifas* > hrv. *Kaifaš*, lat. *fundus* > mađ. *fundus* > hrv. *funduš*, lat. *patronus* > mađ. *patrónus* > hrv. *patronuš* (HADROVICS 1977: 15)¹. Liturgijske su knjige u Zagrebačku biskupiju stizale mađarskim posredovanjem, a tako je naravno bila prihvaćena i mađarska izgovorna inačica latinskih glasova. Razlog toga jest to da je Zagreb bio pod nadzorom Ostrogonске, poslije Kalačke nadbiskupije jer je Zagrebačka nadbiskupija nastala tek 1852. g.

1. tablica: Grafemi sjeverne tradicije

fonem	grafemi
/ts/	ch, cz
/tʃ/	ch, cs, cf, ts, tf
/ć/	ch
/đ/	gy, gi, dy, dgy
/dʒ/	gy, gi, dy, dgy
/ʎ/	ly, li
/ɲ/	ny, ni
/s/	z, sz, fz
/ʃ/	s, f, ss, ff
/z/	z
/ʒ/	s, f

(usp. HADROVICS 1994: 11).

Kajkavska grafija

Uvodne napomene

Kajkavska grafija jest naziv za hrvatsku latiničnu grafiju koja se primjenjivala u kajkavskim knjigama, točnije u izdanjima od prve tiskane

¹ Ovaj se rad nalazi u rukopisnoj ostavštini akademika Lászla Hadrovicsa na Katedri za slavensku filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Loránda Eötvösa u Budimpešti. Riječ je o profesorovu izlaganju na međunarodnom znanstvenom skupu održanom od 8. do 11. studenog 1977. g. u Veneciji.

knjige (*Decretum*, 1574. g.) do tridesetih godina 19. stoljeća, kada je nastala prva zajednička hrvatska latinična grafija zahvaljujući pravopisnim reformama Ljudevita Gaja. Ta se grafija oblikovala u prvim tiskanim knjigama iako to ne znači da poslije nije doživjela promjene. Način pisanja prvih autora bio je uzor i za pisce 17., čak i 18. stoljeća, a u međuvremenu je dolazilo do primjene novih grafema i manjih preciziranja pri uporabi pojedinih.

Kajkavska se grafija temelji na sjevernoj tradiciji hrvatske latinice, dakle obilježava ju mađarski izgovor lat. /s/ kao [ʃ] ili [ʒ]. Iz toga slijedi da je mađarski utjecaj u njoj očit, što se odnosi i na označavanje pojedinih fonema mađarskim grafemima. Razloge mađarskog utjecaja Antun Šojat objašnjava ovako: „*Vjekovna povezanost s Mađarima, odvojenost, politička i stvarna, od dalmatinskih Hrvata i utjecaja talijanske kulture, odbojnost prema njemačkoj kulturnoj sferi, reprezentiranoj politikom carske Austrije, upućuju prve kajkavske pisce na široko otvaranje vrata mađarskom utjecaju, pa su oni, u tom smislu, prihvatili i označavanje svojih glasova grafemima i načinom bilježenja paralelnih ili sličnih mađarskih glasova.*” (ŠOJAT 1970: 266). Svakako treba istaknuti i njemački utjecaj, koji se također očituje u kajkavskoj grafiji.

Istaknuti mađarski slavist, István Kniezsa, mišljenja je da je kajkavska grafija svjesno pratila mađarski uzus od rukopisnih latinskih povelja sve do 17. stoljeća (KNIEZSA 1936: 199). Međutim mađarska je grafija tijekom 17. stoljeća doživjela niz reformi koje se ne pojavljuju u kajkavskim knjigama jer kajkavski pisci primjenjuju tradicionalno označavanje pojedinih fonema, što se najbolje očituje u označavanju fonema /ʃ/ i /ʒ/ (KNIEZSA 1936: 199).

László Hadrovics, najveći mađarski kroatist, također se bavio kajkavskom grafijom u svojoj antologiji kajkavske književnosti iz 1964. g. Uputio je na mađarski izgovor latinskih glasova i neposredno preuzimanje pojedinih mađarskih dvoslova i troslova, a ponekad je došlo i do nekih promjena u njima (HADROVICS 1964: 10).

Olga Šojat, odlična istraživačica kajkavske književnosti, o kajkavskoj grafiji tvrdi da se temelji na mađarskoj grafiji, a što potkrepljuje važnom razlikom da u kajkavskim knjigama ne pronalazimo dijakritičke znakove (ŠOJAT 1977: 12). Dodaje još to da je ta grafija ostala gotovo nepromijenjena za tri stoljeća.

Razvoj kajkavske grafije

Prema usporednim pojavama i zajedničkim obilježjima povijesni razvoj kajkavske grafije može se podijeliti na četiri razdoblja:

- I. razdoblje (druga polovica 16. stoljeća) – počeci kajkavske grafije
- II. razdoblje (17. stoljeće) – usustavljanje norme kajkavske grafije
- III. razdoblje (18. stoljeće) – normirana kajkavska grafija s pojedinim reformama
- IV. razdoblje (prva desetljeća 19. stoljeća) – pad kajkavske grafije, pobjeda pravopisnih reformi Ljudevita Gaja.

Ishodište je za razvoj kajkavske grafije naravno I. razdoblje, tj. druga polovica 16. stoljeća, kada su objelodanjene prve tri kajkavske knjige.

2. tablica: Grafemi kajkavske grafije u 16. stoljeću

	/tʂ/	/tʃ/	/d̂/	/l̂/	/ɲ/	/s/	/ʃ/	/z/
PD 1574	⟨cz⟩, ⟨ccz⟩	⟨ch⟩	⟨gi⟩	⟨li⟩, ⟨ly⟩	⟨ni⟩	⟨sz⟩, ⟨ß⟩	⟨f⟩, ⟨ff⟩, ⟨s⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩
VK 1578	⟨cz⟩	⟨ch⟩	⟨gi⟩	⟨li⟩	⟨ni⟩	⟨z⟩, ⟨sz⟩, ⟨fz⟩	⟨f⟩, ⟨ff⟩, ⟨s⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩
VP 1586	⟨cz⟩	⟨ch⟩	⟨g⟩ ⟨gi⟩	⟨li⟩	⟨ni⟩	⟨sz⟩, ⟨fz⟩, ⟨z⟩	⟨s⟩, ⟨f⟩, ⟨ff⟩	⟨f⟩, ⟨sh⟩, ⟨s⟩

Navedeni grafemi potvrđuju činjenicu da je označavanje fonema /tʂ/, /tʃ/, /l̂/, /ɲ/ i /ʃ/ sasvim dosljedno i zajedničko svim trima knjigama iako su uočljive sitne razlike. Očit je velik broj dvoslova, a pojavljuje se čak i jedan troslov. Krajem 16. stoljeća još ne možemo govoriti o usustavljenoj kajkavskoj grafiji, međutim prvo je razdoblje itekako važno jer se smatra ishodištem razvoja drugog razdoblja.

II. razdoblje, dakle 17. stoljeće, u povijesnom je razvoju kajkavske grafije imalo ključnu ulogu. S jedne se strane povećava broj tiskanih knjiga, što olakšava njezino istraživanje. S druge strane vidi se naslanjanje na grafijsku tradiciju prošlog stoljeća, a pojavljuju se i neki novi grafemi. To je vrijeme formiranja kajkavske grafijske norme koju će naslijediti sljedeće razdoblje. Pokušaj usustavljivanja kajkavske grafije nalazimo u molitveniku Nikole Krajačevića (*Molitvene knyisicze*, Graz, 1640. g.), gdje autor predlaže konkretna rješenja za označavanje pojedinih fonema (FARKAŠ–ĆURAK 2016: 98). Zagrebački biskup Petar Petretić u pogovoru prijevoda evanđelja Nikole Krajačevića (*Szveti Evangeliomi*, Graz, 1651. g.) ugleda se u mađarsku grafiju (FARKAŠ–ĆURAK 2016: 98).

3. tablica: Grafemi kajkavske grafije u 17. stoljeću

/tʂ/	/tʃ/	/d̂/	/l̂j/	/ɲj/	/s/	/ʃ/	/z/
⟨cz⟩	⟨ch⟩, ⟨cʃ⟩	⟨gy⟩, ⟨gj⟩, ⟨gi⟩	⟨ly⟩, ⟨li⟩	⟨ny⟩, ⟨nj⟩, ⟨ni⟩	⟨fz⟩, ⟨z⟩, ⟨sz⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩, ⟨ff⟩, ⟨fs⟩, ⟨ss⟩, ⟨ß⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩

Označavanje je fonema /tʂ/, /tʃ/ i /z/ veoma dosljedno. Za /tʂ/ je bio u uporabi tek jedan grafem, za /tʃ/ isto dosljedno jedan, a jedino se u Krajačevićevu

prijevodu evanđelja pojavljuje drugi grafem, tj. ⟨cl⟩. Fonem /z/ pisao se dvama grafemima bez bilo kakvih pravila glede uporabe jednog ili drugog. Označavanje palatala /đ/, /lj/ i /nj/ najčešće prati mađarski uzus, dakle nalazimo ⟨gy⟩, ⟨ly⟩, ⟨ny⟩, a drugi su grafemi tek slučajni. Najveću nedosljednost zrcali način označavanja fonema /s/ i /ʃ/. Za njih postoji više grafema čija uporaba nije posve dosljedna. Usporedba ovoga grafijskog sustava sa sustavom iz 16. stoljeća pokazuje kontinuitet, ali naravno ima i nekoliko odstupanja, što se očituje prije svega u označavanju palatalnih suglasnika. S najvećim se izazovima kajkavska grafija suočila u označavanju fonema /s/ i /ʃ/, što potvrđuje velik broj grafema i njihova nedosljedna uporaba.

Kajkavska grafija u 18. stoljeću

Treće razdoblje povijesti kajkavske grafije ističe se s nekoliko bitnih razlika u usporedbi s prijašnjim stoljećima. Sedamnaesto su stoljeće kajkavske književnosti obilježavala nabožna djela (molitvenici, pjesmarice, prijevod evanđelja), a pokušaji stvaranja djela svjetovnoga sadržaja bili su rijetki. Jedina iznimka zapravo je prvi kajkavski rječnik, tj. Habledićev *Dictionar* (Graz, 1670. g.). Osamnaesto stoljeće svakako znači novost u razvoju kajkavske pisane riječi zato što se odlikuje žanrovskom raznolikošću. Uz nabožnu se književnost stoga objavljuju i prvi školski udžbenici na kajkavskom, izlaze novi rječnici, objelodanjene su prve kajkavske gramatike te još neka djela svjetovnog sadržaja. Gramatike i neki udžbenici sadržavaju i pravopisna pravila, odnosno pravopisne savjete, a najopsežniju raspravu o kajkavskoj grafiji ipak nalazimo u Šušnik-Jambrešićevu rječniku iz 1742. g. Andrija Jambrešić, priređivač rječnika *Lexicon Latinum*, napisao je raspravu s naslovom *Manuductio ad croaticam orthographiam* 1732. g., koja je objavljena i u rječniku kao dodatak s neznatnim izmjenama (FARKAŠ–ĆURAK 2016: 98) iako pod naslovom *Orthographia seu recta Croaticae (generali vocabulo Illyricae, seu Szlavonicae) scribendi ratio* (HADROVICS 2002: 57). Jambrešić u svom radu predlaže konkretne grafeme za označavanje pojedinih fonema (v. HADROVICS 2002: 57–58). Međutim ni sâm ih nije bio dovoljno svjestan, što Hadrovics objašnjava time da tiskare nisu imale potrebne alate za tiskanje očekivanih grafema (HADROVICS 2002: 57).

Vrijedne podatke sadrže i pravopisni udžbenici iz 1779. i 1780. g., koji su detaljno opisani u monografiji Pétera Királya (KIRÁLY 2003: 164–167).

Prikaz grafema 18. stoljeća

U svrhu prikazivanja grafema u kajkavskim knjigama 18. stoljeća odlučili smo se za korpus koji se sastoji od osam knjiga šest autora. Takav korpus već može pružiti jasan pregled o primijenjenim grafemima te je već prilično bogat time što se u njemu odražavaju određene tendencije. Pri izboru tekstova/izvora usredotočili smo se na žanrovsku raznolikost jer se pojavljuju nabožne i svjetovne knjige te dva kapitalna djela kajkavske leksikografije.

4. tablica: Grafemi kajkavske grafije u 18. stoljeću

	/tʂ/	/tʃ/	/đ/	/lj/	/nj/	/s/	/ʃ/	/z/
ŠH 1724	⟨cz⟩	⟨ch⟩, ⟨cf⟩	⟨gy⟩	⟨lj⟩, ⟨li⟩	⟨nj⟩, ⟨ni⟩	⟨fz⟩, ⟨z⟩, ⟨sz⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩, ⟨ff⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩
BG 1740	⟨cz⟩	⟨ch⟩	⟨gy⟩	⟨ly⟩	⟨ny⟩	⟨fz⟩, ⟨sz⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩, ⟨ff⟩, ⟨fs⟩, ⟨sf⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩
MZ 1742	⟨cz⟩	⟨ch⟩	⟨dy⟩, ⟨gy⟩	⟨ly⟩	⟨ny⟩	⟨fz⟩, ⟨sz⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩, ⟨ff⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩
JL 1742	⟨cz⟩	⟨ch⟩	⟨dy⟩, ⟨gy⟩	⟨ly⟩	⟨ny⟩	⟨fz⟩, ⟨sz⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩, ⟨fs⟩, ⟨ʃ⟩	⟨f⟩
ZM 1768	⟨cz⟩	⟨ch⟩	⟨gy⟩	⟨ly⟩	⟨ny⟩	⟨fz⟩, ⟨z⟩, ⟨sz⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩, ⟨ff⟩, ⟨fs⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩
LV 1776	⟨cz⟩	⟨ch⟩	⟨gy⟩, ⟨dj⟩, ⟨dy⟩	⟨ly⟩	⟨ny⟩	⟨fz⟩, ⟨z⟩, ⟨sz⟩	⟨ss⟩, ⟨ff⟩, ⟨fs⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩
MH 1779	⟨cz⟩	⟨ch⟩	⟨dy⟩	⟨ly⟩	⟨ny⟩	⟨fz⟩, ⟨z⟩, ⟨sz⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩, ⟨ff⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩
LN 1788	⟨cz⟩	⟨ch⟩	⟨dy⟩, ⟨gy⟩	⟨ly⟩	⟨ny⟩	⟨fz⟩, ⟨z⟩	⟨f⟩, ⟨s⟩, ⟨ff⟩, ⟨sh⟩	⟨f⟩

Analiza grafema

Nakon prikaza grafijskog sustava 16. i 17. te 18. stoljeća možemo potvrditi da je označavanje fonema /tʂ/, /tʃ/ i /z/ ostalo gotovo nepromijenjeno zato što su pisani istim grafemima u gotovo svim djelima, dakle /tʂ/ dvoslovom ⟨cz⟩, /tʃ/ dvoslovom ⟨ch⟩, a /z/ grafemima ⟨f⟩ i/ili ⟨s⟩. Štefan Škvorc fonem /tʃ/ označava i dvoslovom ⟨cf⟩, koji nalazimo ranije u 17. stoljeću u Krajačevićevim evanđeljima.

Palatalni suglasnici /đ/, /lj/ i /nj/ najčešće su označeni dvoslovima ⟨gy⟩, ⟨ly⟩ i ⟨ny⟩. Međutim nalazimo i druga rješenja koja su zamjetna i u 17. stoljeću.

Sasvim novi grafem jest ⟨dy⟩ za fonem /ď/, koji se prvi put pojavljuje 1742. g. u Šušnik-Jambrešićevu rječniku i u Juraja Muliha. Pojavljuje se i u kasnijim djelima 18. stoljeća iako uvijek uz druge grafeme za fonem /ď/.

Razvidno je da su kajkavski pisci najviše poteškoća imali s fonemima /s/ i /ʃ/ i u prethodnim stoljećima, a to se nastavilo i u 18. stoljeću. Nepotpuno označavanje tih fonema možemo objasniti činjenicom da je njihovo označavanje bilo nepotpuno i u mađarskoj grafiji, odnosno u mađarskim grafijskim sustavima. Fonem /s/ pisali su dvoslovima ⟨fz⟩ i ⟨sz⟩, a neki autori i slovom ⟨z⟩. Dosljednost u označavanju pak potvrđuje to da kada je riječ tiskana velikim slovima, onda je uvijek pisana grafemom ⟨sz⟩, i to u svim djelima. Uzus je takav bio i ranije, tj. u 17. stoljeću. Zanimljiva je pritom činjenica da grafema ⟨z⟩ nema u dvama rječnicima.

U vezi s označavanjem /ʃ/ također možemo donijeti nekoliko zaključaka. Kao i /s/ i /ʃ/ je dosljedno označeno grafemom ⟨s⟩ kada je riječ tiskana velikim slovima. U međusamoglasničkom položaju također je dosljedno označavanje fonema geminatom, tj. sa ⟨ss⟩, ⟨ff⟩, ⟨fs⟩ i ⟨sf⟩. Suglasnički skup šč od psl. *skj, *stj u svim je izvorima označen grafemima ⟨fch⟩, npr. *gufche* (ŠH 1724), *ifches* (BG 1740), *dopufcha* (MZ 1742), *jofche* (JL 1742, LV 1776). U Lalangovu djelu iz 1788. g. nalazimo i grafem ⟨sh⟩ za fonem /ʃ/. Taj dvoslov ranije se pojavljuje tek u Krajačevićevu molitveniku iz 1640. g., zato se njegova uporaba smatra slučajnom.

Podrijetlo grafema

Grafem ⟨cz⟩ za označavanje fonema /tʃ/ mađarskog je podrijetla. U mađarskoj se grafiji prvi put pojavljuje oko 1430. g. i vjerojatno odražava utjecaj Husova češkog pravopisa (KNIEZSA 1952: 15, KNIEZSA 1959: 7). U mađarskoj grafiji rabio se do 1922. g.

Grafem ⟨ch⟩ također je mađarskog podrijetla. U mađarskoj grafiji pojavljuje se već u 11. stoljeću, a širi se s katoličkom grafijom 16. stoljeća (KNIEZSA 1959: 6, 8, 20). Drugi dvoslov ⟨cf⟩ u mađarskoj se grafiji nikad nije rabio, a prisutan je u nekim prekomursko-slovenskim knjigama 18. stoljeća (v. DUDÁS 2012: 155).

Dvoslovi ⟨gy⟩, ⟨ly⟩ i ⟨ny⟩ mađarskog su podrijetla i također čine sustavni dio suvremene mađarske grafije. U mađarskoj grafiji nalazimo ih od 13. stoljeća, a širili su se s protestantskom grafijom Gáspára Heltaija (KNIEZSA 1959: 34). Drugi grafemi za označavanje fonema /ď/, /lj/ i /nj/ poznati su u južnoj tradiciji hrvatske latinice (v. VONČINA 2002: 288). Najvjerojatnije zrcale talijanski utjecaj, što je razumljivo jer je poznato koju je važnu ulogu imala talijanska grafija u razvoju latinice na jugu Hrvatske.

Grafemi ⟨fz⟩, ⟨z⟩ i ⟨sz⟩ za označavanje fonema /s/ mađarskog su podrijetla. Najstariju tradiciju u mađarskoj grafiji ipak je imao ⟨z⟩, koji nalazimo u sred-njovjekovnim tekstovima i vjerojatno je njemačkog podrijetla (KNIEZSA 1959: 7–8). Dvoslov ⟨fz⟩ bila je inovacija protestantske grafije 16. stoljeća koju je

sastavio pisac i vlasnik tiskare Gáspár Heltai (KNIEZSA 1959: 18). Dvoslov ⟨sz⟩ koji je dio i suvremene mađarske grafije također je plod protestantizma u Ugarskoj. Prvi ga put nalazimo u 16. stoljeću u autora prve mađarske gramatike, Jánosa Sylvestera, i vjerojatno je njemačkog podrijetla (KNIEZSA 1959: 34).

Od grafema za označavanje fonema /ʃ/ jedino slovo ⟨s⟩ zrcali mađarski utjecaj. To slovo dio je i suvremene mađarske grafije, a pojavljuje se već u prvim srednjovjekovnim mađarskim tekstovima (KNIEZSA 1959: 34). Sve ostale grafeme možemo pripisati utjecaju njemačke tiskarske tradicije (v. SCHMIDT 2000: 304–305). Slično je i u prekomursko-slovenskim knjigama (v. DUDÁS 2012: 156).

Grafemom ⟨s⟩ bilježio se i fonem /ʒ/, što također upućuje na mađarski utjecaj. To slovo za /ʒ/ nalazimo u pravopisu *Ortographia Ungarica* Mátyása Dévaija Bíróa *Ortographia Ungarica* (Krakov, 1549. g.) (KNIEZSA 1959: 17). Slovo ⟨l⟩ za /ʒ/ vjerojatno možemo objasniti utjecajem njemačke tiskarske tradicije. Slično je i u prekomursko-slovenskim knjigama (DUDÁS 2012: 156–157).

Zaključak

Povijesni razvoj kajkavske grafije počinje s drugom polovicom 16. stoljeća, kada su objavljene prve tiskane knjige na kajkavskom jeziku. Time su položeni temelji kajkavske grafije. U 17. stoljeću dolazilo je do usustavljanja i normiranja kajkavske grafije, međutim uporaba je pojedinih grafema ostala nepromijenjena te je slijedila uzus prvih knjiga. U 18. stoljeću povećala se žanrovska raznovrsnost kajkavskih izdanja. Uz nabožne knjige izlaze gramatike, rječnici, udžbenici i knjige svjetovnog sadržaja. Zahvaljujući Andriju Jambrešiću objavljena je i prva pravopisna rasprava o kajkavskoj grafiji, a kratke pravopisne upute nalazimo i u prvim kajkavskim gramatikama i školskim udžbenicima. U vezi s pojedinim grafemima možemo zaključiti da su ⟨cz⟩, ⟨ch⟩, ⟨lz⟩, ⟨z⟩, ⟨sz⟩, ⟨l⟩ i ⟨s⟩ prisutni u kajkavskoj grafiji od samih početaka. Dvoslovi ⟨gy⟩, ⟨ly⟩ i ⟨ny⟩ za označavanje palatalnih suglasnika /đ/, /lj/ i /nj/ usustavljeni su u 17. stoljeću, a u 18. stoljeću za njih nalazimo i nekoliko novih rješenja. Kajkavska grafija 18. stoljeća već je dosljedno normirana sa sitnim odstupanjima. Najveću je poteškoću za kajkavske pisce značilo označavanje fonema /s/ i /ʃ/, što je ostalo problematično i u 18. stoljeću. Glede podrijetla grafemâ očit je mađarski utjecaj, a ima i dosta tragova njemačke tiskarske tradicije, prije svega u označavanju fonema /ʃ/. Sljedeći korak istraživanja bilo bi postavljanje kajkavske grafije u širi srednjoeuropski kontekst, a neke usporedbe s prekomursko-slovenskom tradicijom iznijeli smo već u ovom radu.

Literatura i izvori

- BG 1740 = BELLOSZTENECZ J. *Gazophylacium Illyrico-Latinum. Zagrebiae, 1740.*
- DUDÁS E. 2012 = DUDÁS E. *Primerjalni zgodovinski razvoj prekmurskega črkopisa // Jezikoslovni zapiski 2012 № 18/2. 149–165.*
- FARKAŠ L., ČURAK, S. 2016 = FARKAŠ L., ČURAK S. *Mađarsko-hrvatska grafijska prožimanja u prošlosti // Od početaka do danas. 120 godina kroatistike u Budimpešti. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2016. 95–110.*
- HADROVICS L. 1964 = HADROVICS L. *Kajkavische Literatur. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1964.*
- HADROVICS L. 1977 = HADROVICS L. *Gemeinsame Traditionen der Latinität in Ungarn und Kroatien. Budapest, 1977. [Rukopis.]*
- HADROVICS L. 1994 = HADROVICS L. *Segédkönyv a szlavisztikai szemináriumi gyakorlatokhoz. Hadrovics László válogatott írásaiból. / Hilfsbuch zu slavistischen Seminarübungen Ausgewählte Schriften von László Hadrovics. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994.*
- HADROVICS L. 2002 = HADROVICS L. *A régi horvát szótáriróadalom. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2002.*
- HERCIGONJA E. 1994 = HERCIGONJA E. *Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja. Zagreb: Matica hrvatska, 1994.*
- JL 1742 = JAMBRESSICH A. *Lexicon Latinum interpretatione Illyrica, Germanica et Hungarica locuples in usum potissimum studiosae juventutis digestum. Zagreb, 1742.*
- KIRÁLY P. 2003 = KIRÁLY P. *A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása. A budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai. 1777 – 1848. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2003.*
- KNIEZSA I. 1936 = KNIEZSA I. *Magyar hatás a kaj-horvát keresztény terminológiában // Nyelvtudományi Közlemények 1936. № 50. 191–199.*
- KNIEZSA I. 1952 = KNIEZSA I. *Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1952.*
- KNIEZSA I. 1959 = KNIEZSA I. *A magyar helyesírás története. Budapest: Tankönyvkiadó, 1959.*
- LN 1788 = LALANGUE J. *Nachin jabuke zemelyszke szaditi y nye na haszen obernuti : za volyu polyakov Horvatzkoga orszaga ochituvan. Vu Zagrebu: pritzkan pri Josefu Karolu Kotche, 1788.*
- LV 1776 = LALANGUE J. *Medicina ruralis illiti Vrachtva ladanyszka : za potrebochu musev y sziormakov horvatczkoga orszaga y okolu nyega, blisnessh meszt. Vu Varasdinu: stampana po Ivanu Thomassu plem. od Trattner, 1776.*
- MH 1779 = MULIH J. *Hrana nebezka vu pobosneh molitvah, litaniah, popevkah y lyublenom nagovarjanyu na szvetost sivlenya poztavlena : vszem kerschanzken putnikom vu nebezku domovinu putujuchem szerdcheno preporuchena. Vu Zagrebu : stampane po Ivanu Thomassu plem. od Trattnerov, czes. kraly. apost. szvetl. stamparu, 1779.*
- MZ 1742 = MULIH J. *Duhovno zerczalo. Vu Zagrebu, 1742.*
- PD 1574 = PERGOSSICH I. *Decretum koterogaie Verbewczy Istvan diachki popiszal, : a poterdilghaie Lasslou koterie za Mathiassem kral bil zeusse ghosspode i*

- plemenitih hotieniem koteri pod Wughersske corune ladanie slisse. Staman u Nedelischu, 1574.
- SCHMIDT W. 2000 = SCHMIDT W. Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. Stuttgart: S. Hinzl Verlag, 2000.
- ŠH 1724 = ŠKVORCZ S. Hasznovito z-szlatkem. Zagrebiae, 1724.
- ŠOJAT A. 1970 = ŠOJAT A. Pravopis stare kajkavske književnosti // Filologija, 1970. № 6. 265–282.
- ŠOJAT O. 1977 = ŠOJAT O. Pregled hrvatske kajkavske književnosti od polovine XVI. do polovine XIX. stoljeća i jezično-grafijska borba uoči i za vrijeme ilirizma // Hrvatski kajavski pisci I. Zagreb: Matica hrvatska, 1977. 11–69.
- VINCE Z. 1978 = VINCE Z. Putovima hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: SNL, 1978.
- VK 1578 = VRAMEC A. Kronika. V Lublane : Po Iuane Manline, 1578.
- VONČINA J. 2002 = VONČINA J. Latinicom pisani hrvatski tekstovi od Marulića do Gaja // Forum 2002. № 41. 286–321.
- VP 1586 = VRAMEC A. Postilla na vsze leto po nedelne dni vezda znouich szpraulena szlouenszkim iezikom. Varasdin, 1586.
- ZM 1768 = Zerczalo Marianszko kipa Jeruzalemszkoga vu Krapine pod Bratovschinum sz. Skapulara podignyenoga. Vu Zagrebu : stampano pri Andrasu Besse purgaru klobucharu, per Anton Jandera factorem, 1768.

The Kajkavian Croatian orthography in the 18th century. This paper presents the historical development of Kajkavian Croatian orthography in the 18th century. The main goal of this paper is to present the tradition of the Kajkavian Croatian orthography, as well as to introduce the use of graphemes in detail. During the Middle Ages the church counted as the centre of the literacy, thus it is obvious that the ecclesiastical Latin pronunciation defined the evolution of the individual national languages' orthographies. From this point of view, the Croatian is a special case, as in the Middle Ages the Southern Croatian areas were strongly affected by the Italian, while in the northern areas, overlapping the Archdiocese of Zagreb, a strong Hungarian impact can be observed. In the northern areas the Latin /s/ phoneme is pronounced in a Hungarian way, as [ʃ] or [ʒ].

Keywords: Croatian language, Kajkavian Croatian orthography, use of graphemes, Hungarian influence, Hungarian orthography

GYÖRFI BEÁTA
(Szeged, Magyarország)

Как мне тебя назвать? Статус глагольных энклитик в текстах русских летописей

Аннотация: Существование класса глагольных энклитик в древнерусском языке представляется спорным вопросом. В статье предлагается ответ на поставленный в заглавии вопрос. С этой целью дается краткий обзор связей, перечисляются особенности энклитик и при помощи НКРЯ рассматриваются грамматические свойства глагольных связей в текстах шести летописей.

Ключевые слова: энклитики, связи, перфект, летописи, корпусный анализ

1. Постановка проблемы

Древнерусский, или древневосточнославянский, язык, т. е. предок современного русского, украинского, белорусского и русинского языков, – в противоположность современному языковому состоянию – характеризовался наличием энклитических форм. Эти формы представляются интересными, поскольку, несмотря на свободный словопорядок, их синтаксическое положение было зафиксировано: они занимали вторую позицию (так называемую 2Р) в предложениях, т. е. они располагались всегда после первого слова клаузы.

Энклитики представляют собой разнообразную группу в том смысле, что различаются дискурсивные, прономинальные и глагольные энклитики. Каждый тип обладает особыми морфологическими и семантическими свойствами.

В центре данного анализа находятся глагольные энклитики. В русской лингвистике глагольные связи долгое время не воспринимались как энклитики, и в современной научной литературе нет единогласия относительно разграничения энклитической и связочной функции этих элементов. Следовательно, по этой теме мы находим мало исследований.

Данная статья ставит целью выявить функциональные характеристики формы настоящего времени древнерусской связи *быти*. Делается попытка найти ответ на вопрос, можно ли действительно считать данные формы энклитиками. Вторая часть статьи посвящена характеристике энклитик: описанию их общих свойств, рассмотрению одного из видов энклитик – глагольных энклитик; также в рамках данной части определяются положения, на основе которых можно считать изучаемые

формы энклитиками. В третьей части нашей работы представляется система древнерусских связок, а также приводятся мнения относительно их синтаксического статуса. В четвертой части содержится само исследование: опираясь на НКРЯ, исследуется синтаксическое поведение данного типа связок в текстах шести древнерусских летописей. В последней части подводятся итоги анализа.

2. Свойства клитик

Определение класса клитик – если это вообще возможно – является затруднительным. С одной стороны, клитики обладают особыми свойствами не на одном, а на нескольких уровнях языка: на фонологическом, морфологическом, синтаксическом, семантическом, лексическом и даже прагматическом. Далее ситуацию усугубляет то, что клитики касаются разных пластов языка. Они представляют собой функционально гетерогенный класс слов: существуют прономинальные клитики, глагольные клитики разного рода, дискурсивные клитики для выражения эвиденциальности или значений, связанных с дискурсом или же контекстом, клитики-наречия или даже клитики союзы (SPENCER, LUIS 2012: 30–37).

То, что на самом деле воспринимается клитиком, варьируется от исследования к исследованию, однако в исследованиях выделяются следующие общие фонологические и синтаксические свойства:

1. Клитики являются просодически слабыми элементами, поскольку они не обладают самостоятельной просодической структурой. На практике это означает, что они не могут быть ударными, следовательно, не могут быть фокусированы в конструкциях. Таким образом, они должны прикрепляться к другому, «просодически полному», ударному слову, чтобы произноситься. В зависимости от положения клитики относительно главного слова различаются проклитики и энклитики.

2. Синтаксически клитики представляют собой слова, которые занимают особые синтаксические позиции в предложении. По синтаксическим свойствам Цвики (ZWICKY 1977) различает специальные и простые клитики. Синтаксическое положение специальных клитик определяется совершенно иными принципами, чем у других элементов. Они, как правило, занимают или вторую позицию в предложении (2P), или поствербальную (V2). Положение простых клитик не регулируется особыми принципами, кроме фонологических (FRANKS 1999: 4, HALPERN 2007: 78, SPENCER, LUIS 2012: 18).

2.1. Глагольные клитики

В лингвистической литературе разграничивают особый тип клитик – глагольные клитики. Наиболее изученные из них – вспомогательные глаголы английского языка. В английском вспомогательные глаголы обладают и полными и сокращенными формами, которые воспринимаются

и по своим просодическим, и по дистрибутивным свойствам клитиками (ANDERSON 2008).

Глагольные клитики также существуют и в некоторых современных славянских языках (например, в сербском и хорватском). Они участвуют в образовании сложных временных форм. Их статус (т. е. то, являются ли они клитиками или вспомогательными глаголами) зависит от конструкции и от языка (FRANKS, KING 2000: 8).

3. Система древнерусских связок

В древнерусском языке существовали несколько сложных глагольных конструкций (перфект, плюсквамперфект, сослагательное наклонение и будущее время), в составе которых участвовали связки в первую очередь от глагола *быти* (его формы настоящего времени или аориста). Подобные формы существовали и в южно- и западнославянских языках. После разрушения старой претеритальной системы формы настоящего времени связки *быти* прошли разные пути исторического развития: в западно- и южнославянских языках через грамматикализацию они превратились в аффиксы или в клитики, в то время как из восточнославянских языков они исчезли (JUNG 2020).

Особый интерес для настоящего исследования представляют формы настоящего времени глагола *быти*. Парадигма глагола представлена в следующей таблице:

	единственное число	множественное число	двойственное число
1-е лицо	ѣсмь, ѣси	ѣсмѣ ѣсѣ, ѣсмо, ѣсмы	ѣсѣѣ
2-е лицо	ѣси, ѣси	ѣсте	ѣста
3-е лицо	ѣсть	сѣть	ѣста

Данные формы участвовали в разнообразных конструкциях.

Они выступали частью составного сказуемого наряду с существительными и прилагательными:

(1) и рѣша князю своѣмѣ / **ты ѣси** оу насѣ князь ѡдинѣ (Суздальская летопись);

(2) и всеволодѣ же призва к собѣ кнѣанѣ. / и науча молвити / **азѣ ѣсмь** велми воленѣ. (Киевская летопись).

Они участвовали в образовании форм перфекта с причастием на -л:

(3) Потом же оуслышавше Половци / како **Змирль** **иеть** **Болодинерьъ**
кназь / **присъншася** **вборзъкъ(х)**
/ и наворопиша изгоно(и) къ Барочю (Суздальская летопись).

Они участвовали в образовании «русского плюсквамперфекта» или сверхсложного прошедшего, включающего два вспомогательных глагола и -л причастие¹ (ПЕТРУХИН 2008: 213–14):

(4) тѣи **ѣси** **вѣльъ** к нама **хрѣстъ** **цѣловалъ** / **изъславъ** **пришедъ** **землю** **нашу**
повоивалъ. (Киевская летопись).

Здесь следует отметить, что связки 3-го лица (*есть, суть, еста*) мы исключаем из дальнейшего анализа. Данные формы отличаются от форм 1-го и 2-го лица тем, что они намного чаще употребляются в неслужебном значении. В такой функции они являются акцентно самостоятельными. Таким образом, связки 3-го лица гораздо чаще выступают в позициях, недопустимых для энклитик (ЗАЛИЗНЯК 2008: 233).

3.1. Мнения про статус древнерусских связок

Вопрос о статусе связки *быти* рассматривается исследователями неодинаково. В данном разделе представляются доводы противоположных сторон.

Об энклитическом характере данных связок в древних славянских языках впервые пишет Р. Якобсон: «Самые древние русские и болгарские тексты доказывают нам, что первоначально эти два языка обладали энклитическими местоименными формами, равно как энклитическими формами вспомогательного глагола, и что положение этих слов во фразе определялось законом Вакернагеля» (ЯКОБСОН 1971: 18).

Якобсон различает два класса энклитик: частицы и флективные слова. Согласно его определению флективными словами являются формы личных и рефлексивных местоимений и личные формы вспомогательного глагола (Там же. С. 17).

Вслед за Якобсоном другие лингвисты (ЗАЛИЗНЯК 2008; KOSTA, ZIMMERLING 2013) также поддерживают тезис об энклитическом характере связок. Однако сам Якобсон замечает, что не все формы глагола *быти* воспринимаются связками: «Формы презенса глагола *быть* употреблялись в качестве вспомогательного глагола только в энклитической форме, в качестве связки то в энклитической, то в оротонической форме, а в качестве самостоятельного глагола исключительно в оротонической форме» (Якобсон 1971: 20).

В системе Зализняка связочные энклитики занимают позицию энклитик ранга 8, т. е. последнее место в цепочке энклитик. Зализняк обращает

¹ Данная структура характерна для не книжных текстов.

внимание и на ограничения относительно данной группы энклитик: «С энклитиками ранга 8 связан ряд специфических проблем: 1) этот ряд словоформ имеет статус энклитик только в функции связок, тогда как в неслужебном значении (т. е. в значении существовать, иметься, пребывать, находиться) они являются акцентно самостоятельными; 2) словоформы 3-го лица (*есть, суть, еста*) использовались в качестве связок в основном лишь в книжном языке; в живом древнерусском языке они в такой функции выступали только в некоторых особых, сравнительно редких случаях» (ЗАЛИЗНЯК 2008: 36).

Ряд современных лингвистов не разделяет мнение, что древнерусские связки относятся к клитикам. Исследования Уиллиса и Юнга (WILLIS 1999; JUNG 2020) были посвящены определению грамматического статуса данных связок. Их аргументы в пользу того, что данные формы не являются энклитиками, следующие:

- 1) В большинстве случаев связки занимают вторую позицию интонационной фразы. В начале предложения им предшествует причастие, таким образом они занимают 2P или даже V2 позицию. Однако они всегда стоят справа от прономинальных энклитик. Таким образом, прономинальные энклитики «разделяют» причастие и вспомогательный глагол. Связки также могут предшествовать причастию, что приводит к появлению связки в начальной позиции без главного слова.
- 2) Вспомогательный глагол в формах перфекта остается в позиции INFL, т. е. после цепочки клитик. Таким образом, он не является составной частью цепочки.
- 3) Древнерусские связки имеют исключительно тонические формы в противоположность английскому языку, где имеются и атонические. Данное свойство указывает на то, что связки занимают начальную стадию в процессе грамматикализации, они ещё не приобрели статус клитики.
- 4) В цепочке энклитик связки занимают крайнюю правую позицию.

В конце своего анализа Юнг приходит к выводу, что «морфологические и синтаксические свойства связки дают нам основание предполагать, что данные формы на самом деле не причисляются к клитикам» (JUNG 2020).

В следующей части, учитывая просодические и синтаксические свойства форм связки *быти* в языке древнерусских летописей, попытаемся определить их статус.

4. Можно ли считать древнерусские связки настоящего времени энклитиками?

Чтобы ответить на этот вопрос, сфокусируемся на двух специфических грамматических особенностях связок: на их просодических и синтакси-

ческих свойствах. Но прежде чем перейти к анализу, представим материал и метод исследования.

4.1. Материал и метод анализа

Свойства связок мы изучаем на основе текстов шести летописей. Выбор такого корпуса может показаться на первый взгляд несколько необычным, так как летописи относятся к гибриднему регистру древнерусской письменности. В них используются формы свойственные как книжному, так и разговорному языку. Выбор между ними задается контекстом, содержанием: прямая речь отражает свойства разговорного языка, нравоучения, а фрагменты, относящиеся к церковной жизни, находятся под влиянием церковнославянского языка. Также большой вклад в языковую разнородность летописи вносят наблюдаемые в ней постепенные языковые изменения – от более ранних фрагментов к более поздним (ПЕТРУХИН 2008: 213–14; ЖИВОВ 1996).

Однако со структурной, или композиционной, точки зрения эти тексты с их погодными статьями, содержащими преимущественно обширные нарративы и диалоги (исключая религиозные размышления), пригодны для лингвистического исследования. В отличие от текста берестяных грамот, летописные тексты содержат в основном правильно построенные предложения, что, безусловно, является преимуществом для языкового анализа. Более того, благодаря своему размеру, эти рукописи могут предоставить идеальное количество данных для диахронического исследования. Таким образом, хроники, относящиеся к разным векам, облегчают отслеживание диахронических тенденций.

Для исследования были выбраны следующие шесть древнерусских летописей из исторического подкорпуса НКРЯ: Повесть временных лет (ПВЛ), Киевская летопись (КЛ), Галицкая летопись (ГЛ) и Волынская летопись (ВЛ) (по Ипатьевскому списку первой четверти XV в.), Суздальская летопись (СЛ) (по Лаврентьевскому списку XVI в.), Новгородская летопись (НЛ) (по Синодальному списку XIII–XIV вв.). В приведенном перечне летописи представлены в порядке их возникновения. Важно, однако, отметить, что, хотя данные памятники сохранились в разных, позднейших изводах, они отражают синтаксические свойства времени их написания.

Поведение форм 1-го и 2-го лица настоящего времени глагола *быти* изучается методом корпусного анализа, полагаясь на исторический корпус Национального корпуса русского языка (НКРЯ), который содержит церковнославянский, среднерусский, древнерусский подкорпусы и подкорпус берестяных грамот.

Подкорпус позволяет пользователям выполнять широкий спектр грамматических или лексических запросов после установки необходимых параметров. Интерфейс поиска дает возможность исключать или включать тексты для исследования и, таким образом, создавать

собственный подкорпус. Исследованию в корпусе способствует количественный и дистрибутивный анализ структур. Результаты поиска сопровождаются примерами содержащими и предшествующий и последующий контекст. Преимуществом применения данного средства является и то, что после установления параметров поиска, корпус предлагает все варианты изученной формы (напр.: для формы 2-го лица мн. числа настоящего времени *быти* получаем формы *ѣсте, юсте, есть.*)

Тексты шести летописей содержат 709 вхождений форм 1-го и 2-го лица настоящего времени глагола *быти* в следующем распределении:

	1-е л. ед. ч.	2-е л. ед. ч.	1-е л. мн. ч.	2-е л. мн. ч.	1-е л. дв. ч.	2-е л. дв. ч.
Волынская л.	30	28	4	4	1	
Галицкая л.	5	15	6	3		
Киевская л.	109	172	54	36	8	12
Новгородская л.	8	16	8	9		
ПВЛ	20	53	18	11	1	4
Суздальская л.	14	37	13	9		1
	186	321	103	72	10	17

Данные таблицы свидетельствуют о том, что связки избыточны в сравнительно раннем памятнике – в тексте Киевской летописи. Большое количество связок здесь определяется объемом данного памятника. Связки намного реже встречаются в поздних летописях – в текстах СЛ и НЛ.

4.2. Просодический статус связок

Просодические характеристики древнерусского языка восстановил Зализняк (2019). Он предполагает, что просодической единицей, являлась тактовая группа, т. е. одна словоформа или несколько словоформ, объединённых в просодическом отношении (ЗАЛИЗНЯК 2019: 9). Словоформы разделяются на самостоятельные, которые могут составить отдельную тактовую группу, и на клитики. Особенностью данной просодической системы является то, что в ней противопоставляются энклитомены – такие словоформы, у которых все формы безударны, и акцентно самостоятельные словоформы, содержащие ударный слог.

Согласно Зализняку выявить просодический статус древнерусских связок нам помогают два инструмента: 1) показания акцентуированных памятников (напр.: Чудовского Нового завета (ЧНЗ)); 2) наблюдения над размещением связок во фразах.

Что касается данных памятников, связки в тексте ЧНЗ являются ударными. Зализняк перечисляет ряд возможных объяснений: 1) связки

обладали только синтаксическими свойствами энклитик, но не фонологическими; 2) расстановка знаков ударения в ЧНЗ отражает книжную манеру чтения, при которой каждое слово произносилось акцентно самостоятельно; 3) данные связки являются двусложными, и даже в тех позициях, где утрачивают ударение, сохраняют некое ослабленное ударение (ЗАЛИЗНЯК 2008: 223–24).

Таким образом, можно сделать вывод, что с просодической точки зрения данные формы являлись ударными и как таковые они не требовали наличия главного слова.

4.3. Синтаксические особенности связок

Для проверки синтаксического поведения связок анализируются следующие синтаксические положения:

- связки в составе перфекта,
- связки в сочетании с прилагательными,
- связки в начале клауз,
- позиция связок относительно других энклитик,

4.3.1. Связки в формах перфекта

Самая распространенная конструкция, содержащая связки настоящего времени, – это перфект.

	формы перфекта	связка непосредственно предшествует причастию на -л	связка предшествует причастию на -л с расстоянием 1-3 слов	связка следует за причастием на -л	связка следует за причастием на -л с расстоянием 1-3 слов
Волынская л.	205	19	9	18	7
Галицкая л.	100	4	2	6	
Киевская л.	1151	110	83	83	24
Новгородская л.	152	11	8	12	1
ПВЛ	355	16	5	35	4
Суздальская л.	292	14	9	23	3

Как показывают данные таблицы, связки в формах перфекта – начиная с древнейших летописей – в подавляющем большинстве случаев пропущены. Если они присутствуют, они могут стоять как слева, так и справа

относительно причастия. Распространенным является и положение, когда другие слова проникают между ними:

(5) и приѣхавъше / видѣша Игоря лежаща / и рекоста се / оуже Игоря **ѣсте оувили** / ато похороний тѣло его (СЛ);

(6) Потомъ же оуслышавше Половци / тако **ѡмерлъ ѣсть** Володимеръ князь / присѣдшася вкортѣхъ / и наворониша изгономъ (СЛ);

(7) рекшоу емоу Данило / чѣмъ **еси** давно не **пришелъ**. / а нѣнѣ **уже еси** **пришелъ**. (ГЛ);

(8) и дорогѡвѣжъ еси оу мене ѡталъ / а ты ма тако **перѡввидилъ** / а мнѣ **ѣси** въшегородъ вдинъ далъ (КЛ).

4.3.2. Конструкции с прилагательными

Как мы уже писали выше, связки употреблялись в составных сказуемых с существительными и прилагательными. Изучение конструкций с предикативными существительными оказывается затруднительным, однако в системе корпуса можно установить поиск для прилагательных.

Подобно перфектам, и в этих структурах связка может стоять и перед прилагательным, и после прилагательного.

	связка предшествует прилагательному	связка следует за прилагательным
Волынская л.	3	2
Галицкая л.	2	3
Киевская л.	4	25
Новгородская л.	3	
ПВЛ	2	9
Суздальская л.	2	5

Приведем несколько примеров:

(9) а чѣшьскыи кнѣзь рѣе емоу / а та **готовъ есмь** самъ полкы свои. летопись;

(10) **Болодимерци** же **ѡкрѣпившася** / послашася **Черниговѣ** по **Михалка** / рекѡще / ты **еси старѣ** в братьи свои / поиди **Болодимерю** (СЛ).

Интересно отметить, что в конструкциях с прилагательным часто присутствует и явно выраженное подлежащее в форме личного местоимения.

4.3.3. Связки после союзов

Энклитики, как правило, являются энклиноменами и, таким образом, присоединяются к акцентным словоформам. Вследствие этого они не выступают в начале клауз. Для проверки энклитического характера связок мы посмотрели, выступают ли они в такой запрещенной для энклитик позиции.

При анализе примеров мы нашли лишь один пример со связкой в начале клаузы:

(11) и тако рекоша / есмгы ждали кѣже / а ѹблуги к намиъ хрѣтѣ. (ПВЛ).

В историческом корпусе НКРЯ нельзя установить поиск таким образом, чтобы интересующие нас формы выступали бы в начале предложения. Вероятно, настройки поисковой системы не справляются с тем, что исторические тексты не расчленены на предложения, а разделены лишь на клаузы.

4.3.4. Порядок в цепочке энклитик

Решающим моментом в исследовании энклитик является их позиция в цепочке клитик. Применяя НКРЯ, нельзя точно установить количество таких примеров, поскольку поиск можно создать только в отношении двух слов. Поэтому мы проверили, какие результаты можно получить в отношении отдельных дискурсивных и местоименных энклитик.

Приведем примеры:

(12) ни копѣемь ма еси довьль. / ни изъ городовъ. моухъ. вѣвил ма есь. (ВЛ);

(13) азъ бо не хощю тѣжкты дани възложити на васъ. / такожъ мѣжь ми. / но сего у васъ прошю мала. / изнемогли бо сѧ есте въ всадѣ. (ПВЛ).

Отклонения от установленного Зализняком порядка я нашла только в тексте ВЛ, где энклитика ранга 3 бо два раза встречается после отрицательной формы связки. Однако в данном примере мы имеем дело с отрицанием, которое влечет за собой и фокализацию:

(14) *W̄траси сонъ нѣси во оумѣлѣ / но спишь дъ вѣщаго востаниа.
/ востани ниси во вѣмѣлѣ. / нѣсѣ во ти оумерети лѣпо вѣровавшоу во Х҃са всемоу
мироу живодавчу. (ВЛ).*

Текст летописей не содержит длинные цепочки. Были найдены цепочки максимум с тремя членами. Можно сделать вывод, что связки во всех случаях следуют за дискурсивными и прономинальными энклитиками более высокого ранга. Данный факт свидетельствует о том, что если данные элементы являются энклитиками, то они занимают в цепочках последнюю позицию.

5. Итоги

В рамках данного исследования была предпринята попытка найти ответ на заданный в заголовке вопрос: как назвать глагольные энклитики, являются ли они действительно энклитиками или просто связками.

Для решения проблемы кратко представлена парадигма и функциональные особенности древнерусской связки *быти* и перечислены главные свойства клитик. Далее, на основе анализа летописных текстов, мы посмотрели, как на самом деле ведут себя данные элементы.

Выяснилось, что энклитические свойства проявляют только связки, участвующие в образовании перфекта. В остальных функциях формы *быти* являются акцентными. Квантитативный анализ показал, что наличие связок при перфекте уже не характерно для этих текстов и их количество со временем уменьшается (в Новгородской летописи было обнаружено совсем мало примеров). Что касается словопорядка, связки не зависят от причастий, поскольку они могут и предшествовать им, и следовать за ними.

Энклитики, как правило, занимают особую – вторую – позицию в предложениях. В этом отношении «ручной» анализ показал, что отклонения от «энклитического поведения» наблюдаются приблизительно в 20% примеров.

	связки в функции энклитик	связки в других функциях
Волынская л.	49	9
Галицкая л.	11	4
Киевская л.	244	38
Новгородская л.	28	2
ПВЛ	30	12
Суздальская л.	42	10
кол-во примеров: 479	404	75
	84%	16%

Энклитический характер связок доказывает и тот факт, что был найден единственный пример, в котором связка находится в самом начале клаузы. Подобные результаты показывает позиция связок в цепочке энклитик: в этом отношении были найдены только два отклонения с отрицанием.

На основе собранных примеров и данных можно сказать, что большинство связок 1-го и 2-го лица в текстах летописей можно считать энклитиками. По всей вероятности связки перфекта встали на путь грамматикализации. В случае глаголов данный процесс можно представить в виде следующей цепочки:

полнозначительный глагол > вспомогательный глагол / связка > клитика > аффикс

В научной литературе имеются возражения против энклитического характера связок. Сравнив синтаксическую дистрибуцию глагольных энклитик с дискурсивными и прономинальными энклитиками, можно понять/принять и эти мнения. В то время как на дискурсивные и прономинальные энклитики с большей вероятностью можно полагаться для расчленения клауз, однако это невозможно сделать в случае глагольных энклитик из-за их функционального многообразия.

Литература

- ЗАЛИЗНЯК 2008 = ЗАЛИЗНЯК, А.А. Древнерусские энклитики. Москва, 2008.
ЗАЛИЗНЯК 2019 = ЗАЛИЗНЯК А.А. Древнерусское ударение. Общие сведения и словарь. Москва, 2019. DOI: [10.31168/907117-600](https://doi.org/10.31168/907117-600)
- ЖИВОВ 1996 = ЖИВОВ В.В. Язык и культура в России XVIII. в. Москва, 1996.
ПЕТРУХИН 2008 = ПЕТРУХИН П.В. Дискурсивные функции древнерусского плюсквамперфекта (на материале Киевской и Галицко-Волынской летописей) // Исследования по теории грамматики. Грамматические категории в дискурсе. Москва, 2008. 213–240.
- ANDERSON 2008 = ANDERSON S.R. English reduced auxiliaries really are simple clitics // *Lingue e Linguaggio*, 2008. 7(2). 169–186.
FRANKS 1999: FRANKS S. Clitics in Slavic https://slaviccenters.duke.edu/sites/slaviccenters.duke.edu/files/media_items_files/10franks.original.pdf [15.08.2019].
FRANKS, KING 2000 = FRANKS S., KING T.H. A Handbook of Slavic Clitics. Oxford – New York, 2000.
HALPERN 2007 = HALPERN A. Clitics // *Handbook of Morphology*. Spencer, A., Zwicky, A. M. eds. Oxford, 2007. 101–122.
JAKOBSON 1971 = JAKOBSON R. Les enclitiques slaves // R. Jakobson. *Selected writings. II. Word and language*. The Hague – Paris, 1971. DOI: [10.1515/9783110889604](https://doi.org/10.1515/9783110889604)
JUNG 2020 = JUNG H. The be-auxiliary's categorial status in Old Russian // *Studia Linguistica* 2020. 74(3). 613–644. DOI: [10.1111/stul.12136](https://doi.org/10.1111/stul.12136)

- KOSTA, ZIMMERLING 2013 = KOSTA P., ZIMMERLING A. Slavic Clitics: A typology. // *STUF – Language Typology and Universals*, 2013. 66/ 2. 178–214. DOI: [10.1524/stuf.2013.0009](https://doi.org/10.1524/stuf.2013.0009)
- SPENCER, LUIS 2012 = SPENCER A., LUIS A.R. Clitics: An Introduction. Cambridge, 2012. DOI: [10.1017/CBO9781139033763](https://doi.org/10.1017/CBO9781139033763)
- WILLIS 1999 = WILLIS D. The structure of Old Russian periphrastic verbal constructions // *Crossing boundaries: Advances in the theory of central and Eastern European languages*. Ed. István Kenesei. Amsterdam, 1999. 45–65. DOI: [10.1075/cilt.182.05wil](https://doi.org/10.1075/cilt.182.05wil)
- ZWICKY 1977 = ZWICKY A.M. On clitics. Bloomington, 1977.

What Should I Call You? The Status of Verbal Enclitics in the Texts of the Russian Chronicles. The existence of verbal enclitics in the Old Russian language seems to be a controversial issue. The article offers an answer to the question posed in the title. A brief overview of the OR auxiliaries is given. After that, an overview of the universal features of enclitics is given. The grammatical properties of the auxiliaries in the texts of six chronicles are considered with the help of the Russian National Corpus.

Keywords: enclitics, auxiliaries, perfect, manuscripts, corpus analysis

ЕКАТЕРИНА КОВАЧ
(Печ, Венгрия)

МАРИНА ПОВАРНИЦЫНА
(Печ, Венгрия)

**Глаголы группы *учить, учиться, изучать*
в аспекте системного подхода на уроках РКИ**

Аннотация: Глаголы *учить, учиться, изучать* представляют собой разветвленную систему значений и лексико-грамматических связей, что обычно обуславливает сложности в изучении данных глаголов иностранцами. В статье предлагаются некоторые способы работы с указанной группой глаголов с позиций системных отношений, а именно: составление лексических карточек, кластеров и синквейнов. Данные виды работы позволяют учитывать языковые системные связи глаголов, а также дают возможность встраивать методический материал в рамки системного подхода при изучении глаголов и их лексико-грамматических потенций на разных этапах обучения РКИ.

Ключевые слова: глагол, системный подход, лексическое значение, лексико-грамматические связи, лексическая карточка, кластер, синквейн

Рассмотрение объекта изучения в системе является важным фактором для любой науки, так как именно такой подход позволяет выявить сущность объекта на основе его связей и взаимодействии с другими элементами. Неоспоримым является факт, что применение системного подхода к изучению языковых единиц считается крайне важным и в преподавании иностранного языка.

С понятием системности чаще всего связано рассмотрение элементов грамматики и фонетики, тем не менее системность исконно присуща и лексике. Под системностью лексики понимается такая организация, «единицы которой взаимообусловлены и взаимозависимы в содержательном плане» (СЛЕСАРЕВА 1980: 13). Именно с позиций отношений системности предлагается рассмотреть группу глаголов *учить, учиться, изучать*. Глаголы группы «учить» на начальном этапе обучения бесспорно относятся к абсолютному минимуму ключевой лексики, которая станет основой любого высказывания (ЛАСКАРЕВА 2019: 6-7). Указанная тематическая группа глаголов представляет собой довольно сложную систему с точки зрения многозначности данных глаголов, наличия общих семантических компонентов в значении данных глаголов, возможностей управле-

ния и словообразования, в связи с чем часто вызывает трудности в усвоении этих глаголов и использовании их в речевых ситуациях.

Известно, что овладеть словом – значит овладеть его значением, звуковой и зрительной формой, его семантической и грамматической сочетаемостью. Чаще всего ошибки в употреблении глаголов группы *учить, учиться, изучать* связаны со смешением лексического значения глаголов и незнания потенций их семантического и грамматического управления при актуализации определенного значения одного из глаголов. В связи с чем нередко порождаются высказывания подобного рода: **Я изучаю на Печском университете* (вм.: Я учусь в Печском университете); **Ты учительница? Кого ты учишься?* (вм.: Ты учительница? Кого ты учишь); **Вчера мы весь день учили математикой* (вм.: Вчера мы весь день учили математику или Вчера мы весь день занимались математикой).

Авторы данной статьи уже поднимали проблему изучения глаголов вышеуказанной группы и обращались к анализу двуязычных словарей (русско-венгерских и венгерско-русских) и учебных пособий как основных источников и помощников студенту в изучении лингвистического материала [см. КОВАЧ, ПОВАРНИЦЫНА 2020: 69–76]. Авторы пришли к выводу, что значения в словарях не вполне раскрыты и прокомментированы, не всегда представлено управление глаголов, а также отсутствуют или не совсем показательны примеры употребления русских эквивалентов в речи. В учебных пособиях внимание к данной тематической группе глаголов уделяется в разном объеме, а сами толкования этих глаголов недостаточно отделены друг от друга и представлены в основном либо через их потенции управления, либо через их лексико-грамматическую сочетаемость [Там же].

Не дают абсолютно ясной картины и русские толковые словари, которые могут использоваться студентами уже на среднем и продвинутом этапах обучения и которые выступают в качестве важного инструмента при составлении двуязычных словарей и учебных пособий. Изученные словарные статьи в следующих словарях, а именно: Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Большой толковый словарь русского языка под редакцией С.А. Кузнецова и Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой, не всегда четко интерпретируют, выделяют и разграничивают значения исследуемых глаголов, что вызывает вопросы и затруднения в выборе лексемы.

Как пишет И.П. Слесарева: «При обучении лексике главные усилия должны быть направлены на описание слов и выявление их системных отношений» (СЛЕСАРЕВА 1980: 14). При обучении данной группе глаголов, объединенных на основе общей темы, является крайне важным четко показать отличие в семантике и употреблении данных глаголов, что необходимо начать с представления их лексического значения. В лексическом значении слова выделяется несколько аспектов: сигнификативный, денотативный, синтагматический, парадигматический, прагматический и фо-

новый (см. СЛЕСАРЕВА 1980; НОВИКОВ 1982). Все эти аспекты связаны между собой. Однако те или иные компоненты лексического значения могут преобладать в содержании слова (СЛЕСАРЕВА 1980: 18–20). Так, например, в содержании глагольных лексем превалирует синтагматическая значимость, поскольку глаголы выражают понятие отношения, связи, в то время как в именах существительных номинативная значимость превалирует над синтагматической, поскольку в их содержании главным является указание на предметную соотнесенность (см. УФИМЦЕВА 1968, СЛЕСАРЕВА 1980). Более того, выделение доминантных компонентов значения является необходимым в методических целях для адекватной семантизации лексики. При толковании данной группы глаголов нам кажется целесообразным в большей степени акцентировать внимание на парадигматическом и синтагматическом аспектах. Эти аспекты непосредственно взаимосвязаны и имеют характер соотношения языка и речи, системы и ее функционирования (СЛЕСАРЕВА 1980: 16). Синтагматическое значение «характеризует линейное отношение знаков, образующих вместе с их значениями определенную последовательность языковых единиц в их актуализированном одновременном соотношении друг с другом в тексте» (НОВИКОВ 1982: 93). Синтагматический аспект тесно связан с валентностью лексических единиц, которая определяет типовую сочетаемость данной единицы с другими и все окружение этой единицы. Парадигматическое отношение «характеризует нелинейные отношения знаков, образующих (вместе с советующими значениями) определенный класс взаимосвязанных и противопоставленных однородных лексических единиц» (Там же, 94). Парадигматический аспект соотносится с понятием значимости – внутреннего свойства единицы, которым она обладает в силу определенных отношений с другими единицами системы. Значимость указывает на место этой единицы в системе, в сети отношений «сходство/различие», устанавливаемых на основе противопоставления единиц, сходных в каком-либо отношении. В силу соотнесенности различных аспектов лексического значения значимость определяется как сигнификативным значением данной единицы, так и ее соотношением с другими единицами. Таким образом, акцентирование на парадигматическом аспекте лексического значения данных глаголов позволит разграничить значения глаголов данной тематической группы, выделив те значения, которые их отличают и тем самым показывают их место в системе, а помещение в фокус внимания синтагматического аспекта позволит показать сочетаемость глаголов и их возможности функционирования в речи.

Каждый из исследуемых глаголов является многозначным. Многозначность происходит в результате сдвигов в процессе функционирования языка, в результате одно фонетическое слово способно относиться ко многим предметам и значениям (СТЕПАНОВ 1975: 20). В состав многозначного слова входят лексико-семантические варианты (ЛСВ). Лексико-семантическое варьирование предполагает наличие в слове нескольких

(минимум двух) отличающихся друг от друга в логико-предметном плане значений, которые, не уничтожая единства слова, являются его отдельными вариантами (ЯКОВЛЮК 2009: URL). ЛСВ многозначного слова связаны между собой единством фонетической оболочки и частичной общностью компонентов значения, составляющих семную структуру каждого из них. В плане содержания ЛСВ различаются тем, что наряду с общими компонентами имеются также дифференцирующие их признаки, а в плане выражения – тем, что реализация каждого ЛСВ происходит в определенных синтагматических условиях, которые можно рассматривать как формальные средства их разграничения. Каждый ЛСВ многозначного слова вступает в свои особые системные связи с другими элементами лексики, не повторяя полностью тех системных связей, которые характерны для других ЛСВ этого же слова. В отличии синтагматических связей друг от друга, а также в наличии у каждого ЛСВ собственных парадигматических отношений проявляется самостоятельность и своеобразие отдельных значений многозначного слова. Реализация каждого из ЛСВ в речи всегда сопровождается исключением всех остальных (Там же).

Сложная структура глаголов *учить*, *учиться*, *изучать* может предполагать их изучение курсе русского языка как иностранного с позиций системного подхода, «основными принципами которого являются целостность, т.е. рассмотрение объекта как единой системы, структурность, понимаемая как взаимозависимость связей и отношений между отдельными элементами этого объекта, и иерархичность, как возможность выделения в рамках некоторой системы других, более элементарных систем» (АВХАЧЕВА: URL). Соответственно, глаголы группы «учить» должны рассматриваться как целостные единицы, которые имеют связи как внутри своей структуры, так и за ее пределами, и способные члениться на подсистемы. Системный подход в методике преподавания иностранных языков соотносится с применением концентрического подхода, часто называемого спиральным, который «представляет собой способ организации учебного материала путем изложения основной концепции, привлечения связанного с этой концепцией материала, а затем возврата к основной концепции и заполнения ее более сложными, глубинными знаниями» (PYBURN CRAIG: URL).

В методике считается важным не одноразовое (линейное) предъявление темы (ситуации), а трехразовое. При втором введении темы учащийся опирается на уже известный материал и дополняет его новым. При третьем обращении к теме лексический и грамматический материал активно закрепляется и максимально расширяется. Такой подход позволяет вводить каждую тему постепенно, не перегружая учащихся, и в конце периода обучения получить запланированный результат (САВЧЕНКО, СИНЁВА, ШОРИНА: URL). По свидетельству Л.С. Крючковой и Н.В. Мощинской, слово может войти в активный словарь, если оно будет представлено учащемуся от 6 – 7 до 40 раз (КРЮЧКОВА, МОЩИНСКАЯ 2009: 97).

Находящиеся в фокусе внимания глаголы изучаются студентами в рамках лексико-семантической группы по темам «Семья», «Учёба», «Рабочий день» и др.; в составе лексико-семантической группы со значением обучения; лексико-словообразовательной группы: учить, выучить, научить, заучить, переучить и т.д. Иными словами, периодическое обращение к данной глагольной группе не просто оправдано методической практикой, но и необходимо, поскольку каждый раз глаголы типа «учить» обогащаются новой информацией при повторении и закреплении старой, уже известной. Наряду с упражнениями, предлагаемыми учебными пособиями над данной группой глаголов (упражнения на наблюдение, подстановку, перевод и трансформацию и мн.др.), мы предлагаем такие виды заданий, как составление лексических карточек, кластеров и синквейнов. Изучение данной тематической группы с помощью этих типов заданий позволяет работать с одним и тем же словом на разных ступенях обучения языку, предъявляя материал поэтапно и усложняя его постепенно от уровня к уровню.

Лексическая карточка представляет собой комплексное описание одного из значений слова и его употреблений. В карточку входит информация о дифференциальном семантическом признаке слова – значимости – и его синтагматических потенциях. Поскольку «усвоение иноязычной лексики методом отдельных слов следует признать нерациональным занятием; исходный минимум словаря целесообразно усваивать вместе с овладением структурой предложения» (БЕРДИЧЕВСКИЙ, ГОЛУБЕВА 2015: 105), лексическая карточка позволяет включать изучаемое слово в минимальный контекст, что будет способствовать ускорению процесса овладения словом. Работа с лексическими карточками преследует еще одну немаловажную цель – обучение работе со словарём. И хотя в настоящее время студенты практически не пользуются словарями в книжном варианте, преподавателю нужно научить студента извлекать полезную информацию из электронных средств перевода, научить критически подходить к продукту, предлагаемому электронными переводчиками. В процессе работы над карточкой развиваются навыки работы с источником, в данном случае – со словарём, исследовательские способности, развивается способность к анализу и расширяется словарный запас учащихся.

Карточки на начальном этапе составляются с учетом следующих критериев:

- строгая минимизация лексики,
- ограничение многозначности (слово вводится в одном-двух главных значениях),
- ограничение синонимии (все глаголы рассматриваемой группы являются словами-доминантами синонимических рядов и стилистически нейтральными),
- ограничение переносного значения.

Материал лексической карточки глагола организуется следующим образом:

- 1) выделяется концентр – ЛСВ глагола;
- 2) описываются синтагматические связи глагола при реализации данного ЛСВ:
 - а) обязательные валентности (в данном случае обычно соответствующие только прямому дополнению),
 - б) факультативные валентности (обычно соответствующие обстоятельству);
- 3) обозначаются словообразовательные связи глагола;
- 4) указывается возможность иметь переносное значение;
- 5) указывается возможность выступать в составе фразеологизмов.

Количество пунктов лексической карточки будет зависеть от потенций самого глагола, а также от уровня подготовленности студентов. На начальных этапах обучения рекомендуется не давать много информации, поскольку карточка должна содержать такой объем материала, который студент смог бы выучить на данном этапе овладения языком. Работа строится следующим образом: с помощью преподавателя выделяется ЛСВ значения глагола и студенты, используя материалы словарей, учебных текстов, а на более продвинутом этапе – материалы художественной литературы и Национального корпуса русского языка, самостоятельно составляют карточку. Составленные карточки проверяются на занятии.

Ниже приведены возможные варианты лексических карточек для некоторых значений глаголов *учиться* и *учить* с учетом уровня подготовки учащихся.

учиться

На элементарном уровне вводится значение глагола¹, связанное только с НСВ.

Карточка «учиться 1»

1. *Лексическое значение*: быть учащимся учебного заведения (учиться где?)
2. *Словосочетания*
с существительными в П.п. (где?): в школе, в гимназии, в университете, на курсах
3. *Однокоренные слова*: ученик, учить, учитель
4. *Переносное значение*: нет
5. *Устойчивые выражения*: нет

¹ Наиболее удачно сформулированы значения в АРКАДЬЕВА Э.В. Когда не помогают словари...: практикум по лексике современного русского языка: в 3 частях. Ч. 1. Москва, 2008.

Карточка «**учиться 2**»

1. *Лексическое значение:* в процессе учёбы иметь определённые результаты (учиться как?)
2. *Словосочетания*
с наречиями (как?): хорошо, плохо, старательно, отлично,
с числительными в В.п. (как?): на пятёрки, на двойки
3. *Однокоренные слова:* ученик, учить, учитель, учёба
4. *Переносное значение:* нет
5. *Устойчивые выражения:* нет

Предложенные карточки создаются практически параллельно и демонстрируют сочетаемостные различия глаголов в зависимости от выражаемого значения. Позже эти два значения дополняются факультативной сочетаемостью глагола за счет изучения новых лексико-грамматических тем, например, выражения времени: учиться долго, пять лет и т.д.

Следующее значение глагола должно вводиться на уровне А2, так как предполагает знакомство с полной падежной системой русского языка, с видовыми значениями.

Карточка «**учиться – научиться 1**»

1. *Лексическое значение:* получать знания, умения, навыки (учиться что делать? учиться чему?)
2. *Словосочетания*
с инфинитивом (что делать?): петь, рисовать, говорить по-русски;
с существительными в Д.п. (чему?): пению, рисованию, русскому языку
3. *Однокоренные слова:* учёба, учащийся, ученик, учитель
4. *Переносное значение:* «воспитывать в себе качества, привычки»: учиться терпению, доброте, бережливости
5. *Устойчивые выражения:* учиться никогда не поздно; век живи – век учись, на ошибках учатся; Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь (А.С. Пушкин); Не говори, чему учился, а говори, что узнал.

Хотя в большинстве словарей и учебных пособий сочетаемость с дательным падежом в этом значении ставится на первое место, нам представляется, что это управление следует вводить несколько позже, на уровне В1, тем более, что дательным падежом означены не только конкретно-практические умения, но и абстрактные понятия чувственной сферы. Для данного уровня мы считаем целесообразным сочетаемость с этими последними внести в карточку в пункт «Переносное значение», хотя современные словари и не дают такой пометы.

Карточка «**учиться – научиться 2**»

1. *Лексическое значение*: получать знания, умения, навыки у кого-то (учиться у кого?)
2. *Словосочетания*
с существительными в Р.п. (у кого?): у тренера, у родителей, у учителя
3. *Однокоренные слова*: учёба, учащийся, ученик, учитель, учение
4. *Переносное значение*: нет
5. *Устойчивые выражения*: учиться у лучших

Глагол **учить**

На начальном этапе вводим значение «многократно повторяя что-либо, запомнить, усвоить» и управление винительным падежом, при этом следует обратить особое внимание на значение управляемых существительных – конкретные объекты заучивания в качестве домашнего задания.

Карточка «**учить**»

учить (на этом этапе не вводится видовая пара)

1. *Лексическое значение*: многократно повторяя что-либо, запоминать, усваивать (учить что?)
2. *Словосочетания*
с существительным в В.п. (что?): стихи, слова, уроки;
с наречиями (как?): терпеливо, долго; наизусть, на память
3. *Однокоренные слова*: ученик, учебник, учитель, учиться
4. *Переносное значение*: нет
5. *Устойчивые выражения*: нет

На следующем этапе в эту карточку вводится видовая пара, соответствующая значению, – «учить – выучить».

Карточка «**учить – научить**» (поскольку следующее значение вводится после ознакомления с категорией вида, здесь целесообразно сразу показать видовую пару и обратить внимание, что для двух разных значений пары совершенного вида не совпадают)

1. *Лексическое значение*: передавать свои знания, опыт кому-либо (учить кого чему? учить кого что делать?)
2. *Словосочетания*
с существительным в В.п. (кого?): детей, студентов, сына;
с существительным в Д.п. (чему?): пению, рисованию, русскому языку;
с инфинитивом чему?/что делать?): петь, рисовать, говорить по-русски;
с наречиями: хорошо, терпеливо, долго

3. *Однокоренные слова*: учёба, ученик, учёный, учебник, учение, обучение, наука
4. *Переносное значение*: кого (что) чему учить любви; устар. наказывать²
5. *Устойчивые выражения*: учить уму-разуму; не учи учёного; учёного учить – только портить.

Составление кластера, т.е. представление материала графически, помогает точнее показать различие в значении и употреблении глаголов группы «учить» и продемонстрировать их системные связи. В центре кластера находится изучаемый глагол, от него рисуются стрелки в разные стороны к другим словам, связанным с темой и входящим в валентностный состав данного глагола. Другие слова также могут быть центром новых слов – тем. Данное упражнение концентрирует изучаемый материал. Кластер не является самоцелью, это база для составления письменных и устных текстов на темы, связанные с ключевым словом. Сложность и разветвлённость кластера зависит от уровня учащихся, к кластеру можно возвращаться неоднократно, дополняя и расширяя его ассоциативными, грамматическими и семантическими связями.

На примере глагола *учить* показано, в какой последовательности (от светлого эллипса к тёмному) происходит расширение лексико-грамматико-ассоциативного поля глагола.

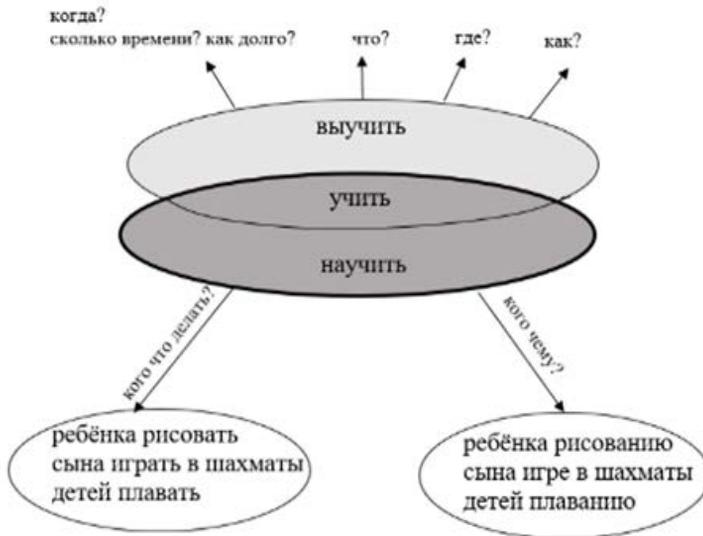


На начальном этапе, как видим, глагол *учить* НСВ реализуется в пяти валентностях, при этом управление винительным падежом является обязательным и в предложении выступает наряду с другими, факультатив-

² Мы полагаем, что введение таких переносных значений, как *учить любви*, устар. прост. *наказывать*, вообще должны вводиться значительно позже, на уровне от В2.

ными связями. С помощью такой схемы учащийся может построить предложения типа: *Антон сегодня вечером учит стихи. Антон учит стихи дома. Вчера он два часа учил уроки в библиотеке* и т.д.

На следующей схеме показано, как в дальнейшем, когда студенты знакомятся с другими падежами и понятием глагольного вида, усложняется кластер: на основе противопоставления форм совершенного вида уточняются уже известные значения и вводятся новые.



Поскольку на начальном этапе важнейшей задачей является усвоение различных условий употребления глаголов группы «учить», сравнение графических схем помогает наглядно представить эту разницу.



На схемах видно, что в обоих случаях управление винительным падежом является обязательным для глаголов *учить* и *изучать*, но лексическая сочетаемость отличается: в случае глагола *учить* -

конкретные вещи или названия учебных предметов в значении «домашнее задание», в случае глагола *изучать* – отсутствие конкретных понятий, названия наук как абстрактные понятия. На начальном этапе такого различия достаточно для разграничения сферы употребления двух глаголов. Позже неизбежно возникает вопрос: если одни и те же существительные со значением «учебный предмет» могут употребляться в качестве прямого дополнения после обоих глаголов, взаимозаменяемы ли они? По свидетельству пособия «Когда не помогают словари...» ч.1, взаимозамена глаголов в данном случае невозможна (АРКАДЬЕВА 2011: 114). На наш взгляд, и по свидетельству словарей, глаголы взаимозаменяемы по крайней мере в одном направлении: *В школе мы изучаем химию, биологию, иностранные языки*. Сами авторы пособия приводят пример такой взаимозаменяемости: *В школе мы учили (изучали) математику*. Возможна замена и в другом направлении, однако со стилистической трансформацией – *учить* имеет разговорный оттенок (см. ОЖЕГОВ, ШВЕДОВА: URL): *В университете мы учили не латинский, а греческий язык*. Разумеется, ограничение количества синонимов и стилистическая неподготовленность студентов делают нецелесообразным вводить и для глагола *учить* значение «приобретать глубокие знания».

Лексическое наполнение факультативных частей кластеров также различается. Например, временной блок (вопрос «Сколько времени?», «Как долго?») для *учить* содержит указание на конкретные и сравнительно короткие промежутки времени, для *изучать* – продолжительные.

Эффективным способом запоминания лексических единиц и их сочетаемости является популярное в дидактической практике составление синквейна. Это задание также помогает актуализировать связи глагола в зависимости от его конкретного лексического значения (т. е. ЛСВ). Структура его может варьироваться, но в основном содержит следующие части:

первая строчка - одно слово – существительное, тема синквейна,

вторая строчка – два прилагательных или прилагательное и причастие, раскрывающие тему синквейна,

третья строчка – три глагола, обозначающие действия, относящиеся к теме,

четвёртая – предложение (желательно из 4-х слов), передающее отношение к теме,

пятая строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, позволяет выразить к ней личное отношение (см. КРЮЧКОВА, МОЩИНСКАЯ 2009).

Это упражнение позволяет включить изучаемые глаголы в контекст различных лексических тем, содействует развитию творческих способностей, коммуникативных навыков, умению четко и лаконично выражать мысли учащихся, помогает расширить словарный запас. Упражнение выполняется в группах или индивидуально, а затем содержание синквейна обсуждается всей группой, оценивается, уточняется и дополняется. Если

в группе учатся представители разных стран, то на его основе можно составить представление о различных картинах мира учащихся.

На основе синквейна можно предложить составить небольшие рассказы с применением лексики уже готового синквейна, другой вариант работы с ним – закончить синквейн, в котором отсутствует, например последняя часть – резюме, или первая часть – тема. По имеющимся элементам учащиеся должны сделать вывод, какой теме посвящен синквейн.

Так же, как и в работе с другими типами упражнений, синквейн можно предложить на разных этапах изучения темы. Так, синквейн с темой «Университет» на вводном этапе изучения «учебной» лексики будет отличаться по содержанию от подобного продукта, созданного, скажем, через два месяца.

<ol style="list-style-type: none"> 1. Университет 2. Печский, известный 3. учиться, изучать 4. Здесь можно получить профессию. 5. Диплом 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Университет 2. Печский, первый, престижный, 3. поступить, учиться, изучать, окончить 4. Здесь можно получить две специальности. 5. Будущее
---	---

Таким образом, синквейн является для преподавателя и средством рефлексии, позволяя оценить, насколько глубже, шире стали лексические знания учащихся.

Подводя краткий итог изложенному выше, при работе над группой глаголов «учить» необходимо принимать во внимание системный характер связи в отношении как языковой интерпретации этой группой глаголов, так и методической работы над ней. Последовательное предъявление глагола в системе его связей в разных видах заданий позволяет лучше усвоить материал, создать в сознании прочную сеть актуализируемых в определенных коммуникативных условиях элементов, служащих основой для правильного построения высказывания.

Литература

АВХАЧЕВА 2013 = АВХАЧЕВА И.А. Системный подход как методологическая основа преподавания иностранного языка в вузе // Вестник Пермского национального политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. 2013. <https://cyberleninka.ru/search?q=%D0%90%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90.&page=1>

АРКАДЬЕВА 2011 = АРКАДЬЕВА Э.В. Когда не помогают словари...: практикум по лексике современного русского языка: в 3 частях. Москва, 2008.

- БЕРДИЧЕВСКИЙ, ГОЛУБЕВА 2015 = БЕРДИЧЕВСКИЙ А.Л., ГОЛУБЕВА А.В. Как написать межкультурный учебник русского языка как иностранного. Санкт-Петербург, 2015.
- КОВАЧ, ПОВАРНИЦЫНА 2020 = КОВАЧ Е.Н., ПОВАРНИЦЫНА М.А. Глаголы *учить, учиться, изучать, заниматься* в учебной и справочной литературе // Современный русский язык; функционирование и проблемы преподавания. Вестник по материалам XXV Международной научно-практической конференции. Будапешт, 2020. 69–76.
- КРЮЧКОВА, МОЩИНСКАЯ 2009 = КРЮЧКОВА Л.С., МОЩИНСКАЯ Н.В. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному. Учебное пособие для начинающего преподавателя, для студентов-филологов и лингвистов, специализирующихся по РКИ. Москва, 2009.
- ЛАСКАРЕВА 2019 = ЛАСКАРЕВА Е. Р. Прогулки по русской лексике. Санкт-Петербург, 2019. <https://ros-edu.ru/book?id=81267>
- НОВИКОВ 1982 = НОВИКОВ Л.А. Семантика русского языка. Москва, 1982.
- ОЖЕГОВ, ШВЕДОВА = ОЖЕГОВ С.И., ШВЕДОВА Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Москва, 1992. <http://ozhegov.info/slovar/>
- САВЧЕНКО 2007 = САВЧЕНКО Т.В., СИНЁВА О.В., ШОРИНА Т.А. Методика РКИ. Обучение грамматике // Русский язык, №7, 2007. <https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200700706>
- СЛЕСАРЕВА 1975 = СЛЕСАРЕВА И.П. Проблемы описания и преподавания русской лексики. Москва, 1980.
- СТЕПАНОВ 1975 = СТЕПАНОВ Ю.С. Основы общего языкознания. Москва, 1975.
- УФИМЦЕВА 1968 = УФИМЦЕВА А.А. Слово в лексико-семантической системе языка. Москва, 1968.
- ЯКОВЛЮК 2009 = ЯКОВЛЮК А.Н. Лексико-семантический вариант как связующее звено между многозначным словом в языке и его реализацией в речи // Вестник Челябинского государственного университета, 2009. №34 (172). <https://cyberleninka.ru/article/n/leksiko-semanticheskij-variant-kak-svyazuyushee-zveno-mezhdu-mnogoznachnym-slovom-v-yazyke-i-ego-realizatsiyev-rechi/viewer>
- RYBURN CRAIG = RYBURN CRAIG, A. Concentric Method in Teaching. <https://sciencing.com/concentric-method-in-teaching-12750652.html>

Studying of the Verbs *Учить, Учится, Изучать* in Terms of the System Approach. The verbs *учить, учиться, изучать* are a complex system of meanings and lexical and grammatical relations that makes difficulties in acquiring of these verbs. The article offers some ways of working with this verb group based on system relations, namely making lexical cards, clusters and sinkweins. These kinds of works give opportunity to use language system relations of the verbs and also to apply the system approach in teaching at different levels of studying this verb group in the course of Russian as a foreign language.

Keywords: verb, system approach, lexical meaning, lexical and grammatical relations, lexical card, cluster, sinkwein

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛАППО
(Новосибирск, Россия)

АЛИНА АЙЖАРЫКОВНА УРАЗБЕКОВА
(Будапешт, Венгрия)

**Интерпретация семантики и функционирования иноязычных
элементов в художественном тексте: лингвистический
и психолингвистический аспекты¹**

Аннотация: В статье анализируются результаты психолингвистического эксперимента, посвященного восприятию и пониманию иноязычных элементов польского происхождения. Устанавливаются закономерности интерпретации степени «чуждости» от типа предъявляемого заимствования (полонизм, экзотизм, вкрапление) и возможности идентификации его значения в контексте.

Ключевые слова: Полонизм, заимствованное слово, иноязычное вкрапление, восприятие и понимание, художественный текст, психолингвистический эксперимент

Механизм адаптации иноязычного слова, идиомы, любой другой единицы языка/речи включает в себя компонент восприятия и понимания, интерпретации его контекстного или ситуативно обусловленного значения. Исследователями отмечается «необходимость в комплексном изучении процесса освоения иноязычных новаций: в системе языка, с одной стороны, и носителями языка – с другой» (БОРИСОВА 2009: 5). Специального изучения заслуживает вопрос типологического изучения заимствований в соотношении со спецификой восприятия каждой группы слов. В свою очередь, восприятие и понимание текста – сложная система, в основе которой лежит идентификация лексических значений, «именно слово оказывается критической единицей сегментации текста, позволяющей проследить взаимодействие между означающими и означаемыми, между данным в тексте и извлекаемым из памяти» (ЗАЛЕВСКАЯ 2005: 306). Несмотря на то, что «роль слова в общении, в том числе в понимании текста, исключительно велика», она «не выяснена в достаточной

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-512-23003.

мере» (ЗАЛЕВСКАЯ 2005: 308). Данная статья посвящена анализу специфики интерпретации полонизмов и других элементов польского происхождения во фрагментах художественных текстов среднестатистическими носителями русского языка.

Польский язык оказал значительное влияние на русский язык. О заимствованиях из польского языка в русский в качестве полонизмов можно говорить уже в период с конца XIII, когда после распада Киевской Руси часть восточного славянства подпадает под культурное и административное влияние польского языка в отрыве от московского центра. По словам Я. К. Грота, еще М. В. Ломоносов заметил, что у нас много слов польского происхождения, которые «пришли к нам через сообщество и частые войны с поляками». Сам Я. К. Грот писал: «...надо прибавить, что нѣкоторыя изъ этихъ словъ мы приняли путемъ кievскихъ школь, развивавшихся, какъ извѣстно, подъ польскимъ вліяніемъ» (ГРОТ 1899: 464). В. В. Виноградов указывал на углубление взаимодействия между славянскими языками в XVII веке, когда польский язык выступал в роли поставщика европейских научных, юридических, административных, технических и светско-бытовых слов и понятий (ВИНОГРАДОВ 1956: 14). В XXI веке среднестатистическому читателю определить польское происхождение лексемы крайне сложно, потому что «польский вопрос» уже не стоит так остро, как прежде.

Художественный текст является важным источником материала нашего исследования, потому что, во-первых, именно в нем польские элементы используются гораздо шире, чем в других текстах – публицистических, учебных, научных, разговорных; а во-вторых, как писал В. В. Виноградов, «язык литературно-художественного произведения рассчитан на восприятие, понимание и оценку его в аспекте общенародного, общенационального языка» (ВИНОГРАДОВ 1959: 218). Кроме того, художественный текст – важнейшее пространство маркирования национально-культурной самоидентификации: «Стабилизация этнических стереотипов – комплекса представлений одной этнической группы о другой либо о самой себе (автостереотип) происходит прежде всего в литературе. Эти представления отнюдь не всегда совпадают с объективной исторической реальностью, а являются выражением убеждений данной группы» (ХОРЕВ 2000: 23). По мнению Ю. М. Лотмана, «в такой же мере, в какой художественный текст тяготеет к полиглотизму, художественный (и культурный вообще) контекст не может быть моноязычным» (ЛОТМАН 1992: 155). Исследование иностранных, в частности польских, элементов в русском языке актуально также потому, что такие элементы представлены в русском художественном тексте на протяжении веков в меняющемся, но существенном объеме.

Эксперимент, связанный с восприятием и пониманием иноязычных элементов польского происхождения во фрагментах художественных текстов XIX – XXI вв., проводился в период с конца 2020 по начало 2022

года, в нем приняли участие 95 студентов-филологов 1–2 курсов Новосибирского государственного педагогического университета. Испытуемым было предложено выявить и проанализировать разные типы иноязычных элементов польского происхождения, а именно, полонизмы (*поляк, пан, ксёндз, мазурка, сейм*), в том числе, экзотизмы, маркирующие реалии польской культуры и отсутствующие в российской действительности (*кляштор, хлоп*), а также лексемы с показателями грамматики польского языка (специализированные суффиксы, флексии). Помимо этого, в предложенных фрагментах текстов были использованы полные и частичные польские вкрапления, особенно широко распространенные как в русской литературе XIX в., так и в современной исторической прозе, описывающей тот период.

Вопросы и задания, предъявленные респондентам, можно разделить на три группы: 1) выпишите иноязычные элементы и определите их значение; 2) определите, из какого языка пришли данные элементы, и опишите маркеры данного языка; 3) выявите функции иноязычных элементов в художественном тексте. Из представленных к анализу 35 иноязычных элементов было выявлено 28 (80 %), при этом описано значение данных элементов в около 50% случаев, а адекватная идентификация смысла имела место в 85 % интерпретаций.

Все полонизмы, кроме лексемы *поляк*, респондентами были выявлены. Самоназвание жителей Польши, как мы видим, в принципе не воспринимается носителями русского языка как заимствованное из польского языка слово. Слова, заимствованные из польского языка, выписывались с разной степенью частотности: *ксёндз* – 73,7 %, *мазурка* – 58,9 %, *сейм* – 48,2 %. Было установлено, что на идентификацию лексемы как польского элемента оказывает влияние одновременно два ведущих фактора: явные фонетические признаки и опознание семантики слова. Респонденты отмечали фонетические маркеры у польского слова *ксёндз* (*наличие стечений согласных «кс», «дз»*) и верно или приблизительно определяли его значение (*польский католический священнослужитель, всякое духовное лицо / возможно, чиновники*); правильно указывали, что *мазурка* – это польский танец, и не выявляли специальных маркеров польскости; гораздо хуже знали слово *сейм*, его лексическое значение было дано в единичных случаях. Представляется, что лексема *сейм* занимает промежуточное положение между неэкзотизмом и словом-экзотизмом, поскольку использование понятия «сейм» в реалиях Российской империи носило временный характер (см. второй лексико-семантический вариант, указанный в Малом академическом словаре²).

² СЕЙМ, -а, м. 1. Название сословно-представительных учреждений в ряде стран в эпоху феодализма. 2. Русское наименование парламента в Великом княжестве Финляндском (в 1809–1917 гг.), входившем на правах автономии в состав Рос-

Выявление польских экзотизмов также прежде всего связано с их звучанием и значением. Так, лексема **кляштор** была указана в 80 % анкет. При этом респонденты указывали на его звучание, произношение: *более грубые слова, чем в русском языке, малогласие, но всё же некая схожесть наталкивают на мысль о происхождении этих слов как польских или украинских и белорусских*. В то же время сочетание «шт» могло спровоцировать неверную интерпретацию данной лексемы как немецкого слова: *кляштор – монастырь (скорее всего, из немецкого, я немецкий изучала)*. Значение слова *кляштор* ('монастырь') многие респонденты легко выявляли из предложенного контекста, на что указывали в своих комментариях. Гораздо реже как иноязычное было воспринято слово **хлопы**, его указали всего 5,2 % респондентов, при этом все выписавшие это слово посчитали нужным указать его значение (*так называли зависимых крестьян в Польше*). Очевидно, что польск. *хлопы* (chłopi) и рус. *холопы*³ имеют общеславянское происхождение, один праславянский корень, близкие значения в современных языках, в связи с чем *хлопы* с трудом определяется как иноязычный элемент.

Значение слова *пан* не вызвало затруднения у респондентов: *это вроде нашего помещика, барин, господин, хозяин, польский помещик, обращение к мужчине, вежливое обращение к мужчине польской национальности, польский титул, приставка к имени*. Однако интерпретация его происхождения не была однозначной. Как иноязычное слово лексема *пан* была определена всеми участниками, не отказавшимися ответить на соответствующий вопрос. При этом всего 26 % респондентов отметили слово *пан* как имеющее только польское происхождение, некоторые участники опроса определили *пан* как польское или украинское, сербскохорватское, украинское (более 20 %). Привычность звучания, широкая распространенность в ряде славянских стран способствует отнесению данной лексемы в группу с неявно выраженным языком-источником.

Результаты отнесения лексемы *пан* к словам польского происхождения согласуются с выводами ученых о спорном характере происхождения данной единицы языка. М. Фасмер фиксирует лексему, помимо польского, в украинском, белорусском, чешском, словацком, вехне- и нижнелужицком языках [ФАСМЕР 1964–1973]. Однако ряд учёных настаивает именно на польском языке как языке-доноре заимствования для русского языка. Так, среди полонизмов, прочно вошедших в терминологию дипломатического протокола XVI–XVII веков, Г. Милейковская отмечает и лексему «пан» [МИЛЕЙКОВСКАЯ 1984: 63], её же к заимствованиям

сийской империи. 3. Однопалатный высший орган государственной власти в Польской Народной Республике. [Польск. sejm] (МАС).

³ ХОЛОП, -а, мн. холопы, -ов и (устар.) холопя, -ьев, м. 1. В древней Руси: лицо, находившееся в зависимости по форме близкой к рабству. Кабальный холоп. Боярский холоп. Монастырские холопы. 2. Устар. Крепостной слуга (МАС).

из польского языка в русский относит Я. Белецка [BIELESCKA 1993: 88], В. Шетэля [ШЕТЭЛЯ 2008: 161], БАС [БАС 1959: ст. 96–97]. Польское происхождение слова определяют и этимологические словари Г. А. Крылова [КРЫЛОВ 2005] и Н. М. Шанского [ШАНСКИЙ 2004].

Аналогично трактуются дериваты слова *пан* – *панич*, *панна*, *пани*. В то же время польские по происхождению словообразовательные дериваты *пан-ове* («господа», используется в роли обращения к мужчинам), *панна Котырл-увн-а* («дочь пана Котырло»), *пани Котырл-ов-а* («жена пана Котырло») носителями русского языка отмечены не были.

Как польское слово в единичных случаях была идентифицирована и лексема общеславянского происхождения *млеко* – 2 человека (2,1 %), другие респонденты указывали, что *млеко* – это сербское, старославянское, праславянское, украинское слово.

Таким образом, существенных различий при восприятии лексически освоенных слов и экзотизмов не имеется, что указывает на их онтологическую близость. Любое иноязычное слово обладает потенциалом занять как сигнификативную, так и денотативную лакуну в языке-приемнике.

Иные результаты показывает интерпретация респондентами польских вкраплений в предложенных фрагментах художественных текстов. Под иноязычными текстовыми вкраплениями нами, вслед за Ю. Т. Листровой-Правдой, понимаются слова, словоформы, словосочетания, предложения и более крупные отрезки текста, находящиеся за пределами системы языка, на котором создан текст. Данные элементы текста «испытывают влияние текста, в который они вставлены, вступают с ним в межъязыковой контакт» (ЛИСТРОВА-ПРАВДА 2001: 119). В русскоязычном художественном тексте используются полные, частичные и нулевые вкрапления (подробнее см. в (УРАЗБЕКОВА 2020)). Полное иноязычное вкрапление представляет собой включение отрезка речи на иностранном языке, например:

Обернувшись к отряду, убийца тонко крикнул непонятное:

– *Zsiadać! Rozkulbaczyć konie! Skrzesać ogniska! Rozbijemy obóz tutaj. Pod murem!*⁴ (АКУНИН 2017: 18).

Частичные иноязычные вкрапления могут быть переданы средствами русской графики:

– **Товарищу, дай пшепалиць**, – первым нарушает святость закона поляк и, закинув свою многозарядную французскую винтовку со штыком-саблей за спину, с трудом вытаскивает озябшими пальцами из кармана шинели пачку дешевых сигарет (ОСТРОВСКИЙ 2018: 618);

Поляк спускает с плеча винтовку и, поставив к ноге, делает «на караул», Корчагин услышал отчетливо:

– **Нех жие коммуна!** (ОСТРОВСКИЙ 2018: 673).

⁴ *Слезайте! Расседлать лошадей! Разжечь костры! Мы разобьем лагерь здесь. Под стеной!* (перевод с польского А. Уразбековой).

Нулевое вкрапление представляет собой перевод фрагмента текста, например, реплики персонажа на иностранном языке с указанием на этот язык:

*Друг! Под солдатской шинелью у него бьется созвучное колонне сердце, и Корчагин **отвечает тихо по-польски:***

– **Привет, товарищ!** (ОСТРОВСКИЙ 2018: 673).

Приведенный пример нулевого вкрапления не рассматривался респондентами как иноязычный элемент. Если же в тексте рядом с переводом автор считал нужным дать исходный текст на польском языке, то такое нулевое вкрапление идентифицировалось ими как иноязычное в 21,2 % случаев. См. следующий фрагмент:

У больного зашевелился живот, и он, болезненно улыбаясь, сказал:

– **Не укараулишь** (*nie dopilnujesz*) (КОРОЛЕНКО 1954).

Иноязычные вкрапления **дай пшепалиць, нех жие коммуна, пся крев** характеризуются высоким индексом «чужеродности», поскольку их указали соответственно 94,1 %, 72,9 % и 69,4 % респондентов. Как и в случае с собственно заимствованными словами, на вычленение частичных вкраплений как иноязычных элементов сильное влияние оказывает понимание читателями значений слов: смысл ‘дай пшепалиць’ (=дай закурить) выявляется из контекста (*с трудом вытаскивает озябшими пальцами из кармана шинели пачку дешевых сигарет*); смысл лозунга ‘нех жие коммуна’ (=да здравствует коммуна!) помогает определить общее содержание фрагмента и знакомое слово коммуна; идиома ‘пся крев’ дается в недостаточном для идентификации смысла контексте, однако внутренняя форма позволяет большинству провести аналогии с русским *пёсья кровь*.

Частичные иноязычные вкрапления – имена собственные (такие, как *Каспер*, «*Паненка Крыся*» и «*Жалоба мазура*») респондентами не указывались. См. данный фрагмент:

Потом Каспер под мандолину исполнил «Паненку Крысю» и «Жалобу мазура» (ШИШОВА, ЦАРЕВИЧ 2017: 110).

Невключение антропонимов и наименований песен в группу иноязычных элементов указывает на особое положение имен собственных в языковом сознании носителей языка.

И, наконец, у полных иноязычных вкраплений отмечается самый высокий индекс «чужеродности»:

95,4 % респондентов указали фрагмент *Zsiadać! Rozkulbaczyć konie! Skrzesać ogniska! Rozbijemy obóz tutaj. Pod turem!* (АКУНИН 2017: 18);

83 % – *Дуло глядело ему прямо в лицо. – Ponownie ty! Kim jesteś, ty pędzny psie? Сам ты пёс. Думаешь, что узнал. Нет, гадина, ты меня еще не узнал...* (АКУНИН 2017: 104);

83 % – *Hej! Co tam się dzieje? – To ja, Wilczek! – донеслось с той стороны. – Sprawdzam straże! – Говорит, проверяет караулы, – шепнула Бабочка. – Врет. Упал там кто-то* (АКУНИН 2017: 25).

Сравнивая первый фрагмент со вторым и третьим, мы видим, что важным фактором отбора иноязычных элементов для реципиентов является отсутствие перевода или других указаний на смысл реплики героя, или, наоборот, наличие указания на то, что его речь непонятна (*убийца тонко крикнул непонятное*). Наличие во фрагменте, в данном случае, в диалогическом единстве перевода реплики персонажа-иностранца (*Kim jesteś, ty ńędzny psie? – Сам ты нёс; Sprawdzam strażę! – Говорит, проверяет караулы...*) снижает степень «чужеродности» элемента художественного текста.

Результаты восприятия включений польского происхождения демонстрируют общее правило, выведенное Ю. М. Лотманом: «Чем резче выражена непереводаемость кодов текста-вкрапления и основного кода, тем ощутимее семиотическая специфика каждого из них» (ЛОТМАН 1992: 159). При восприятии вкраплений различных видов отмечаются несколько иные закономерности. Главным фактором идентификации элемента как «чужого» является его графическая форма, использование средств польской графики. Действительно, яркими маркерами польских элементов в русском тексте служат особенности языка-источника, сохраняющиеся у лексем при их употреблении в русском языке. К ним в первую очередь относятся:

- носовые гласные, характерные для польского языка (*ą* и *ę*), которые в латиноязычном написании слов сохраняют традиционные подстрочные знаки (*Hej! Co tam się dzieje?*);

- широкое использование надстрочных знаков (точки – *ż, dź*; штриха – *ć, ś, ź, ń, ó, ź, dź*); а также буквы с диагональным перечеркиванием (*ł*);

- распространенное использование диграфов (*cz, dz, dź, dż, rz, sz* и *ch*), которые и в русскоязычной транслитерации передаются нехарактерными для языка буквосочетаниями (*дз, дж*) и иными скоплениями согласных.

Наличие в художественном тексте иноязычных элементов оказывает влияние на его оценку как сложного и нагруженного определенными задачами. Так, около 90% респондентов, определяя текст сложным, пишут, что их [иноязычные элементы] *сложно воспринимать и не всегда понятен смысл, сложно анализировать информацию на языке, которым ты не владеешь; многие читатели не знают польского; не смогу понять значение некоторых слов без словаря; текст полностью на иностранном языке, и нужно вдумываться в контекст и находить фразы, схожие с русским языком, чтобы понять значение* и т. п. Помимо незнания значения слов отмечаются большое количество иноязычных элементов, сложное произношение или иноязычная графика: *В таком большом количестве сложно что-то понять. Понятны только отдельные слова («кони», «огнишка», «обоз», «стража»), но о смысле отрывка приходится догадываться с той или иной степенью вероятности; Выделенные элементы тяжелы в произношении; Потому что имеют другие символы.* Другие респонденты (около 10%), наоборот, считают, что ничего сложного в пред-

ставленном материале нет. Приводятся следующие смысловые опоры, связанные как со знанием польского языка, так и с достаточным опытом чтения художественного текста: *Слова мне известны и понятны по значению; да в принципе без разницы, из-за человека, который отвечает на русском, все понятно; Слово не усложняет понимание, так как не несет научной нагрузки, лишь придает специфичности стилю, эмоциональную окраску.* Учитывая то, что многие респонденты приводили примеры значений верно распознанных слов и выражений, можно сделать вывод о том, что на восприятие текста как сложного оказало влияние общее количество иноязычных, в том числе польских, элементов в представленном к анализу материале.

Определение респондентами функциональной нагруженности иноязычных элементов в целом не вызывает затруднений, что – при сложности идентификации смысла полонизмов и высказываний на польском языке – указывает на то, что респонденты опираются на свой читательский опыт, приобретенный в течение всей жизни. Из 95 участников эксперимента лишь 7 человек (7,4 %) отказались дать ответ на вопросы «Зачем выделенные вами элементы были использованы автором? Как вы думаете, какую функцию в тексте они выполняют?». Наиболее распространенным ответом явилось указание на создание национального колорита, эту функцию отметили 35,8 %: *для создания колорита описываемых местности, времени, людей; благодаря использованию подобных слов, автор приближается к культурной атмосфере описываемой страны и др.* К частному проявлению создания национально маркированной атмосферы можно отнести функцию идентификации, которую выявили 16,9 % респондентов: *затем, что некоторые люди поляки; показывают принадлежность к другой национальности; здесь такие слова могут указывать на национальность героя.* В выявлении функций иноязычных элементов на материале текстов XIX века часть респондентов (9,5 %) также указала на создание не только колорита места, но и колорита времени, например: *данные слова связывают читателя и время, о котором идёт речь в тексте; чтобы передать силу древности в тексте, сделать отсылку к тому времени, передать атмосферу того времени.* Представляется, что данные респонденты могут считать использованные иноязычные элементы устаревшими, что особенно проявляется в ответе *Возможно, во время написания этого произведения использование этих слов было обыденным делом, они были понятны тому кругу лиц, для которых писалось это произведение.*

Следующие функции выявили от 1 до 5 человек, то есть не более 5,2 % от общего количества респондентов: *смысловая (они используются с целью дополнительного понимания сюжета, который описывает автор; для того чтобы раскрыть более точно свою идею, задумку), характеризующая (сделать текст и героев более яркими, выразительными, уникальными, возможно, показать характерные особенности героев и общества; они*

используют автором для того, чтобы придать тексту выразительности и определенного стиля повествования), эмоциональная (автор использовал данные слова для эмоциональной окраски; я думаю, это был художественный прием автора – важно передать настроения самих ситуаций через текст). Названные функции передают отдельные задачи создания художественного образа, воздействия текста на читателя, его эмоциональное состояние, понимание текста и др.

В отдельную группу были вынесены ответы, которые демонстрируют наивное языковое сознание респондентов (12,6 %). Такие читатели уверены, что специальной задачей автора является нравоучительное воздействие на адресата, обучающая роль текста (обогащение лексики, текста; использованы автором для того, чтобы язык был богатым, культурным, разнообразным; чтобы расширить кругозор читателя) или даже задача сохранения русского языка (автор хотел обратить внимание на то, что русский язык уходит в небытие из-за большого количества иноязычных элементов, заставить людей об этом задуматься). Такие ответы указывают на несформированность профессиональных филологических компетенций у студентов младших курсов филологического факультета. В то же время, некоторые другие единичные ответы очень точно отражают специфику польских иноязычных элементов в русскоязычном художественном дискурсе XIX века: *Не знаю, может, он хотел добавить какую-то изюминку? А еще, насколько я знаю, раньше было модно изучать ин. языки, возможно, что эти тексты были написаны для людей из высшего общества.*

Подведем итоги. Существенную роль в идентификации текстовой единицы как элемента польского происхождения играет его фонетический состав и графическая форма. Наличие «грубого звучания», «малогласия» оказывает значительное влияние на идентификацию лексем как полонизмов. При этом важным оказывается возможность или невозможность опознать лексическое значение слова в предлагаемом контексте, понимание значения слова как принадлежащего к польскому миру без опознавательных фонетических маркеров способствует включению его в группу заимствованных слов. Эксперимент показал, что имена собственные, самоназвания, онимы различных видов, равно как и иноязычные аффиксы, занимают особое положение в системе языка и в языковом сознании носителей языка, к ним применяются другие критерии в определении степени «чуждости». Нулевые вкрапления не идентифицируются как иноязычные элементы. Частичные вкрапления подчиняются тем же правилам восприятия, что и лексические полонизмы. Полные польские вкрапления, то есть элементы текста, переданные средствами польской графики, чаще всего указываются как иноязычные. Однако здесь работает обратный, нежели при восприятии лексических полонизмов, закон: чем непонятнее значение данного фрагмента, тем выше индекс «чужеродности». Проведенный эксперимент показал, что некоторые начинающие филологи

демонстрируют наивное языковое сознание при определении функций иноязычных элементов в художественном тексте и что при выявлении прагматики текста реципиенты опираются не только и не столько на предъявленный контекст, сколько на свой читательский опыт в целом.

Литература

- АКУНИН 2017 = АКУНИН Б. Седмица Трехглазого: [роман, пьеса]. Москва, 2017.
- БАС 1959 = Словарь современного русского литературного языка. Т. 9. Под ред. Н.З. Котеловой и Г.А. Качевской. Москва – Ленинград, 1959.
- БОРИСОВА 2009 = БОРИСОВА О.С. Адаптация иноязычной лексики в системе языка и восприятии носителей: на материале лексики русского и китайского языков конца XX – начала XXI в.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Бийск, 2009.
- ВИНОГРАДОВ 1956 = ВИНОГРАДОВ В.В. Вопросы образования русского национального литературного языка // Вопросы языкознания. 1956. № 1. 3–25.
- ВИНОГРАДОВ 1959 = ВИНОГРАДОВ В.В. О языке художественной литературы. Москва, 1959.
- ГРОТ 1899 = ГРОТ Я.К. Труды Я.К. Грота. Т. 2: Филологические разыскания (1852–1892). Санкт-Петербург, 1899.
- ЗАЛЕВСКАЯ 2005 = ЗАЛЕВСКАЯ А.А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные труды. Москва, 2005.
- КОРОЛЕНКО 1954 = КОРОЛЕНКО В.Г. История моего современника // Собр. соч. в 10 томах. Том 5. Москва, 1954.
- КРЫЛОВ 2005 = КРЫЛОВ Г.А. Этимологический словарь русского языка. Санкт-Петербург, 2005.
- ЛИСТРОВА-ПРАВДА 2001 = ЛИСТРОВА-ПРАВДА Т.Н. Иноязычные вкрапления-библеизмы в русской литературной речи XIX–XX вв. // Вестник ВГУ. Серия 1. Гуманитарные науки. 2001. № 1. 119–139.
- ЛОТМАН 1992 = ЛОТМАН Ю.М. Текст в тексте // Избр. статьи в трех томах. Том I. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин, 1992. 149–160.
- МАС 1999 = Словарь русского языка: В 4-х тт. РАН, Ин-т лингвистич. исследований. Под ред. А.П. Евгеньевой. Москва, 1999.
- МИЛЕЙКОВСКАЯ 1984 = МИЛЕЙКОВСКАЯ Г. Польские заимствования в русском литературном языке XV–XVIII вв. Варшава, 1984.
- ОСТРОВСКИЙ 2018 = ОСТРОВСКИЙ Н.А. Как закалялась сталь. Москва, 2018.
- УРАЗБЕКОВА 2020 = УРАЗБЕКОВА А.А. Включения из польского языка в русском художественном тексте XIX века (на примере романа В. Крестовского «Кровавый пух») // Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом. 2020. № 3. 60–67.
- ФАСМЕР 1964–1973 = ФАСМЕР М. Этимологический словарь русского языка: В 4 тт. 2-е изд. Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. Москва, 1986–1987.
- ХОРЕВ 2000 = ХОРЕВ В. Имагология и изучение русско-польских литературных связей // Поляки и русские в глазах друг друга. Отв. ред. В. А. Хорев. Москва, 2000. 22–31.
- ШАНСКИЙ 2004 = ШАНСКИЙ Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. 3-е изд., испр. Москва, 2004.

ШЕТЭЛЯ 2008 = ШЕТЭЛЯ В.М. Историко-этимологический словарь полонизмов русских текстов XIX–XX вв. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва, 2008.

ШИШОВА, ЦАРЕВИЧ 2017 = ШИШОВА З., ЦАРЕВИЧ С. Приключения Каспера Берната в Польше и других странах. Санкт-Петербург – Москва, 2017.

BIELECKA 1993 = BIELECKA J. Zapózyczenia leksykalne z języka polskiego do rosyjskiego. Rzeczowniki. Kielce, 1993.

Interpretation of semantics and functioning of foreign language elements in fiction: linguistic and psycholinguistic aspects. The article analyzes the results of a psycholinguistic experiment devoted to the perception and understanding of foreign-language elements of Polish origin. The regularities of the "alienness" degree interpretation of the presented word from the type of the presented borrowing (polonism, exoticism, inclusion) and the possibility of identifying its meaning in the context are established.

Keywords: Polonism, borrowed word, foreign language inclusion, perception and understanding, fiction, psycholinguistic experiment

MAJA MATIJEVIĆ
(Zagreb, Hrvatska)

Gramatika u rječniku na primjeru valentnosti¹

Sažetak: U ovome radu analiziraju se dopune u općim jednojezičnim rječnicima hrvatskoga jezika. Propituje se uključenost dopuna u rječničku definiciju ili rječnički članak te sredstva kojima se ona izražava odnosno kojima se na nju ukazuje. Nakon dijela o valentnosti u jezikoslovlju (kojoj je dopuna jedan od najvažnijih pojmova) te o specijaliziranim rječnicima koji se valentnošću izravno ili posredno bave analizira se leksikografska obrada glagola različitih valencija u četirima hrvatskim općim jednojezičnicima: RHJ-u, HJP-u, VRH-u i *Mrežniku*. U radu se donosi i prijedlog obrade odabranih glagola.

Gljučne riječi: valencija, dopuna, rječnik, leksikografija

1. Uvod

Odnosi riječi (i njihovih oblika ako su promjenjive), spojeva riječi ili sintagmema i rečenica predmet su gramatike, odnosno sintakse. Gramatički podatci primarno se nalaze u gramatikama, no svoje mjesto nalaze i u rječnicima, i to osobito rječnicima općega leksika odnosno onima koji ciljaju na općega korisnika. Primarno su u rječnicima to paradigmatički oblici u gramatičkome bloku i gramatičke ograde uz pojedino značenje, no u njima je važna i rekcija odnosno valencija. Svaka sintagma ima sastavnicu koja je u njoj glavna, koja upravlja ostalim sastavnicama, i koja se naziva glava (engl. *head*). O njoj sintaktički i semantički ovise druge sastavnice, odnosno zavisnice (engl. *dependent*), zavisni ili upravljani članovi sintagme (SILIĆ, PRANJKOVIĆ 2005: 261–262, MARKOVIĆ 2013: 227). Kombinacijski je potencijal pritom ograničen, određeno je koja se jedinica s kojom može kombinirati i u kojemu obliku, koja što privlači, a koja uz što dolazi. Najizraženija upravljačka svojstva ima glagol, središnji dio rečenice, a njegova upravljačka svojstva koja se odnose na objekte tradicionalno se nazivaju *upravljanjem* ili *rekcijom* (SILIĆ, PRANJKOVIĆ 2005: 263–264). Prema rekciji glagoli mogu biti neprijelazni, prijelazni ili dvoprijelazni, koji otvaraju mjesto dvama objektima (MARKOVIĆ 2013: 228–229). Ta se određenja nalaze u gotovo svim rječnicima, i to uz gramatičke odrednice *prijel.* i *neprijel.* No kombinacijski potencijal riječi, koji se ne tiče samo rekcije, nego inherentne kategorije glave da upravlja zavisnim sastavnicama, otvara im mjesto, naziva se valentnošću

¹ Ovaj rad napisan je u okviru projekta *Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik*, koji se provodi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

(engl. *valency*, njem. *Valenz*). Naziv je preuzet iz kemije, gdje valencija označuje broj veza koje neki atom može ostvariti. Glave baš poput atoma imaju određen broj praznih mjesta koja se moraju ili mogu popuniti. Pritom je dakle riječ o pojmu širega značenja – dok se rekcija odnosi na sintaktičku okolinu, tj. odnos zavisnosti u kojemu npr. glagol zahtijeva dopunu u određenome padežu, valentnost se odnosi na sve sastavnice kojima upravlja glava te uz sintaktičku okolinu obuhvaća i semantičku kategorizaciju te definiranje semantičkih uloga (BRAČ, BOŠNJAK BOTICA 2015: 106). Obvezna zavisna sastavnica naziva se dopunom ili argumentom, a neobvezna dodatkom ili adjunktom. Prema tome glagoli mogu biti aivalentni ili nulte valencije (npr. glagoli koji označuju meteorološke pojave, *verba meteorologica*, npr. *kišiti*, *sniježiti*), jednovalentni (kad imaju vršioca radnje, npr. *hodati*), dvovalentni (kad imaju i trpioca, npr. *voljeti*), trovalentni (imaju vršioca i dvije dopune, npr. *dati*) (MARKOVIĆ 2013: 228). Osim toga, pojedini autori (npr. MRAZOVIĆ, VUKADINOVIĆ 2009, ŠOJAT 2008) govore i o četverovalentnim glagolima, npr. *kupiti*, *prodati*. O valentnosti se pritom govori kod glagola, pridjeva i imenica (STRUINA: URL s. v. *valentnost*), a u dijelu literature i valentnosti prijedloga. Pritom su prijedlozi jednovalentni, kao i imenice, a pridjevi najčešće jednovalentni. Osim toga, rekcija je valentnost (ponajprije glagola) koja ne uključuje subjekt (MARKOVIĆ 2013: 228). Budući da se valentnost odnosi na nešto širi pojam te je, za razliku od rekcije, sintaktičko-semantička kategorija, u ovome radu taj će se naziv češće upotrebljavati.

ZGUSTA (1991: 133) navodi da je „leksikografova dužnost” pružiti potrebne napomene i o rekciji. Navodi i da leksikograf „baš kao što naznačava, na primjer, rod imenica, tako je njegova dužnost da naznači rekciju glagola, padeža koji idu uz prijedloge itd.” (ZGUSTA 1991: 133). Ističe važnost donošenja dopuna i u dvojezičnim rječnicima (ZGUSTA 1991: 316). U nas KATIČIĆ (1994: 284–285) ističe da se iz rječnika „treba moći saznati da se *zaljubljuje u nekoga*, da se *oskudijeva u nečem*, da se *vlada kime* ili *čime*, ili pak *nad kim* ili *nad čim*”. JERNEJ (1998: 222) navodi da je prvi prigovor koji se sastavljačima rječnika može postaviti „pomanjkanje dosljednosti u navođenju rekcija” te da bi bilo znatno bolje kad bi rekcije bile navedene odmah uz dotičnu riječ, a ne da korisnik o njima zaključuje „preko frazeološke i rečenične egzemplifikacije”.

U ovome radu u okviru teorije valentnosti analizirat će se leksikografski tretman dopuna. Naglasak će pritom biti na rječničkoj definiciji i na jednojezičnim općim rječnicima hrvatskoga jezika: *Rječniku hrvatskoga jezika* (dalje RHJ 2000), *Hrvatskome jezičnom portalu* (dalje HJP), *Velikome rječniku hrvatskoga standardnog jezika* (dalje VRH 2015) te *Mrežniku*², a

² *Hrvatski mrežni rječnik* – *Mrežnik* prvi je hrvatski jednojezični mrežni rječnik. Sastoji se od triju neovisnih modula: modula za odrasle izvorne govornike, modula za učenike nižih razreda osnovne škole te modula za osobe koje uče hrvatski kao ini jezik. Svaki modul prilagođen je krajnjemu korisniku te se moduli razlikuju u strukturi rječničkih

specijalizirani rječnici spomenut će se posredno. Nakon drugoga dijela, o valentnosti u jezikoslovlju, prikazat će se rječnici koji je tematiziraju ili je se na neki način dotiču. Zatim će na odabranome korpusu biti analizirane dopune kao dijelovi rječničke definicije ili rječničkoga članka. U zadnjemu dijelu rada prikazat će se model leksikografske obrade.

2. Valentnost u jezikoslovlju

Valencija je ustaljeni naziv u kemiji, a metafora valentnosti kao potencijala kombiniranja riječi prvi se put pojavljuje u eseju *The Logic of Relatives* Charlesa S. Peircea 1897. godine (PRZEPIÓRKOWSKI 2018). Veći zamah teorija valentnosti dobiva 1950-ih godina, kad djeluje Lucien Tesnière (1893. – 1954.), poznatiji začetnik teorije. U njegovoj postumno objavljenoj knjizi *Éléments de syntaxe structurale (Elementi strukturalne sintakse)* iz 1959. godine ističe se da je glagol središte rečenice i glavni „magnet” koji svojom valentnošću uvjetuje pojavu obveznih rečeničnih dijelova koje naziva aktantima. Za razliku od aktanata cirkumstanti donose dodatno značenje (BIRTIĆ, BRAČ 2020: 264–265), pa se može povući paralela između dopuna kao aktanata i dodataka kao cirkumstanata. Ipak, pojam dopune kako se danas najčešće shvaća (engl. *complement*, njem. *Ergänzungen*) utemeljen je u njemačkim gramatikama ovisnosti (gramatikama zavisnosti, ovisnosnim gramatikama, njem. *Dependenzgrammatik*) i odnosi se na svaki (ne)obvezni element rečenice koji glagol zahtijeva (SAMARDŽIJA 2003: 34), a dodatak (engl. *adjunct*, njem. *Angaben*) može se pojaviti uz gotovo sve glagole ili se može izostaviti bez narušavanja gramatičnosti rečenice (MRAZOVIĆ, VUKADINOVIĆ 2009, prema BIRTIĆ, BRAČ 2020: 265). Pritom se dopune katkad nazivaju komplementima (njem. *Komplement*), a dodatci suplementima (njem. *Supplement*), a isto su tako komplementi gdje gdje nadređeni dopunama i dodatcima (kako je i u SAMARDŽIJA 1986, 2003).

Tradicionalne hrvatske gramatike nazive *dopuna* i *dodatak* ne upotrebljavaju ili se u njima ne odnose na iste pojmove (BIRTIĆ, BRAČ 2020); BARIĆ i dr. (1997) tim se nazivima ne koriste, RAGUŽ (2010) dopunu shvaća kao objekt, dio predikata ili zavisnu surečenicu, SILIĆ, PRANJKOVIĆ (2005: 273) izjednačuju objekt i dopunu (određuje ju jako upravljanje) te dodatak i priložnu oznaku (uspostavljeno slabim upravljanjem ili pridruživanjem). Dopune i dodatci mogli bi se usporediti i sa zavisnim tagmemom, dopunskim sintagmemom i okolnosnim sintagmemom (SILIĆ, PRANJKOVIĆ 2005: 273). Dopunama smatraju i rečenice uz glagole govorenja, mišljenja, percipiranja i sl. (prema BIRTIĆ, BRAČ 2020: 264). Sve gramatike nesumnjivo tematiziraju povezivost i uklopivost riječi s drugima na sintagmatskoj osi. Valentnost se u novije doba u radovima tematizira u okviru projekata izrade valencijskih rječnika (MIKELIĆ

članaka. Demoinačica (od A do F) dostupna je na stranici rjecnik.hr/mreznik, na kojoj se nalazi i više informacija o projektu.

PRERADOVIĆ 2008; BIRTIĆ 2017, 2018) te u okviru drugih lingvističkih projekata, npr. rada na *Hrvatskome WordNetu* (ŠOJAT 2009) ili *Hrvatskome mrežnom rječniku* (BRAČ, MATIJEVIĆ 2020).

3. Valencijski rječnici i valentnost u rječniku

Šezdesetih godina prošloga stoljeća u njemačkim se zemljama razvija valencijska leksikografija, a devedesetih se stvaraju prve leksičke baze koje opisuju spojivost određenih leksičkih jedinica s drugima u engleskome, npr. *FrameNet*, *VerbNet*. Valencijski rječnici koji se razvijaju za slavenske jezike pod utjecajem su tih dviju tradicija (BIRTIĆ 2020: 483–484). Tako je i s prvim valencijskim rječnikom koji se pojavljuje na prostorima bivše Jugoslavije, *Rečnikom glagola sa gramatičkim i leksičkim dopunama* (PETROVIĆ, DUDIĆ 1989). Tih godina u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu provodi se englesko-hrvatski kontrastivni projekt (ZESCCP) koji je vodio Rudolf Filipović i u okviru kojega nastaje prvi mali valencijski rječnik hrvatskih glagola (FILIPOVIĆ 1993). Danas važni valencijski rječnici slavenskih jezika (v. BIRTIĆ 2020) češće su računalni nego tiskani, a svakako su to poljski *Walenty* (PRZEPIÓRKOWSKI 2014), ruski *FrameBank* (LYASHEVSKAYA, KASHKIN 2015) te češki *VALLEX* (KETTNEROVÁ, LOPATKOVÁ, BEJČEK 2012), koji je poslužio kao oslonac za izradu *CROVALLEX*-a, hrvatskoga valencijskog leksikona (MIKELIĆ PRERADOVIĆ 2008, MIKELIĆ PRERADOVIĆ, BORAS, KIŠIČEK 2009). U hrvatskome je jezikoslovlju osobito važan i projekt *Baza hrvatskih glagolskih valencijskih* te baza *e-Glava*, u kojoj je planiran valencijski opis glagola koje su istraživači odredili kao temeljne za osnovnu komunikaciju na hrvatskome jeziku. Primjer jedne natuknice prikazan je na Slici 1.

iznenaditi ^{svr.}*psihološki glagoli*

prez. 1. l. jd. iznenadim, 3. l. mn. iznenade, prid. r. m. iznenadio, prid. r. ž. iznenadila, gl. prid. trp. iznenađen

1 iznenaditi *pojavit* se iznenada i zateći koga nespremna

2 iznenaditi *izazvati* čuđenje ili zatečenost u kome, često kakvim postupkom ili čime drugim

3 iznenaditi se ^{povr.} biti začuđen ili zatečen

NomD

◊ Krsto Brodnjak nije se previše iznenadio.

Krsto Brodnjak - **NomD**: **nominativ** [onaj tko je začuđen ili zatečen: živo, osoba, skupina ljudi]

4 iznenaditi se ^{povr.} biti začuđen ili zatečen čime

5 iznenaditi se ^{povr.} riječima izraziti iznenađenost ili zatečenost čime

Čvrste sveze

Slika 1. Prikaz natuknice u *e-Glavi*, mrežnome valencijskom rječniku hrvatskih glagolskih valencija

Specijalizirani valencijski rječnici najčešće su namijenjeni izvornim govornicima ili stručnjacima s bogatim metajezikom. No valentnost je poseban izazov osobama koje određeni jezik uče kao strani, osobito ako im je materinski jezik nefleksijski. Upravo je valentnost predmetom mnogih radova o ovladavanju inim jezikom, npr. BRAČ, DRLJAČA MAGIĆ 2015, ZHAO, JIANG 2020, ali i kontrastivnih valencijskih rječnika, npr. DEVOS, DEFRANCQ, NOËL 1996, DJORDJEVIĆ, ENGEL 2013. Valencijski rječnici namijenjeni neizvornim govornicima zahtijevaju poseban pristup i metodologiju, a prije svega ističe se to da navođenje neobveznih dopuna nije višak, što bi se moglo zaključiti iz perspektive pristupa izvornim govornicima (GULEŠIĆ MACHATA, ČILAŠ-MIKULIĆ, UDIER 2011). Dopune se nerijetko spominju i u kontekstu učenja standardnoga jezika, npr. uz jezične savjete da glagoli

lagati, *sličiti* ili *smetati* zahtijevaju dopunu u dativu, a ne u akuzativu i sl. (HŠG: URL, pod *Spojevi riječi i sintagme*) ili dodatnu informaciju ~ *komu* (*o komu / čemu*) uz glagol *lagati* u *Hrvatskome jezičnom savjetniku* (HJS 1999: s. v. *lagati*). SAMARDŽIJA (1994: 53) navodi da je leksikografska obrada glagola po valencijskim značajkama u prvome redu pomoć neizvornim govornicima, ali da ni izvorni govornici unatoč svojoj kompetenciji nisu „otporni na greške ove vrste”. Dopuna se navodi i u drugim vrstama rječnika, npr. u dvojezičnicima (JERNEJ 1998: 222), a bogato i sustavno donosi se u frazeološkim rječnicima. Tako se npr. u *Frazeološkome rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika* (MATEŠIĆ 1982) donosi natuknica **pućā** *komu gláva*, u *Rječniku hrvatskih animalističkih frazema* (VIDOVIĆ BOLT 2017) natuknica **drži** <što> **kao pas ježa** – ‘slabo (nedovoljno) je pričvršćeno (zalijepljeno) što’, u dijalektnome frazeološkom rječniku *Rječnik frazema i poslovice međimurskoga govora Svete Marije* (FRANČIĆ, MENAC-MIHALIĆ 2021) npr. „ŽELJA Bože, spasi koga {i oprosti grijeha *komu*}”. Ekspliciranje dopuna standardni je dio instrumentarija frazeološke leksikografije, a početci kroatističke frazeologije temelje se na rusističkoj tradiciji.³ U općim rječnicima ruskoga jezika dopune se donose uz svako značenje (v. npr. OŽEGOV 1964 s. v. *dotjanút*⁴), pa bi se sustavno donošenje dopuna u hrvatskim frazeološkim rječnicima moglo smatrati rusističkim nasljeđem. Dopune se najčešće pišu ukošeno, a o ispuštenosti (fakultativnosti, izostavljivosti) govore izlomljene zagrade, pa se u njima nalazi ili ispuštivi dio frazema ili neobvezna dopuna, v. Sliku 2.

³ Šezdesetih godina paralelno djeluje dvoje rusista – Antica Menac i Josip Matešić – te pokreću hrvatski „frazeografsko-frazeološki kotač” (FINK 2020: 113). Rusistička se frazeološka tradicija prenosila i na zapad, pa se naš rusist i germanist Josip Matešić smatra zaslužnim za to što se osniva *mannheimska frazeološka škola* i što Mannheim postaje frazeološkim središtem (LONČARIĆ 2020: 468).

⁴ DOTJANÚT’ – (...) **1.** kogo-čto do čego (...) **2.** čto i bez dop. (...) **3.** čto do čego (...).

Čovjek koji je napustio hraniteljicu zemlju i svaki dan NOSI GLAVU U TORBI, stjecao je poštovanje kod onih starijih, teško pokretljivih, opreznih seljaka. (Barković)
Vi znate što to znači IMATI GLAVU U TORBI i, može se slobodno reći, postati žrtveno jagnje zbog viših ciljeva. (Sabljak)

44. **obilo se (obit će se, razbilo se, razbit će se) o glavu** komu što
osvetilo se (osvetit će se) *komu što*, imao je (imat će) neprilike (teške posljedice) *lko zbog čega*
U najboljoj namjeri ponudio sam Englezima suradnju, što mi SE gotovo OBILU O GLAVU. (N)
Tko zna, mislio sam, ne radi li se opet o nekoj zabuni, koju sam nesvjesno prouzročio i koje će mi SE prije ili kasnije RAZBITI O GLAVU. (Brešan)
45. **od glave do pete**
1. potpuno, sasvim, u cijelosti, u svemu, u svim pojedinostima
Pogledala me OD GLAVE DO PETE i mislim da me se nije mogla sjetiti. (Kušan)
Za to vrijeme kapetan ga odmjeri OD GLAVE DO PETE i njegovo iskusno oko odmah primijeti kako je debeljuškasti strojar aljkavo obučen. (Horvat)
Gospa Deša, lijepa si OD GLAVE DO PETE, ti si, gospo, pravi andeo. (HNK – Bogišić)
2. pravi <pravcati>, istinski
Vidiš, onaj mladi grof nema novaca, ali je gospodin OD GLAVE DO PETE. (Božić)
Želite li biti zavodnica OD GLAVE DO PETE? (N)
46. **ode glava** <komu>
čovjek lako nastrada, može se nastradati, može se život izgubiti, nastradat ćeš
Pa svi nareduju, ako nećeš, ODE GLAVA. (Sabljak)
47. **oprati / prati glavu** komu
ukoriti / koriti *koga*, prigovoriti / prigovarati *komu*, izgrditi / grditi *koga*
Majka će mi OPRATI GLAVU ako zakasnim na večeru.
48. **platiti glavom (životom)** što
izgubiti život, poginuti / zbog neke krivice, uvjerenja itd./
On je bio suradnik pukovnika Matutinovića, koji je naklonost Bonaparteu PLATIO GLAVOM. (Aralica)
Potpisivanje sporazuma iz Osla posredno JE PLATIO ŽIVOTOM izraelski premijer Yitzak Rabin. (HNK – N)
49. **pognuti glavu (šiju)**
pokoriti se, teško prihvatiti postojeće stanje
Koliko god bio proganjen, nije nikad POGNUO GLAVU.
50. **popeti se na glavu (navrh glave)** komu
dosaditi (dojaditi, dozlogrditi) *komu*, postati dosadan *komu*
Priznaj, POPELA ti SE moja ljubav NA GLAVU. (Zur)
POPELA nam SE NAVRH GLAVE s tim pričama. (Matić-Halle)



Ta tradicija prenesena je i u jednojezične rječnike, koji u frazeološkome bloku također donose dopune. Pod natuknicom *glava* u HJP-u frazeološki blok ima neke od sljedećih primjera: *doći glave (kome), ide (mi, ti, mu itd.) po glavi, mota (mi, ti, mu itd.) se po glavi*, RHJ (s. v. *glava*) donosi frazeme *popeti se komu navrh ~e, zavrtjeti komu ~om*, a u *Mrežniku* su informacije o valentnosti sadržane i u definiciji, npr. *izbiti iz glave* ‘Izbiti iz glave komu što znači da treba natjerati koga da odustane od čega, prisiliti koga da zaboravi što’. U sljedećemu poglavlju podrobnije će biti analizirana dopuna u općim jednojezičnim rječnicima, i to u definicijama koje se tiču osnovnih općih ili prenesenih značenja.

4. Valencija kao dio rječničkoga članka u jednojezičnome rječniku

Gramatički blok važan je dio svakoga jednojezičnog rječnika. RHJ (2000), VRH (2015) i HJP u njemu donose specifične oblike ili nastavke za specifične oblike, a *Mrežnik* donosi čitavu paradigmu s označenim naglascima. Gramatika se nerijetko eksplicira u gramatičkim ogradama uz pojedino značenje, što je često npr. kod biljaka ili životinja u kojima je prvo značenje, koje se odnosi na rod ili porodicu, samo u množini, pa je ispred definicije oznaka ⟨mn⟩ (npr. VRH 2015 s. v. *miš*). Kod iste je natuknice u *Mrežniku* pod značenjem koje se odnosi na računalnu opremu ograda (*A miš*), čime se upućuje na to da je akuzativ jednak nominativu, odnosno na to da je riječ o neživome. Na taj se način, eksplicitno, donose i dopune kod glagola, pa je pod značenjima npr. na HJP-u u zagradama doneseno padežno pitanje ili padežna pitanja koja određuju okolinu: *voljeti (koga, što, se), držati (koga, što)*. S obzirom na to da se kod obaju glagola navodi okolina *koga/što*, jasno je da je riječ o akuzativnoj dopuni, no upravo navođenjem obaju pitanja donosi se podatak koji se tiče i semantike, pa onda i valentnosti: uz glagole *voljeti* i *držati* dolazi akuzativna dopuna koja se može odnositi na živo i na neživo. Primjer dopune u općemu jednojezičnom rječniku prikazan je na Slici 3.

vòljeti

vòljeti (koga, što, se) nesvrš. (prez. vòlim, pril. sad. vòlěći, prid. trp. vòljen, gl. im. vòljēnje)

Izvedeni oblici ^

Definicija ^

1. osjećati ili iskazivati naklonost, privrženost, odanost, prijateljstvo koje se osniva na zajednici ideala, krvnog srodstva i sl. [*oni se uzajamno vole; voljeti obitelj*]
2. osjećati prema kome ljubav, osjećati strastvenu privlačnost prema kome [*voljeti momka/djevojku*]
3. biti sklon čemu, rado činiti, slušati, čitati, gledati, služiti se čim, imati sklonost prema zanimanju, poslu, igri

Slika 3. Glagol *voljeti* na *Hrvatskome jezičnom portalu* s dopunom na početku gramatičkoga bloka

Obrada glagola nulte valencije, npr. *kišiti*, u malo toga razlikuje se od rječnika do rječnika: u svima su donesene odrednice da je riječ o nesvršenome glagolu, a u RHJ-u (2000) i da je neprijelazan. U tome je rječniku u gramatičkome bloku donesen oblik *kišim*, što može voditi do zaključka da se upotrebljava i s vršiocem radnje (u nefigurativnome se jeziku, dakako, upotrebljava bez vršioča⁵). U *Mrežniku* gramatički je blok određen za samo treće lice jednine (kao i u VRH-u (2015) i na HJP-u): „*prez. jd. 3. l. kiši; aor. jd. 3. l. kiši; imperf. jd. 3. l. kišāše, prid. r. s. kišilo; pril. s. kišēći*”. Na isti su način u svim rječnicima obrađeni glagoli *daždjeti* i *sniježiti*. Pojedini glagoli iz te skupine u prenesenim značenjima mogu promijeniti valencijski obrazac, pa je npr. glagol *grmjati* u značenju koje se odnosi na vremenske prilike avalentan, a u prenesenome (koje se odnosi na stvaranje velike buke ili vikanje s mnogo protesta) jednovalentan – *Topovi grme., Čovjek je, sav crven od bijesa, počeo grmjati.* (VRH 2015 s. v. *grmjati*). Dopuna je u tome slučaju u rječnicima prikazana primjerima s izrečenim vršiocem radnje, a drugih gramatičkih oznaka nema. Kod jednovalentnih glagola općenito se ne pojavljuju dopune koje se tiču vršioča ili subjekta. O drugoj dopuni, odnosno o tome da je nema, govori odrednica *neprijel.* Kod glagola koji su u primarnome značenju jednovalentni, npr. *hodati, sjediti, trčati*, u RHJ-u (2000) i *Mrežniku* gramatičkom je odrednicom naznačeno da je riječ o nesvršenome neprijelaznom glagolu, a u VRH-u (2015) i na HJP-u naznačeno je samo da je riječ o nesvršenome glagolu (ako u VRH-u (2015) nema oznake da je prijelazan, neprijelazan je). U svim je rječnicima u primjerima naveden glagol uz prijedložno-padežnu skupinu, pa se pronalaze primjeri *hodati po kući, hodati cestom, hodati u grad...* Na isti način obrađeni su glagoli *sjediti* i *trčati*, samo što je kod glagola *trčati* odvojen drugi blok značenja s prijelaznim odnosno dvovalentnim glagolom (npr. u *trčati maraton*). Glagol *voljeti* primjer je dvovalentnoga glagola. U svim rječnicima navodi se da je glagol nesvršen, RHJ (2000) i *Mrežnik* iza natuknice navode da je prijelazan, VRH (2015) uz pojedino značenje to navodi uz dodatnu rekciju (*koga, što*) u zgradama, a HJP ima samo odrednicu *nesvrš.* HJP, a i stariji Aničevi rječnici (npr. ANIĆ 1994), ne donose izrijekom podatak o prijelaznosti, nego o valentnosti kao „gramatičkom svojstvu koje oblikuje značenje” (ANIĆ 1994: X), pa se dopunom/dopunama u zagradi sugerira ono što se obično obilježavalo prijelaznošću ili neprijelaznošću (v. Sliku 3). HJP među dopunama navodi i *se*, no ne donosi značenje glagola *voljeti se* (RHJ, VRH i *Mrežnik* donose kao podnatuknicu). Također, moguće je propitati i ostvaruje li se kad glagol *voljeti* kao jednovalentni glagol (za opće značenje npr. u primjeru *Volim i postojim.*). Primjer je dvovalentnoga glagola i *držati* (u određenim značenjima), koji na HJP-u i u VRH-u (2015) ima generičku dopunu (*koga*,

⁵ Vrlo marginalno oblik *kišim* potvrđuje se u pjesničkome jeziku, npr. *Ja sam samo Oblak – kondenzacijom se stvaram, toplinom rasplinjujem, nekada kišim i praznim se, ali nikada sunce ne donosim* (HRWAC 2014).

što) za više značenja (na HJP-u nema dopunu *se*, a u VRH-u (2015) *držati se* ne odnosi se na ‘primanje za što rukom ili rukama’). Obrada toga glagola u *Mrežniku* kolokacijskim blokovima upućuje i na živost trpioća, pa se u jednome značenju kolokacijama sugerira na akuzativnu dopunu za neživo te u drugome na akuzativnu dopunu za živo (v. Sliku 4).

držati gl. nesvrš. prijel. (prez. jd. 1. l. držim, 2. l. držiš, 3. l. drži, mn. 1. l. držimo, 2. l. držite, 3. l. držē; imp. drži; aor. držah; imperf. držāh; prid. r. m. držao, ž. držala, s. držalo; prid. t. držān; pril. s. držēći)

¹ Držati znači ne ispuštati ono što se uhvatilo ili što se ima u ruci ili rukama.

- Ljudi prečesto drže mobitel u rukama.
- Svaki vozač čvrsto drži volan dok vozi kroz zavoje.
- Na današnjoj raspravi vještak ballističar potvrdio je da je okrivljenik u objema rukama držao pištolj.
- Jednom rukom držiš uzde, drugom rukom držiš kameru, konji se otimaju jer znaju što slijedi, a ti se pitaš zašto ljudi nemaju tri ruke, pa da se trećom rukom još uhvatiš za sedlo.

Što se drži? boca (vina, vode), cigareta, ključ, knjiga, mač, mobitel, volan, pištolj, puška, uzde

Kako se drži? čvrsto, grčevito, objema rukama, trima prstima

Koordinacija: držati i hvatati, držati i primati, držati i stiskati

² Držati znači imati koga na jednome mjestu, tako da se ne kreće.

- Zgrada azila u kojoj se drže psi neuspješno je adaptirana građevina u kojoj je držana stoka bivše stočarske farme.
- Nakon zauzimanja škole teroristi su postavili bombe u gimnastičkoj dvorani i tamo, pod nepodnošljivo visokim temperaturama, držali taoce tri dana bez hrane i vode.

Koga se drži? lopova, pse, stoku, taoce, životinje

Kako se drži? konstantno, kratko, neprestano

Gdje se drži? u banci, u pritvoru, u zgradi

Koordinacija: držati i čuvati, držati i uhvatiti, držati i zatvoriti

Slika 4. Gramatički blok i prva dva značenja glagola *držati* u *Mrežniku* s kolokacijama koje upućuju na valenciju

Pojedinačna obrada glagolskih značenja osobito je važna kod višeznačnih glagola s čijom se značenjskom promjenom mijenja i valentnost. Primjer su za to glagoli odašiljanja zvuka, koji u prenesenim značenjima mijenjaju valencijski obrazac: u primarnome značenju oni su jednovalentni, npr. *Kokoš kvoca.*, a u prenesenome poprimaju obrazac glagola govorenja, npr. *Kvocala mu je zbog pušenja u dnevnoj sobi.* U prenesenome značenju stoga ti glagoli mogu imati akuzativnu ili dativnu dopunu, prijedložnu (o + lokativ, čime se izražava tema govora), rečeničnu... Dopuna se kod tih značenja u rječnicima donosi ili u zagradi ispred značenja: kvocati ‘2. (komu) pren. zanovijetati, zvocati’ (HJP: URL) ili odmah iza glagola u definiciji: 2. ‘PREN dosađivati komu prigovorima ili zahtjevima’ (u VRH-u bez eksplicitnoga navođenja dopune ili padežnoga pitanja iako se na X. str. navodi da se „uz prijelazne glagole u zagradi bilježe rekcije”) (usp. BRAČ, MATIJEVIĆ 2020).

Imenske riječi također imaju valencijsku strukturu. Prema tome imenice tzv. *nomina meteorologica* poput *sijevanje* ili *grmljavina* nisu valentne baš poput glagola *sijevati* ili *grmjati*. No imenice mogu imati dopunu, pa se npr. u posebnu skupinu mogu izdvojiti tzv. *nomina agentis* (u kojima se pretpostavlja suodnos agensa i predmeta radnje, npr. *učitelj*, *vodič*), imenice koje označuju odnos među osobama poput *djed*, *unuk*, *prijatelj* ili *upravitelj*, *predsjednik*, *zapovjednik*, imenice sa značenjem svojstva poput *boja*, *rumenilo*, imenice zbivanja poput *početak* ili *padanje*, odglagolske imenice poput *raskid*, *čitanje*... Opis varijanata osobito je relevantan s normativističkoga stajališta (*odazivanje pozivu / odazivanje na poziv*) (PRANJKOVIĆ 2002: 42–45). Ni u jednome rječniku kod imenica se ne ističe dopuna, no može se naslutiti prema primjerima (npr. *Mrežnik* kod imenice *boja* u kolokacijskome bloku kod pitanja *Kakva je boja?* ima primjere *boja breskve*, *boja fuksije*, *boja lavande*, *boja meda*, *boja pijeska*; *boje jeseni*). Valencijska svojstva pridjeva važna su za njihovo određenje. Apsolutnim pridjevima pripadali bi jednovalentni (kod kojih se popunjava samo jedno, prazno mjesto), a relativnima viševalentni (PRANJKOVIĆ 2002: 47). Pridjevi sa snažnim upravljačkim svojstvima jesu primjerice *sličan*, *nalik* ili *odan*, a u pojedinim značenjima primjerice *dostojan*. RHJ dopunu navodi u primjerima (npr. **sličan** (...) *~čni događaji*, *~čne pjesme*, *biti ~ komu*, *biti ~ čemu*), kao i VRH (2015) i *Mrežnik*. HJP sustavno donosi dopune u gramatičkome bloku ako se odnose na sva značenja ili kod pojedinačnoga značenja ako se samo na nj dopuna odnosi (npr. kod *dostojan* samo u drugome značenju, *dostojan + čega*). VRH (2015) (s. v. *sličan*) donosi značenje ‘koji ima približno jednaka svojstva s drugim po vrsti, naravi, količini i sl.; koji slični, koji je nalik komu ili čemu’, u kojemu se u definiciji daje podatak o valentnosti pridjeva *nalik*, što ne govori o valentnosti pridjeva *sličan*. Često se na taj način izbjegava ponavljanje padežnoga pitanja u definiciji (npr. *Držati što znači imati što u rukama. > Držati znači imati što u rukama.*) iako to ne donosi podatak o dopuni konkretne natuknice (pa se o njoj zaključuje na temelju primjera).

U analizi rječnika zaključeno je sljedeće. (1) Gramatički blok načelno će biti prilagođen semantici, pa će glagoli nulte valencije u njemu imati samo ovjerene oblike, odnosno 3. l. jd. (bez oblika poput *kišim*, *sniježim*). (2) U rječnicima se gramatičkim leksikografskim oznakama nikad ne eksplicira vršilac radnje. To znači da jednovalentni glagoli neće imati padežna pitanja uz značenja kao ni svi viševalentni glagoli, čije će se dopune odnositi na drugu ili treću dopunu. Pitanja o vršiocu pojavljuju se u *Mrežniku*, koji u kolokacijskome bloku odgovara na pitanja poput *Tko trči?*, *Tko sjedi?*. (3) Ako se u rječnicima padežno pitanje ni ne nalazi, o dopuni će djelomično govoriti gramatička odrednica *prijel./neprijel.* (4) Pojedini rječnici (Aničevići i na njima temeljen HJP) odrednicama *prijelaznosti* ili *neprijelaznosti* neće se ni koristiti, nego će na valenciju upućivati direktnim padežnim pitanjima uz značenje. (5) Imenske riječi s dopunom u određenome padežu u većini će rječnika jasno potvrditi

dopunu u primjerima, a na HJP-u još će jasnije dopuna biti navedena u gramatičkome bloku (i još u primjerima). (6) U definiciji dopuna se kadšto upisuje uz riječ koja se pojavljuje, npr. uz neki glagol u definiciji, osobito ako se ona podudara s dopunom obrađivane natuknice. To će najčešće biti zastupljeno u rečeničnim definicijama.

5. Primjer obrade

Pri rječničkoj obradi glagola posebnu pozornost treba voditi o promjeni valentnosti koja se događa s promjenom značenja. Na početku rječničkoga članka dolazi natuknica i gramatička odrednica s određenjem glagolskoga vida i prijelaznosti ili neprijelaznosti. Pritom u obzir treba uzeti to da se prijelaznost može sugerirati dopunom uz svako značenje (v. ANIĆ 1994, HJP: URL), ali i to da je rječnik priručnik za učenje te da učenicima treba moći pomoći u svladavanju školskoga gradiva koje se tiče glagola prema predmetu radnje. Ako je riječ o mrežnome rječniku, koji nema fizičko ograničenje i ne zahtijeva uštedu prostora, opravdano je u gramatičkome bloku odrediti je li glagol prijelazan ili neprijelazan (ili oboje ako ovisi o značenju) i svejedno ponoviti dopunu. Nakon odrednice slijedi gramatički blok, koji u mrežnome rječniku može biti ispisan cijeli, odnosno može se donijeti cijela naglašena paradigma (u tiskanome rječniku radi uštede prostora donosi se samo oblik koji upućuje na naglasni tip ili neočekivan oblik). Pritom se u njemu trebaju nalaziti ovjereni oblici, koji se na neki način tiču i mogućega valencijskog obrasca (usp. gore *verba meteorologica* u RHJ-u). Iza gramatičkoga bloka nalaze se značenja. U ogradi svakoga značenja može se navesti dopuna ili se ona može pisati uz glagol u definiciji. Ispod definicije korisno je donijeti primjere i kolokacije (o kolokacijama u *Mrežniku* v. HUDEČEK, MIHALJEVIĆ 2021). Prema tome, glagol *obećati* mogao bi se obraditi i tako da se u kolokacijama napišu dopune (*Tko obećaje?*, *Što obećaje?*, *Komu obećaje?*) te s najčešćim dodatcima (npr. u značenju načina, *Kako obećaje?*).

obećati gl. svrš. prijel. {prez. 1. l. jd. obècām, 2. l. obècāš, 3. l. obècā, mn. 1. l. obècāmo, 2. l. obècāte, 3. l. obècājū; imp. obècāj; aor. obècah; prid. r. m. obècao, ž. obècala, s. obècalo; prid. t. m. òbecān, ž. òbecāna, s. òbecāno; pril. p. obècāvši}

1. (*Što, komu*) **Obećati znači izjaviti da će se što učiniti, dogoditi ili ispuniti.**

– Obećao je i daljnju podršku našoj Udruzi i financijski i u svakom drugom pogledu.

– Neki su vjernici nosili majice sa slikom Benedikta XVI., koji je 28. veljače odstupio s dužnosti, a svojem je nasljedniku obećao odanost i poslušnost.

– Novi premijer obećao je i obnovu kuća svima kojima je u ratu učinjena šteta.

Tko obećaje? Bog, gradonačelnik, ministar, poslodavac, predsjednik, predsjednica, premijer, premijerka, vlada

Što obećaje? brda i doline *pren.*, isplatu, obnovu, podršku, pomoć, potporu, rješavanje, vjernost, zaposlenje; da (će darovati što, će donirati što, će dostaviti što, će isplatiti što, će pomoći, će razmotriti što, će uplatiti što)⁶

Komu obećaje? biračima, glasačima, građanima, javnosti, narodu, navijačima, predstavnicima čega, radnicima

Kako obećaje? čvrsto, javno, lažno, osobno, pismeno, svečano, usmeno

Koordinacija: obećati i ispričati se, obećati i ispuniti, obećati i izvršiti, obećati i zahvaliti

(+ vidski parnjak, sinonimi, tvorbeni oblici, etimologija)

Glagol koji zahtijeva akuzativnu dopunu, npr. *rezati*, uz značenje mogao bi dati informaciju o obveznosti (u zagradi samo neobvezna dopuna), pa bi definicija izgledala ovako:

rèzati *gl. nesvrš. prijel. (prez. jd. 1. l. rëžëm, 2. l. rëžëš, 3. l. rëžë, mn. 1. l. rëžëmo, 2. l. rëžëte, 3. l. rëžü; imp. rëži; aor. rëzah; prid. r. m. rëzao, ž. rëzala, s. rëzalo; prid. t. rëzân)*

1. što (čime) Rezati znači odvajati dijelove čega kakvom oštricom.

(...)

Akuzativne dopune koje se odnose na jednu valenciju i živo ili neživo, npr. na HJP-u *vidjeti (koga, što)* mogle bi se navoditi i kao *koga/što*. Ekspliciranjem ispred značenja dopune bi se mogle uvoditi za druge valentne vrste riječi: pridjeve, imenice, prijedloge.

6. Zaključak

Jedna je od temeljnih značajki ljudskoga jezika prema Charlesu Hockettu njegova diskretnost, odnosno svojstvo da se sastoji od jasno ograničenih elemenata. Na svim se jezičnim razinama ti elementi kombiniraju pod određenim pravilima, od fonetske razine i fonotaktike do sintaktičke razine. Priručnici koji ta pravila bilježe prije svega su gramatika, koja pravila bilježi ovisno o jezičnoj razini i skupini riječi, te rječnik, koji ta pravila na neki bilježi za svaku natuknicu koju sadržava (prema KATIČIĆU (1994: 281) riječ je o odnosu analogije i anomalije, propisa i popisa). Važno je gramatičko svojstvo riječi – i u utvrđivanju standardnoga idioma materinskog i u učenju stranoga jezika – valentnost riječi, tj. dopuna koja uz koju riječ dolazi. Ona je glavni predmet valencijskih rječnika, ali bilježi se i u drugim vrstama rječnika: frazeološkim, dvojezičnim, jednojezičnim. U jednojezičnim rječnicima donosi se kao gramatički podatak uz oznaku vida i naglašanih oblika, u gramatičkome bloku ili uz svako značenje pojedinačno. Budući da se kod višeznačnih riječi u sekundarnim značenjima nerijetko mijenja i valencija, donošenje dopune uz svako značenje jasnije je korisniku, koji do nje ne mora dolaziti samo preko

⁶ Točkom sa zarezom odvajaju se rečenične dopune, koje je također važno navesti.

frazema ili primjera, bilo sintagmatskih ili rečeničnih (usp. JERNEJ 1998: 222). Na obveznost ili neobveznost dopune pritom bi se moglo ukazati zagradom, odnosno zapisivanjem neobvezne dopune u zagradi. Na koncu, urednikova je odluka kako će upisati gramatičke podatke, a svaku bi odluku trebalo sustavno provoditi kad je god to moguće.

Izvori i literatura

- ANIĆ 1994 = ANIĆ V. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber, 1994.
- BARIĆ 1997 = BARIĆ E. i dr. Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga, 1997.
- BIRTIĆ 2017 = BIRTIĆ M. Usporedba sintaktičkih dopuna u e-Glavi i srodnim valencijskim modelima // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol. 43 No. 2. 263–284.
- BIRTIĆ 2018 = BIRTIĆ M. Vrste dopuna u Bazi hrvatskih glagolskih valencija. Od dvojbe do razdvojbje. Ur. Košutar P., Kovačić M. Zagreb: Ibis grafika, 2018.
- BIRTIĆ 2020 = BIRTIĆ M. Usporedba mrežnih valencijskih rječnika u slavenskim jezicima // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol. 46 No. 2. 483–510. DOI: [10.31724/rihjj.46.2.2](https://doi.org/10.31724/rihjj.46.2.2)
- BIRTIĆ, BRAČ 2020 = BIRTIĆ M., BRAČ I. Dopuna i dodatak u različitim jezikoslovnim teorijama. Hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Ur. Mihaljević M., Hudeček L., Jozić Ž. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2020. 262–280.
- BRAČ, DRLJAČA MAGIĆ 2014 = BRAČ I., DRLJAČA MAGIĆ S. The role of verb valency in Croatian and Russian learning at B1 level // Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education. Ur. Azamat A. IBU Publications. 979–989. DOI: [10.14706/JFLTAL15219](https://doi.org/10.14706/JFLTAL15219)
- BRAČ, MATIJEVIĆ 2020 = BRAČ I., MATIJEVIĆ M. Glagoli odašiljanja zvuka u hrvatskome jeziku // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol. 47 No. 1. DOI: [10.31724/rihjj.47.1.2](https://doi.org/10.31724/rihjj.47.1.2)
- BRAČ, BOŠNJAK BOTICA 2015 = BRAČ I., BOŠNJAK BOTICA T. Semantička razdioba glagola u Bazi hrvatskih glagolskih valencija // Fluminensia, Vol. 27 No. 1. 105–121.
- DEVOS, DEFRANCQ, NOËL 1996 = DEVOS F., DEFRANCQ B., NOËL D. Contrastive verb valency and conceptual structures in the verbal lexicon // Language Sciences, Vol. 18 No. 1–2. 319–338. DOI: [10.1016/0388-0001\(96\)00023-X](https://doi.org/10.1016/0388-0001(96)00023-X)
- DJORDJEVIĆ, ENGEL 2013 = DJORDJEVIĆ M., ENGEL U. Srpsko-nemački rečnik valentnosti glagola. Wörterbuch zur Verbvalenz Serbisch-Deutsch. München – Berlin – Washington: Verlag Otto Sagner, 2013. DOI: [10.3726/b12021](https://doi.org/10.3726/b12021)
- FILIPOVIĆ 1993 = FILIPOVIĆ R. (ur.) Teorija valentnosti i rječnik valentnosti hrvatskih glagola. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1993.
- FINK 2020 = FINK Ž. Odlazak dvoje hrvatskih frazeologa. Josip Matešić (1927.–2020.) Antica Menac (1922.–2020.) // Filologija, No. 74. 113–122.
- FRANČIĆ, MENAC-MIHALIĆ 2021 = FRANČIĆ A., MENAC-MIHALIĆ M. Rječnik frazema i poslovice međimurskog govora Svete Marije. Zagreb: Knjigra, 2021.
- GULEŠIĆ MACHATA, ČILAŠ-MIKULIĆ, UDIER 2011 = GULEŠIĆ MACHATA M., ČILAŠ-MIKULIĆ M., UDIER S. L. Glagolske valencije i inojezični hrvatski // Lahor, No. 11. 23–38.

- HJP = Hrvatski jezični portal. Dostupno na <https://hjp.znanje.hr> 31. ožujka 2022.
- HJS 1999 = Barić E. i dr. Hrvatski jezični savjetnik. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Pergamena, Školske novine, 1999.
- HRWAC 2014 = Ljubešić N., Klubička F. Hrvatski mrežni korpus (hrWaC). Dostupno na platformi Sketch Engine 31. ožujka 2022.
- HŠG = Hudeček L., Mihaljević M. Hrvatska školska gramatika. Mrežno izdanje. Dostupno na <http://gramatika.hr> 31. ožujka 2022.
- HUDEČEK, MIHALJEVIĆ 2021 = HUDEČEK L., MIHALJEVIĆ M. Kolokacije. Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik: Monografija (radna inačica). Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Dostupno na <http://ihj.hr/mreznik/page/monografija/34> 31. ožujka 2022.
- JERNEJ 1998 = JERNEJ J. Leksikografija i sintaksa // Filologija, No. 30–31. 221–226.
- KATIČIĆ 1994 = KATIČIĆ R. Leksikografija i gramatika // Filologija, No. 22–23. 281–286.
- KETTNEROVÁ, LOPATKOVÁ, BEJČEK 2012 = KETTNEROVÁ V., LOPATKOVÁ M., BEJČEK E. The Syntax-Semantics Interface of Czech Verbs in the Valency Lexicon // Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. Ur. Vatvedt F. R.; Torjusen M. J. Oslo: Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo, 2012. 434–443.
- LONČARIĆ 2020 = LONČARIĆ M. Josip Matešić (4. IX. 1927. – 25. III. 2020.) // Croatica et Slavica Iadertina, Vol. 16 No. 2. 467–470. DOI: [10.15291/csi.3255](https://doi.org/10.15291/csi.3255)
- LYASHEVSKAYA, KASHKIN 2015 = LYASHEVSKAYA O., KASHKIN E. FrameBank: a database of Russian lexical constructions // Analysis of Images, Social Networks and Texts. Ur. Khachay, M. i dr. Cham: Springer, 2015. DOI: [10.1007/978-3-319-26123-2_34](https://doi.org/10.1007/978-3-319-26123-2_34)
- MARKOVIĆ 2013 = MARKOVIĆ I. Uvod u jezičnu morfologiju. Zagreb: Disput, 2013.
- MATEŠIĆ J. (1982) Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. Zagreb: Školska knjiga.
- MENAC, FINK-ARSOVSKI, VENTURIN 2003 = MENAC A., FINK-ARSOVSKI Ž., VENTURIN R. Hrvatski frazeološki rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak, 2003.
- MIKELIĆ PRERADOVIĆ 2008 = MIKELIĆ PRERADOVIĆ, N. Pristupi izradi strojnog tezaurusa za hrvatski jezik. Zagreb: Filozofski fakultet, 2008.
- MIKELIĆ PRERADOVIĆ, BORAS, KIŠIČEK 2009 = MIKELIĆ PRERADOVIĆ N., BORAS D., KIŠIČEK S. CROVALLEX: Croatian Verb Valence Lexicon // Proceedings of the ITI 2009 31st International Conference on information technology interfaces. Ur. Luzar-Stiffler V., Jarec I., Bekić Z. Zagreb: Srce, 2009. DOI: [10.1109/ITI.2009.5196142](https://doi.org/10.1109/ITI.2009.5196142)
- MRAZOVIĆ, VUKADINOVIĆ 2009 = MRAZOVIĆ P., VUKADINOVIĆ Z. Gramatika srpskog jezika za strance. Novi Sad: Izdavačka kuća Zorana Stojanovića, 2009.
- MREŽNIK = Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Dostupno na <https://rjecnik.hr/mreznik> 31. ožujka 2022.
- OŽEGOV 1964 = ОЖЕГОВ С.И. Словарь русского языка. Москва: Советская энциклопедия, 1964. [OŽEGOV S. I. (1964) Slovar' russkogo jazyka. Moskva: Sovetskaja enciklopedija.]
- PETROVIĆ, DUDIĆ 1989 = PETROVIĆ V., DUDIĆ K. Rečnik glagola sa gramatičkim i leksičkim dopunama. Novi Sad – Beograd: Zavod Novi Sad, Zavod Beograd, 1989

- PRANJKOVIĆ 2002 = PRANJKOVIĆ I. Hrvatska skladnja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2002.
- PRZEPIÓRKOWSKI 2018 = PRZEPIÓRKOWSKI A. i dr. The origin of the valency metaphor in linguistics // *Lingvisticae Investigationes*, Vol. 41 No. 1. 152–159. DOI: [10.1075/li.00017.prz](https://doi.org/10.1075/li.00017.prz)
- RAGUŽ 2010 = RAGUŽ D. Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: vlastito izdanje, 2010.
- RHJ 2000 = Šonje J. (gl. ur.). Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Školska knjiga, 2000.
- SAMARDŽIJA 1986 = SAMARDŽIJA M. Valentnost glagola u suvremenom hrvatskom književnom jeziku. Zagreb: Filozofski fakultet, 1986.
- SAMARDŽIJA 1994 = SAMARDŽIJA M. Valentnost i semantičke mijene hrvatskih glagola // *Fluminensia*, Vol. 6 No. 1–2. 49–53.
- SAMARDŽIJA 2003 = SAMARDŽIJA M. Valentnost hrvatskih glagola. Zbornik Zagrebačka slavističke škole 2002. Ur. Botica S. Zagreb: FF Press, 2003.
- SILIĆ, PRANJKOVIĆ 2005 = SILIĆ J., PRANJKOVIĆ I. Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, 2005.
- STRUNA = Hrvatsko strukovno nazivlje. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Dostupno na <http://struna.ihj.hr> 31. ožujka 2022.
- ŠOJAT 2008 = ŠOJAT K. Sintaktički i semantički opis glagolskih valencija u hrvatskom. Zagreb: Filozofski fakultet, 2008.
- ŠOJAT 2009 = ŠOJAT K. Morfosintaktički razredi dopuna u Hrvatskom WordNetu // *Suvremena lingvistika*, Vol. 35 No. 2. 305–339.
- VIDOVIĆ BOLT 2017 = VIDOVIĆ BOLT I. i dr. Rječnik hrvatskih animalističkih frazema. Zagreb: Školska knjiga, 2017.
- VRH 2015 = Jojić Lj. (gl. ur.). Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika. Zagreb: Školska knjiga, 2015.
- ZGUSTA 1991 = ZGUSTA L. Priručnik leksikografije. Sarajevo: Svjetlost, 1991.
- ZHAO, JIANG 2020 = ZHAO Q., JIANG J. Verb valency in interlanguage: An extension to valency theory and new perspective on L2 learning // *Poznan Studies in Contemporary Linguistics*, Vol. 56 No. 2. 339–363. DOI: [10.1515/psicl-2020-0010](https://doi.org/10.1515/psicl-2020-0010)

Grammar in a dictionary on the example of word valency. This paper analyses complements in general monolingual dictionaries of the Croatian language. The inclusion of complements in a dictionary definition or dictionary articles is discussed, as well as the means of emphasizing the complement. After the part about word valency in linguistics (which finds the complement as one of the most important concepts) and the part about specialized dictionaries that directly or indirectly deal with valency, the work also analyses the lexicographic compilation of verbs of different valency in four general monolingual dictionaries of the Croatian language: *Rječnik hrvatskoga jezika* (RHJ), *Hrvatski jezični portal* (HJP), *Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika* (VRH) and *Mrežnik*. The paper also brings a proposal for the lexicographic description of chosen verbs.

Keywords: word valency, complement, dictionary, lexicography

КРИСТИНА РАТАЙЧИК
(Лодзь, Польша)

О фразеологических инновациях в речи детей (на материале русского языка)

Аннотация: Целью статьи является анализ фразеологических инноваций в языке ребенка. Анализ проводится на материале высказываний маленьких россиян, почерпнутых из словаря детского языка. В статье применяются, в качестве основных, методы структурного анализа, семантического анализа и выборки исследовательского материала из словаря. Результатом исследования являются четыре основных типа фразеологических инноваций в языке ребенка, т. е. структурные, структурно-семантические, семантические инновации и, как особая группа, детские фразеологические неологизмы. Тем самым доказывается наличие фразеологизмов в речи ребенка.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологические инновации, онтолингвистика, детская речь, русский язык

0. Введение

Ребенок рождается со способностью к освоению языка. В осуществлении данной способности ведущую роль играют социальные факторы, важнейший из которых – это роль речевой среды, в которую погружен ребенок. Это значит, что ребенок сам не «придумывает» слов, не соединяет их любым способом. Он подражает речи взрослых, часто цитируя их высказывания. Поскольку взрослые в повседневной жизни пользуются разговорным, нередко жаргонным или даже обценным языком, никого не должно удивлять, если услышит от ребенка цитаты наших высказываний со всеми их недостатками¹. Ребенок перенимает от взрослых не только слова, но и цельные выражения, клише, извлекаемые из памяти в готовом виде (нередко те и другие изменяя по-своему). Такие устойчивые в своем составе, структуре и значении выражения называются фразеологизмами².

Употребление фразеологизмов обогащает, разнообразит речь, усиливает ее образность. Однако оно не является частой языковой практикой, тем

¹ О разговорной разновидности языка говорят, что это «первый язык ребенка» (PORAYSKI-POMSTAa: URL, перевод наш – К. Р.)

² В данной статье мы расширяем понятие «фразеологизма», включая в него не только собственно фразеологизмы, т. е. идиомы, но и все целостные единицы (как минимум двучленные), извлекаемые из памяти в готовом виде, т.н. фраземы.

более у детей. Как отмечает С.Н. Цейтлин, «существование в языке фразеологизмов <...> осложняет усвоение языка ребенком» (ЦЕЙТЛИН 2000: 203, URL). Должно быть, из-за этого некоторые исследователи оспаривают использование фразеологизмов в речи детей³. Мы однако постараемся доказать, что фразеологизмы, вопреки этим мнениям, налицо в языке ребенка. Дети, в силу непонимания фразеологизмов, чаще всего употребляют их в измененном, трансформированном виде.

Целью статьи является определить понятие детской речевой и фразеологической инновации, а затем выявить основные типы фразеологических инноваций в речи детей. Хотя данная тема нашла свое освещение в онтолингвистических исследованиях, то всё она не исчерпана, а изучение детских речевых инноваций, как полагает С.Н. Цейтлин, в последние полвека «приобретает особый интерес, поскольку они могут быть рассмотрены как своеобразные вехи на пути ребенка в язык, позволяющие выявить стратегию освоения языка» (ЦЕЙТЛИН 2009: 27, URL). Вследствие этого актуальным кажется подобное исследование.

Исследовательский материал извлекается из словаря детского языка (ХАРЧЕНКО 2005)⁴ методом отбора, который позволил выбрать показательные примеры. Авторы высказываний – в основном дети дошкольного возраста (3–7 лет), хотя фиксируются и примеры от старших детей.

1. Понятие детской речевой инновации. Фразеологические инновации

Согласно С.Н. Цейтлин, «под детской речевой инновацией понимают любой языковой факт, зафиксированный в речи ребенка и отсутствующий в общем употреблении» (ЦЕЙТЛИН 2000: 164, URL). Это всякие «отклонения детского языка от языка взрослых» или же «отклонения от нормы в детской речи» (ЦЕЙТЛИН 2009: 27, URL).

К такого типа модификациям можно отнести и отклонения от нормы в употреблении детьми фразеологизмов, т. е. фразеологические инновации. Они возникают вследствие того, что дети не понимают странных для них словосочетаний и фраз. Причину этого непонимания можно усматривать в том, что дети мыслят, в противоположность взрослым, «вещами, предметами предметного мира. Их мысль на первых порах связана с конкретными образами. Потому-то они так горячо возражают против наших аллегорий и метафор» (ЧУКОВСКИЙ 2012: 53–54, URL). Фразеологизмы ведь, в основном идиомы, обладают образным, метафорическим значением. Дети воспринимают их буквально, как всякое словосочетание. Выше-сказанное подтверждается упомянутой уже С.Н. Цейтлин «<...> фразео-

³ Такого мнения, например, польские исследователи (см. BUTTLER, KURKOWSKA, SATKIEWICZ 1982: 212; PORAYSKI-POMSTA6: URL).

⁴ Часть данного материала находится также в наших статьях (см. ПАТАЙЧИК 2009; ПАТАЈСЗЫК 2010; ПАТАЙЧИК 2010). В настоящей статье он пополняется новыми, интересными примерами.

логизм по форме напоминает свободное сочетание обыкновенных слов, и поэтому существует опасность его буквального понимания» (ЦЕЙТЛИН 2000: 203, URL). Именно буквальное понимание детьми значения фразеологизмов приводит к их дефразеологизации.

1.1. Типы фразеологических инноваций в речи детей

Во фразеологических оборотах, употребляемых детьми, существенно проявляется детский индивидуализм. Он проявляется, между прочим, в некоторых изменениях, инновациях, заключающихся во введении новых слов, членов, которые в данном словосочетании могут нас озадачивать, и одновременно обновлять данное словосочетание (ZGÓŁKOWA 1986: 47, перевод наш – К.Р.). Фразеологические инновации (называемые также модификациями, дефразеологизацией, трансформацией, обновлением фразеологизма) касаются языка ребенка вообще, независимо от его национальности.

Фразеологические инновации в речи детей, по нашим наблюдениям, стандартно протекают в четырех направлениях: 1. изменение внешней формы фразеологизма с сохранением семантики (структурные инновации), 2. изменение структуры и семантики фразеологизма (структурно-семантические инновации), 3. семантические преобразования, не нарушающие структуры фразеологизма (семантические инновации) и 4. детские фразеологические неологизмы.

1.1.1. Первый тип фразеологических инноваций в речи детей касается модификации формы фразеологизма без семантических последствий. В таких словосочетаниях дети заменяют один из компонентов известным для них словом, часто паронимом: **Молочный** путь (ср. *Млечный путь*), **вверх кармашками** (ср. *вверх тормашками*), **генеральная вода** (ср. *минеральная вода*), **ванная каша** (ср. *манная каша*), **позорная труба** (ср. *подзорная труба*), **Конек Гребенек**⁵ (ср. *Конек Горбунок*), синонимом: **жаркий привет** (ср. *горячий привет*), **как сыр в масле валяется** (ср. *как сыр в масле катается*) (*Мой Коля хорошо живет, как сыр в масле валяется*), или же словами из одного семантического поля: **бросить глаз** (ср. *бросить взгляд*), **как в лужу смотрела** (ср. *как в воду смотрела*), **кричать во весь живот** (ср. *кричать в все горло*), **во весь крик** (ср. *во все горло*) (– *Я буду хрипеть во весь крик*), **волчья малина** (ср. *волчья ягода*), **умереть от апетита** (ср. *умереть от голода*), **футбольный стол** (ср. *бильярдный стол*), **сотрясение лба** (ср. *сотрясение мозга*), **перед головой** (ср. *перед носом*) (– *Поддай мне вон ту игрушку. – Где она? – Да вот же она у тебя*

⁵ Данная лексема является примером детского словотворчества. Ребенок образует уменьшительную форму от слова *гребень* при помощи суффикса *-ок/ёк*, не понимая, алогичного для него, чередования согласных – *н/ш*. Возможно здесь также влияние аналогичной формы *Горбунок*.

перед головой!). Интересным примером в данной группе является замещение компонента фразеологизма единицей, раскрывающей его лексическое значение, напр. горе **из лука** вместо *горе луковое* (*Играет с куклой: Горе ты мое из лука, а не дочка!*). Дети часто доводят фразеологизм до более логичной для них формы, напр. **и следа не осталось** вместо *и след простыл* (– *Рома летом здесь не будет жить, они на новую квартиру переедут. – Его и следа не останется?*).

1.1.2. Вторая группа детских инноваций касается приспособления формы известного фразеологизма для выражения нового содержания. Данная трансформация состоит в замене одного компонента фразеологического оборота другим словом – семантическим актуализатором, напр. **пить на весь мир** ‘о сильной жажде’ (ср. *пир на весь мир* ‘о веселом праздничестве с обильным угощением’) (– *Я хочу пить на весь мир!*); **кофейные зубы** ‘противоположные молочным’ (– *У меня раньше зубы были молочные, а теперь кофейные*); **на езду** ‘не останавливаясь во время езды’ (ср. *на ходу* ‘не останавливаясь’) (*Едет на велосипеде, смотрит вниз, под раму. – Да, очень трудно что-нибудь увидеть на езду*); **воспаление тяжельх** (ср. *воспаление легких*) (– *Мама, какие болезни ты знаешь? – Ангина, бронхит, воспаление легких... – А воспаление тяжельх бывает?*). К рассматриваемой группе инноваций принадлежит и расширение состава фразеологизма, напр. **идти в руку и в ногу** вместо *идти в ногу* ‘действовать, поступать наравне с кем-либо, или в соответствии с чем-либо’ (– *Пошли в руку и в ногу!*). Дополнение выполняет здесь функцию семантического актуализатора.

К особой группе структурно-семантических инноваций можно причислить контаминации, которые возникают вследствие скрещения двух фразеологизмов, напр. *Мама: – Неужели я толстая? Дочь: – Да нет, худая как пробка*. В приведенном примере имеем дело с контаминацией двух разных семантически фразеологических сравнений: *худ как спичка* и *глуп как пробка*. Новообразование сохраняет значение более сильного фразеологизма – в данном случае это *худ как спичка*. В речи детей можно встретить также контаминации свободных и устойчивых словосочетаний, напр. *О лесенке в купе: Мне казалось, что это просто кран, когда предотвратить аварийную помощь. Но когда я дернул, тогда оказалось, что это лестница!* Скрещение двух, не схожих по значению, синтагм *предотвратить аварию* и *оказать помощь* обуславливается, возможно, их ассоциативной близостью (предотвращение аварии является своего рода помощью). Наблюдаются также контаминации фразем с подобными значениями, напр. *обстоят дела и складывается судьба* (– *Почему путешествовать так интересно? – Ты путешествуешь по разным странам, и путешествие – это смысл! Если хочешь путешествовать везде, а тебе нельзя, то ты уже начинаешь понимать, что так обстоит судьба...*); *навести порядок и сделать уборку* (– *Хорошую уборку я навел в*

своей комнате?). Интересным, хотя редким приемом является контаминация фразеологизма с синонимичным ему словом. В исследовательском материале статьи налицо один такой пример: *Брату, который бегаёт, кричит: Ты с ума сбесился, Саша!*, в котором скрещивается фразеологизм *сойти с ума*, т. е. ‘сбеситься’ и *сбеситься*.

1.1.3. Фразеологические инновации – это также наделение фразеологизма новым значением с сохранением его структуры, т. е. семантическая реинтерпретация фразеологизма. Она возникает вследствие перенесения цельного словосочетания из типичного для него контекста в нетипичный (из первичной ситуации к вторичной). Такого типа модификации можно представить в двух группах: 1) придание нового значения фразеологизму и 2) десемантизация, т. е. актуализация первичного, структурного значения фразеологического оборота.

Подобная, двукомпонентная реинтерпретация фразеологизмов налицо в речи детей. Например фразеологизм *до дна* ‘целиком, полностью (испытать, понять, использовать и т.п.)’ в речи ребенка получил немного другое семантическое наполнение в связи с изменением слова контекста: – *А мы Джоника до дна подстригли уже?* Подобный пример: *Лиле завязывают сарафан. Стоит с поднятыми руками: – Быстрой Таня, а то руки в обморок скоро упадут.* Идиома *падать в обморок* ‘терять сознание’ относится к человеку. Применение другого контекста соответственно изменяет значение идиомы на ‘терять силы, слабость’. Фразеологизм *ни туда ни сюда* ‘ни в какую сторону’ в контексте: *Улеглась на ковре рядом с пуделем. – У нас две собачки. Одна умная – ни туда ни сюда, а другая неумная*, приобрел значение идиомы *хоть куда* ‘отличный, очень хороший’⁶. Интересную реинтерпретацию претерпевает идиома *без ума* ‘в восторге, в восхищении *от кого чего*; очень сильно любить’ в контексте: *Сын маме: – Ты была без ума, когда спала.* Ребенок придал ей новое значение: ‘быть без сознания – о состоянии спящего человека’. Приведем еще один пример из данной группы: *Разговор о «сидячем» поезде Москва–Ленинград: – И не спать? Так сидеть сломя голову?* Выделенная единица является свободным словосочетанием со значением ‘опустив, склонив голову’, не имеющим ничего общего с омонимичным ей фразеологическим сращением со значением ‘стремительно, опрометью, стремглав (бежать, мчаться)’.

Семантическая реинтерпретация фразеологизмов это также раскрытие их первичного, структурного значения, восстановление образа, часто абстрактного, который лег в основу фразеологического оборота, напр. *Фантазирует в поезде на тему верхней полки: Дед сто лет с полки упадет, костей не соберет, одни тапочки останутся!* Фразеологизм *костей не соберешь* (*не собрать*) употребляется как угроза ‘будешь уничтожен,

⁶ Кажется, ребенок перепутал эти две идиомы вследствие некоторого структурного сходства.

погибнешь', однако, как видно, его можно образно, даже шутливо использовать в первичном, дословном значении. Подобные примеры это результат факта, что ребенок мыслит предметами, анализирует язык и не понимает наших «взрослых» метафор и аллегорий. Поиск смысла в конструкции каждого слова и словосочетания является причиной того, что дети возражают против фразеологизмов, логика которых их не удовлетворяет, напр. *Сестра брату: А еще говоришь, что на легкую ходишь атлетику! Где ж она легкая, раз так устал! Трудная она...*⁷; *Мать дочери: – Горе ты мое луковое! Вероника: – Не горе, а поле! Горе луковым не бывает, а поле бывает, или (чаще) проверяют наши фразы: – Новый год на носу! – Мама, посмотри, есть у меня на носике Новый год?; – Все, когда чего-то много, говорят «хоть посоли», но не солят почему-то; – Это что? – Божья коровка. – А где у нее вымя?; – А почему называется «Млечный Путь»? Там что, космический корабль молоко пролил?; – А почему говорят «спать валетом», а не спать дамой, королем?*

Иногда логичные вопросы детей служат просто удовлетворению любопытства, напр. – *А с ума сходят быстро или медленно? (сойти с ума 'стать безумным, ненормальным')*. Часто бессознательная актуализация элементов буквальности возникает в спонтанных реакциях детей на реплики взрослых, напр. – *Оля, Христос воскрес! – Не может быть! Когда? (Христос воскрес 'возглас, которым верующие христосуются в день Пасхи')*; *Услышал обещание «дать березовой каши». – Хочу березовой каши с молоком! (дать березовой каши 'наказать розгами')*; *Спрашивает у мамы: – Куда ты идешь? – Никуда! – Ну, куда? – На Кудыкину гору. – И я с тобой пойду на Кудыкину гору (на Кудыкину гору (воровать помидоры) 'ответ на вопрос «куда?», в котором выражено нежелание сказать правду')*; *Мать говорит про одноклассника сына: – Чтоб его и ноги здесь не было! Дочка подхватывает: – И руки тоже! (чтоб ноги не было (чьей, где) 'не смей больше приходить')*.

«Правда, в конце концов у детей создается привычка к нашим «взрослым» идиомам и метафорам, но эта привычка вырабатывается не слишком-то скоро <...>» (ЧУКОВСКИЙ 2012: 52, URL). Кажется, только 13-, 14-летние дети в состоянии понять некоторые метафоры. Иногда (редко) встречается и у дошкольников «взрослое», метафорическое мышление, которое дает начало игле слов. Например в высказывании 6-летнего ребенка налицо преднамеренная метафоризация (с уклоном на комический эффект) свободного словосочетания: – *Машина облила грязью...* – (Смеется.) *Выругала его? (облить грязью кого 'незаслуженно оскорблять, порочить, обвинять кого-л.')*. Вот иной пример каламбура из речи старшего (13 лет) ребенка: – *Собирается в школу, не может найти места в сумке для пакета с яблоками, смеется: Вот дела! Яблоку негде упасть! (яблоку негде упасть 'о чрезвычайной тесноте где-л.')*.

⁷ Контекст (*раз так устал*) подсказывает оппозицию *легкий – тяжелый*.

Вышеуказанные примеры свидетельствуют о понимании фразеологизмов и умелом их употреблении в коммуникации – также как языковой игры.

Кончая обсуждение группы семантической реинтерпретации фразеологизмов, целесообразно привести некоторые примеры истолкования фразеологизмов детьми: – **Золотая лихорадка** – это когда видишь золото и дрожишь, тебя взяло в дрожь; – **Старый Новый год** – Новый год для дедушек и бабушек; **Быть на посылках** у кого-л. – Золотая рыбка чтоб была на посылках у старухи. Ну такая тележка с посылками, как на вокзале. А на посылках – рыбка! – «**Заморить червячка**» – когда червячка гоняешь, червячок не знает, куда убежать и сдается.

1.1.4. Последняя группа выделенных нами фразеологических инноваций в речи детей это образованные ими фразеологизмы, которые мы называем детскими неологизмами. Замечается в них детская находчивость и фантазия, напр. **сделать глаза горкой** ‘закатить глаза’; **снежный дождь** ‘снег с дождем’; **железная каша** ‘каша, содержащая много железа’; **записка для водителя** ‘дорожный знак’ (– Я видел записку для водителя «Осторожно, олени!»); **зверский врач** ‘ветеринар’; **сахар в квадратик** ‘о сахаре-рафинаде’ (– Я не люблю сахар в квадратик, я люблю в точку); **лишняя кожа** ‘мозоль’ (– Посмотри, у меня на пальце лишняя кожа); **включить полные мозги** ‘сосредоточиться’; **одуванчиковый пух** ‘о плесени’; **сделать плечи** ‘снять боль в плечах с помощью массажа’ (Вечером у загоревшей девочки болят плечи. – Та бы тетя (массажист), что в садике, быстро бы мне плечи сделала); **до самой свадьбы** ‘очень нескоро’ (Обнимает маму: Не отпущу до самой свадьбы!); **смотреть теленком** ‘смотреть сердито, зло’ (– Я с Сашей поссорилась, и он теперь на меня теленком смотрит); **говорить на черную тему** ‘говорить о неприятном, плохом’; **ходить шепотом** ‘о тихой, неслышной ходьбе’.

Вышеуказанная группа – рефлекс «неосознанного мастерства»⁸ ребенка. Она свидетельствует о живом детском воображении и интересных ассоциациях, возникающих вследствие тщательного наблюдения за окружающим миром.

2. Заключение

Настоящая статья показывает, что фразеологизмы налицо в речи ребенка, начиная уже с дошкольного возраста. Они чаще всего употребляются ребенком в измененном виде – деформированном в отношении структуры и семантики, как своеобразные детские фразеологические инновации. По ходу анализа мы выделили четыре их типа: 1. чисто структурные инновации, не нарушающие семантики фразеологизма, 2. структурно-семантические инновации, затрагивающие структуру и семантику

⁸ Термин К. Чуковского (ЧУКОВСКИЙ 2012: 15, URL).

фразеологизма, 3. семантические инновации, изменяющие семантику фразеологизма с сохранением структуры (семантическая реинтерпретация фразеологизма) – наделяющие фразеологизм новым значением, или восстанавливающее его первичное, структурное значение, и 4. детские фразеологические неологизмы. Все типы фразеологических инноваций, помимо разных синонимов (см. выше – подраздел 1.1.), можно, как нам кажется, определить наиболее емким термином дефразеологизации. Их возникновение определяется аналитическим подходом детей к языку, ибо «дети вообще буквалисты. Каждое слово имеет для них лишь один-единственный, прямой и отчетливый смысл – и не только слово, но порою и целая фраза <...>» (ЧУКОВСКИЙ 2012: 53, URL).

Трудно сказать (и не было это нашей целью), какие типы фразеологических инноваций преобладают в языке ребенка, поскольку это открытая группа, которая всё пополняется новыми примерами, а находчивость ребенка в этом плане неисчерпаемая.

Модификации фразеологических единиц, совершаемые детьми, обновляют эти единицы, дают им новую «жизнь». Они занимательны не только для лингвиста, как неожиданные и интересные словосочетания, но также для любого адресата, как прекрасный источник юмора.

Литература

- РАТАЙЧИК 2009 = РАТАЙЧИК К. Особенности употребления фразеологизмов в речи детей // Новые направления в изучении лексикологии, словообразования и грамматики начала XXI века. Материалы международного симпозиума 4–5 мая 2009 года, Самара. Самара, 2009. 251–255.
- РАТАЙЧИК 2010 = РАТАЙЧИК К. Относительно детской контаминации (на материале русского языка) // Acta Universitatis Lodzianis. Folia Linguistica Rossica, 6, 2010. 141–147.
- ХАРЧЕНКО 2005 = ХАРЧЕНКО В.К. Словарь современного детского языка. Москва, 2005.
- ЦЕЙТЛИН 2000 = ЦЕЙТЛИН С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва, 2000. http://www.ontolingva.ru/Ceytlin_Jazyk_i_rebenok.pdf (дата обращения 7.04.2022).
- ЦЕЙТЛИН 2009 = ЦЕЙТЛИН С.Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. Москва, 2009. https://vk.com/doc305196786_590048579?hash=ebb78b925ce9fa4417 (дата обращения 7.04.2022).
- ЧУКОВСКИЙ 2012 = ЧУКОВСКИЙ К. От двух до пяти // Чуковский К. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Том второй. Москва, 2012. 5–388. https://imwerden.de/pdf/chukovsky_ss_v_15-ti_tt_tom02_2012.pdf (дата обращения 8.04.2022).
- BUTTLE, KURKOWSKA, SATKIEWICZ 1982 = BUTTLER D., KURKOWSKA H., SATKIEWICZ H. Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej. Warszawa, 1982.

- PORAYSKI-POMSTA^а = PORAYSKI-POMSTA J. Czy i jak możemy wpływać na rozwój mowy dziecka. <http://www.tkj.uw.edu.pl/art/czy-mozemy-wplywac-na-rozwoj-mowy-dziecka> (дата обращения 9.04.2022).
- PORAYSKI-POMSTA^б = PORAYSKI-POMSTA J. Czy dzieci mają świadomość językową. <http://www.tkj.uw.edu.pl/art/czy-dzieci-maja-swiadomosc-jezykowa> (дата обращения 9.04.2022).
- RATAJCZYK 2010 = RATAJCZYK K. Innowacje frazeologiczne w języku dziecka // Ginter A. (red.). Z zagadnień semantyki i stylistyki tekstu. Łódź, 2010. 465–474.
- ZGÓŁKOWA 1986 = ZGÓŁKOWA H. Czym język za młodu nasiąknie. Poznań, 1986.

About phraseological innovations in the children’s language (based on the Russian language). The aim of the article is to analyze phraseological innovations in the children’s language. The analysis is carried out on the material of the statements of young Russians, drawn from the children’s language dictionary. The methods of structural analysis, semantic analysis, and selection of research material from the dictionary are the main ones used in the article. As a result of the study, four main types of phraseological innovations in the child’s language were distinguished, i.e. structural, structural-semantic, semantic innovations and, as a special group, children’s phraseological neologisms. Thus, the presence of phraseological units in the child’s language is proved.

Keywords: idiom, phraseological innovations, ontolinguistics, children’s speech, Russian language

KÖNYVISMERTETÉS
RECENZIÓ

KRISTINA KIŠ
(Osijek, Hrvatska)

BORIS KIŠ
(Pečuh, Mađarska)

**Silvestar Balić: O Bibliografiji hrvatskih časopisa
u Mađarskoj (1989. – 2009.)**

Prikaz govori o knjizi autora Silvestra Balića “O bibliografiji hrvatskih časopisa u Mađarskoj (1989. – 2009.)” koja je izdana u Pečuhu 2019. godine. Bibliografija je usmjerena na periodične publikacije koje su temom ili autorom vezane za Hrvate kao nacionalnu manjinu u Mađarskoj. Napisi su svrstani u kronološki niz od sedam časopisa koji započinje napisima iz časopisa Glas (1989. – 1990.) do časopisa Pečuški/Pécsi horizont (2008. – 2009.). Autor je zabilježio mnoštvo detalja, izložio kratak uvod o svakom naslovu časopisa i uz svaku bibliografsku jedinicu naveo o kojoj se vrsti teksta radi. Bibliografija sadrži kazalo imena i indeks pojmova sa stručnim kazalom. Najviše je radova tematski vezano uz hrvatsku poeziju i katoličku crkvu.

Bibliografija hrvatskih časopisa u Mađarskoj Silvestra Balića prije svega je značajni prilog kulturnoj i društvenoj povijesti Hrvata u Mađarskoj. Autor je svoju pažnju usmjerio na periodične publikacije koje su prvenstveno temom ili autorom vezane za Hrvate kao nacionalnu manjinu u Mađarskoj. Prikupljeni su i prikazani podaci o publikacijama koje su izlazile u Budimpešti, Pečuhu i manjim mjestima u Mađarskoj u razdoblju od 1989. godine do 2009. godine, kada prestaje izlaziti posljednji broj časopisa Pečuški/Pécsi horizont. Časopisi, čiji je pregled omogućen ovom bibliografijom, okupljaju 530 autora hrvatske manjinske zajednice, a vrste se tekstova kreću od vijesti, razgovora, osvrtu a liturgijskih tekstova pa sve do književnih djela i njihovih prijevoda, studija i stručnih tekstova s polja kroatistike. Časopisi su često dvojezični, pa i trojezični, pa se tako pojavljuju hrvatski, mađarski, srpski i slovenski jezik, a nerijetko se osim o Hrvatima u Mađarskoj govori općenito o Južnim Slavenima.

Proučavatelji kulturne i društvene prošlosti Hrvata u Pečuhu, odnosno u Baranji i Mađarskoj općenito, dobili su ovom retrospektivnom bibliografijom izvor vrijednih bibliografskih podataka koje je autor otkrio i napisao da bi se otklonila mogućnost da budu prepušteni zaboravu.

Ovo je bibliografija za koju je valjalo provesti temeljito istraživanje, sabiranje, odabir i sadržajna analiza tekstova, a potom i klasifikacija te uređivanje. Napisi su svrstani u kronološki niz od sedam časopisa koji započinje napisima iz časopisa Glas (1989 – 1990.) do časopisa Pečuški / Pécsi horizont (2008. –

2009.). Kratak je period izdavanja navedenih časopisa pokazatelj krhkosti manjinskih časopisa i indikator problema s kojima se nakladnici suočavaju pri izdavanju.

U bibliografiji se uz svaku bibliografsku jedinicu navodi o kojoj se vrsti teksta radi. Tako je razvidno da se radi o pjesmama, pjesmama u prozi, pripovijetkama, jednočinkama, esejima, pričama i kratkim pričama, dramama, tragedijama, kritikama, člancima, stručnim radovima, osvrtima, portretima, vježbama, programima, govorima, izvještajima, studijama, planovima sati, nastavnim planovima, liturgijskim tekstovima, proglasima, usmenim pjesmama, pozivima, vicevima, bilješkama, vijestima, in memoriam, molitvama, obavijestima, ulomcima, enciklikama, intervjuima, čestitkama, crticama, savjetima, zapisima, biografijama, dopisima, pismima, ulomcima iz evanđelja, legendama, poslanicama, poslovicama, propovijedima, scenarijima, kronologijama, kalendarima, novelama, prikazima, aforizmima, recenzijama, raspravama, dnevnicima, sentencijama, pravilnicima, referatima, obrascima i korespondencijom.

Autor je zabilježio mnoštvo detalja i izložio kratak uvod o svakom naslovu časopisa. Pripremljeno će kazalo imena i indeks pojmova sa stručnim kazalom čitateljima nesumnjivo olakšati snalaženje. Kazalo imena upućuje na broj radova pojedinog autora u časopisima koji su obuhvaćeni bibliografijom. Analizirajući podatke iz kazala imena možemo doći do zaključka koji su autori bili najplodonosniji u razdoblju od 1989. do 2009. godine u navedenim časopisima. Prema analizi, najviše je objavljenih radova Đure Frankovića i to njih 35 iz područja književnosti, Leona Sabolek je najproduktivnija autorica s 28 tekstova vjerske tematike, zatim Milica Klaić-Tarađija s 26 tekstova također vjerske tematike te Stjepan Blažetin s 26 tekstova različite tematike (pjesme, studije, osvrti). Stručno kazalo upućuje da se u poredanim časopisima radi o književnim djelima, znanstvenim i stručnim djelima, publicistici, liturgijskom tekstovima, molitvama i metodici. Sabirajući podatke po pojedinim temama možemo zaključiti da je najviše radova tematski vezano uz hrvatsku poeziju i crkvu, religiju, odnosno vjeru.

Ovaj je rad pohvalna znanstvenoistraživačka inicijativa u polju bibliografije posebice što se tiče značaja praćenja kulture, književnosti, društvenih pitanja i općenito života hrvatske zajednice u Mađarskoj. Nesumnjivo će pridonijeti zanimanju ostalih istraživača za daljnje proučavanje.

STJEPAN BLAŽETIN
(Pečuh, Mađarska)

Robert Bacalja, Nikola Benčić: Zlata riba, gradišćanskohrvatska poezija za dicu i mladinu, Hrvatski kulturni i dokumentacioni centar, Eisenstadt, 2021. 288 str.

Knjiga je Roberta Bacalje i Nikole Benčića pod naslovom *Zlata riba, gradišćanskohrvatska poezija za dicu i mladinu* podijeljena na sljedeće cjeline: Rič izdavača, Uvodne napomene, Pjesnički tekstovi, U usmenoknjiževnom krugu (R. Bacalja), Kratki životopisi (N. Benčić), Neke misli o gradišćanskohrvatskoj dičjoj i mladinskoj književnosti (N. Benčić), Kratice, Sastavljači, Sadržaj.

Kao i u slučaju većine književnopovijesnih i književnoteorijskih pojmova tako ni u slučaju „dječje poezije“ nije lako i jednostavno odrediti koji tekst pripada a koji ne korpusu dječje poezije. Da li su, primjerice, pjesme koje autori namjenjuju djeci doista dječja poezija? Da li je dječja poezija ono što djeca čitaju? Ima li dječja poezija čvrste osobine koje ju odvajaju od književnosti za „odrasle“? Koja je satsavnica termina „dječja poezija“ važnija? Da li ona umjetnička (poezija/književnost) ili ona koja upućuje na recipijenta (dječja)? Svaka nova knjiga dječje poezije a pogotovo antologije, zbornici i hrestomatije implicitno daju odgovor na maloprije postavljena pitanja, na neki način definiraju što je dječja poezija, ili, možda točnije, koje pjesničke tekstove sastavljač(i) smatraju dječjom poezijom.

Pionirska knjiga autorskog dvojca Roberta Bacalje i Nikole Benčića pod naslovom *Zlata riba, gradišćanskohrvatska poezija za dicu i mladinu* svojim postojanjem i sabiranjem raznih tekstova od usmenoknjiževnih pjesama do najmlađih gradišćanskohrvatskih autora pokazuje, a na neki način i definira korpus gradišćanskohrvatske dječje poezije. Pregled počinje usmenoknjiževnim stvaralaštvom i to zapisima Frana Kurelca, Franje Ksavera Kuhača, Ivana Vukovića i Lajoša Brigovića a nastavlja se pjesmama objavljenim pretežito u udžbenicima, časopisima i kalendarima te se završava sa suvremenim autorima. Pri odabiru pjesničkih tekstova gradišćanskim se Hrvatima pristupilo jedinstveno bez obzira na sadašnje državne granice. U knjizi su stoga našli svoje mjesto i gradišćanskohrvatski autori iz Mađarske kao što su na primjer Mate Šinković, Lajoš Škrapić, Matilda Bölcs, Timea Horvat i drugi.

U obilato dokumentiranoj studiji pod naslovom *U usmenoknjiževnom krugu* Robert Bacalja pruža književnopovijesni pregled gradišćanskohrvatske dječje poezije od početaka do naših dana. Prve se autorske pjesme pojavljuju u udžbenicima. Autori, koji nerijetko ostaju u anonimnosti, najčešće su učitelji ili svećenici pa nas ne čudi da je naglasak stavljen na odgojnu i vjersku kompo-

mentu. Pojavljuju se tradicionalni motivi s jasno formuliranim porukama. Naglasak je prije na onomu što autori (odrasli) očekuju od djece (dobro ponašanje, marljivost, učtivost itd.), a ne na pokušaju da se autorska svijest približi dječjem poimanju svijeta koje se prije svega temelji na igri. Može se zaključiti da je gradišćanskohrvatska dječja poezija i sadržajem i izrazom ostala sve do najnovijih vremena prilično konzervativna i vjerna tradicionalnoj dječjoj pjesmi koja tematizira obitelj, roditelje, vjeru, školu, blagdane, godišnja doba, dječje radosti, ustaljeni animalistički svijet itd. Unatoč izraženoj pedagoškoj tendenciji, od druge polovice XX. stoljeća sve veću ulogu dobivaju igra, mašta, fantastika i osebujno viđenje svijeta iz dječje perspektive. Igre riječima katkad se pretvaraju i u nonsensnu igru (Šoretić, Čenar), toliko karakterističnu za hrvatsku dječju poeziju nakon Grigora Viteza a pogotovo Zvonimira Baloga. Posebna je vrijednost Bacaljinog teksta što pored opisa povijesti gradišćansko-hrvatske dječje poezije, čitatelja informira i o najvažnijim zbivanjima u hrvatskoj dječjoj poeziji uopće te tako stvara okvir za poredbeni pristup.

Središnji dio knjige sadrži nešto više od 450 pjesničkih tekstova od kojih 120-ak pripada usmenoj književnosti a za dio tekstova koji nisu potpisani može se pretpostaviti da su ih napisali vjerojatno urednici časopisa ili autori udžbenika. Objavljeni korpus nudi doista široki uvid u gradišćanskohrvatsku dječju poeziju. Priređivači su očito nastojali uključiti što više autora i što više pjesničkih tekstova a pri određivanju dječje pjesme uzimali u obzir kontekst vremena u kojem su tekstovi nastali. Naime, pred dječju pjesmu postavljaju se savim drugi zahtjevi u drugoj polovici XIX, nego krajem XX. stoljeća. Svjesni te činjenice, korpus dječjih pjesama ne promatraju isključivo iz našeg današnjeg očista, već nastoje primijeniti one kriterije koji su važili u određenom povijesnom trenutku.

U svojevrsnom pogovoru pod naslovom *Neke misli o gradišćanskohrvatskoj dječjoj i mladinskoj književnosti* Nikola Benčić potvrđuje ono, što je pažljiviji čitatelj ove knjige jamačno i sam uočio: „Naša, do sada jedina zbirka poezije za dicitu i mladinu se je pojavila 1967. po zanesenom sabiranju i uređivanju narodnoga književnika, pjesnika i prozaista Antona Leopolda, naslovom *Gradišćanski hrvatski gaj*, izdanje Hrvatskoga štamparskoga društva.“ Zvuči možda nevjerojatno, ali gradišćanskohrvatska dječja poezija do danas nema niti jednu autorsku zbirku dječjih pjesama što, naravno, ne znači da nema dječje poezije! Ova panorama upravo svjedoči o snažnoj rasprostranjenosti dječje poezije unutar korpusa gradišćanskohrvatske književnosti. Nadajmo se da će u skorije vrijeme ugledati svjetlo dana i gradišćanskohrvatske zbirke dječje poezije. Na tom putu i ova panorama može biti više nego poticajna! Benčić upozorava i na jezične posebnosti, a radi suvremenih čitatelja (naročito djece) unesene su i stanovite intervencije kako bi se tekstovi lakše čitali. Tomu služe i objašnjenja manje poznatih riječi kojih ponajviše ima kod usmenoknjiževnih tekstova i pjesama iz XIX. stoljeća.

Knjiga *Zlata riba, gradišćanskohrvatska poezija za dicitu i mladinu* Roberta Bacalje i Nikole Benčića je nesvakidašnje djelo koje s jedne strane skreće po-

zornost na gradišćanskohrvatsku dječju poeziju, sabire i pokazuje put koji je gradišćanskohrvatska dječja pjesma prešla od usmenoknjiževnih pjesama i brojalica preko tekstova na stranicama udžbenika do pojave autorskih pjesama u XIX. stoljeću i modernih ostvarenja na primjer Andija Novosela, Ane Schoretits ili Jurice Čenara. S druge strane *Zlata riba* nas upozorava na potrebu ispitivanja, opisivanja i uključivanja rubnih prostora hrvatske književnosti i kulture u svekoliki hrvatski književni i kulturni korpus, naime, nerijetko u sasvim drugačijim uvjetima nastaju slične pojave kao i u središtima hrvatske književne i kulturne produkcije. Osviještavanje ovoga saznanja jedan je od najznačajnijih doprinosa ove knjige.

Izabranim pjesničkim tekstovima (i autorima) ova knjiga donosi relevantan uvid u gradišćanskohrvatsku dječju poeziju. Prateći tekstovi, *U usmenoknjiževnom krugu* Roberta Bacalje i *Neke misli o gradišćanskohrvatskoj dičjoj i mladinskoj književnosti* Nikole Benčića donose kratak književnopovijesni prikaz gradišćanskohrvatske dječje poezije, detektiraju njezine posebnosti čime doprinose njezinom kritičkom usustavljanju. Stoga je knjiga *Zlata riba, gradišćanskohrvatska poezija za dicu i mladinu* važan doprinos književnopovijesnoj kroatistici.

TIMEA BOCKOVAC
(Pečuh, Mađarska)

**Ernest Barić: Rječničko blago i pučka kultura Martinaca –
Felsőszenmárton szókincse és népi kultúrája**

Nakon *Rječnika pomurskih Hrvata* (2009) i *Rječnika govora santovačkih Hrvata* (2016) leksikografija Hrvata u Mađarskoj obogatila se još jednom iznimno vrijednom znanstvenom monografijom autora prof. Ernesta Barića pod naslovom *Rječničko blago i pučka kultura Martinaca – Felsőszenmárton szókincse és népi kultúrája*. Nakladnik izdanja je Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, urednik dr. sc. Stjepan Blažetin, a recenzenti su ugledni stručnjaci, jezikoslovci doc. dr. sc. Marija Znika, viša znanstvena suradnica u miru Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, dr. sc. Mijo Lončarić, viši znanstveni savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i doc. dr. sc. János Pesti, redoviti profesor u miru Sveučilišta u Pečuhu.

Ova knjiga nudi znatno više od same građe zavičajnih rječnika, naime osim obrađenog korpusa od 6560 natuknica na 326 stranica podijeljenih u 12 poglavlja donosi brojne povijesne, kulturološke i etnološke podatke o naselju Martinaci, kao i regionalne, pučkoetimološke i etnološke izraze mjesnoga govora. Dvojezičnu (hrvatsko-mađarsku) monografiju otvara *Uvod – Bevezetés* u kojem autor argumentira odabir teme, definira temeljne pojmove, ističe razlike između standardnog jezika i dijalekta, određuje metodologiju i svrhu rada. Nakon toga slijedi *Zahvala – Köszönet* recenzentima, kazivačima, kolegama i kolegicama istraživačima, autorima i autoricama fotografija, odnosno glasnogovorniku Hrvata u mađarskom Parlamentu koji je uvelike podržao objavu izdanja. Popis rabljenih kratica (*Kratice – Rövidítések*) sadrži 73 natuknice. Najduži, treći dio, čini sam *Rječnik – Szótár* u kojem su riječi značenjski opisane i akcentuacijski označene, po potrebi navode se i izvorne rečenice, dok se istoznačnice donose pod raznim natuknicama. „Autor je koncipirao adekvatan model članka za pojedine vrste riječ. Članak načelno sadrži: 1. akcentuiranu dijalektnu lemu, natuknicu, 2. etimologiju, 3. adekvat značenja u hrvatskom književnom jeziku i mađarskom jeziku, 4. primjer upotrebe riječi u adekvatnoj rečenici 5. prijevod primjera na mađarski jezik. Primjeri su također u potpunosti akcentuirani, što je vrlo važno za hrvatski jezik, za razvoj akcentuacije“ (iz recenzije Mije Lončarića).

Najveći broj leksema čine opće imenice (a), ali je iznimno zanimljiv prikaz vlastitih imena (b), obiteljskih nadimaka (c) i toponima (d).

a) aldomâš reg. mađ. *áldomás* > *aldòmâš*,
líkovo, áldomás. 'Piće kojim
časti onaj tko je u kakvoj trgovini
dobio novac, piće kojim se proslavlja
obavljen posao'. 'Vásárban
vagy más adásvétel alkalmával
az eladó által fizetett borivás a sikeres
alku öröme'. * Pròdo sèm
svìnjče, pòpit cèmo aldomáša. (14.str.)

b) Ankèna 'oblik ženskog imena Ana'.
* Trí so bìle Ankène. Jèdna je bìla
Lūlīna Ankèna. (15.str.)

c) Róco, Rōcīni Guljaš, 'obiteljski nadimak', 'családi
ragadványnev', Rōcīna Jána. (178.str.)

d) Vāda mt. tur. ada > áda, riječni otok, sziget. (222. str.)

Poseban dio izdanja čine *Tekstovi na martinačkom govoru – Helyi nyelv-járásí szövegek*, kao i *Tekstovi iz knjige Đure Frankovića Blagdanski kalendar 1. i Blagdanski kalendar 2.* kazivača Joze Hidega i Joze Šimare. Nakon njih u ulomku pod naslovom *Povijest Martinaca - Felsőszentmárton története* u kontekstu kronološkog pregleda povijesnih zbivanja prate se promjene naziva naselja, migracijski procesi mjesnoga življa te se donose podatci prvog županij-skog popisa iz 1720. godine u kojem se imenuje 15 obitelji. Komorski popisi i kanonske vizitacije vjerno svjedoče o postojanosti hrvatske riječi u tome mjestu, dok nam zabilježeni toponimi i mikrotoponimi otkrivaju kako se većina stanovništva bavila poljodjelstvom.

U sljedećoj cjelini, *Glavne osobine martinačkoga govora – A felsőszentmártoni nyelvjárás főbb sajátosságai*, opisuju se osobine slavonskog dijalekta, refleks jata, točna akcentuacija i naglasni sustav, kao i refleksi samoglasnika, tj. jedna od najvažnijih odrednica martinačkog govora: šćakavizam.

O glagolima, imenicama muškoga roda na suglasnik, imenicama ženskog roda, određenim i neodređenim oblicima pridjeva, kao i o zamjenicama i mogućnostima tvorbe govori se u poglavlju *Morfologija – Alaktan*.

Antroponimi donose popise muških i ženskih imena, izvornih martinačkih prezimena i njihovu zastupljenost u Republici Hrvatskoj. Detaljno se opisuju razlozi procesa mađarizacije do kojeg je došlo primarno zbog političke prisile u razdoblju između dvaju svjetskih ratova. Saznajemo i kako se *Inačice u martinačkom govoru* dijele na arhaičnije i suvremenije ili na riječi stranog i lokalnog hrvatskog podrijetla.

Dodatak – Függelék sadrži poseban popis **hungarizama**: npr. orsag – država – ország, utkaprov – cestar – útkaparó, (*Hungarizmi - Hungarizmusok*); **germanizama**: npr. baróka – Perücke – perika – oldalszakáll, cakumpak – Sach und pack – potpuno (*Germanizmi - Germanizmusok*); **turcizama** npr. čorba – corba – juha – leves, pekmez – begmaz – pekmez – lekvár (*Turcizmi -*

Turcizmusok); **latinizama**: npr. familija – familia – obitelj – család, višekrstij–sacristia – sakristija – sekrestye, (*Latinizmi - Latinizmusok*); **grecizama**: npr. hiljada – khilias – tisuća – ezer, drum – dromos – cesta – köves út, (*Grecizmi - Grecizmusok*); **talijanizama**: npr. faljinga – fallanza – mana – fogytékosság, ružmarin – rosmarino – ružmarin – rozmaring, (*Talijanizmi - Italianizmusok*); **galicizama**: npr. mitraljez – mitrailleuse – strojnica – géppuska, muškatlin–geranin – geranij – muskátli, (*Galicizmi - Gallicizmusok*) i **anglizama** npr. bus – bus – autobus – autóbusz, kardigan – cardigan – vesta na kopčanje bez ovratnika – kardigán (*Anglizmi - Anglizmusok*) koji svjedoče o višestoljetnom suživotu s Mađarima, ali i drugim interkulturološkim dodirima.

Nakon popisa literature (*Literatura – Szakirodalom*) od 42 stavke, slijede izvadc i recenzija i autorov životopis.

Monografiju zaključuje *Antologija fotografija – Fényképválogatás* koja ilustrira sve ranije rečeno: upoznajemo se s mjesnom crkvom, odlazimo na *Mrtvicu*, prisjećamo se tradicionalne martinačke sobe, podravske ženske narodne nošnje, svakodnevnih drevnih djelatnosti poput tkanja, pranja rublja, tucanja konoplje, seoskih blagdana i veselja, gajdaša i tamburaša, ali i pjesnika Martinčana, Josipa Gujaša Džuretina i Đuse Šimare Pužarova.

Premda ovo djelo nije prvi leksikografski rad autora, već je objavio *Hrvatsko-mađarski rječnik za Hrvatske samouprave u Mađarskoj* (2002) i *Hrvatsko-mađarski rječnik (Horvát-Magyar Szótár, 2015)*, njime je, kao što to ističe prof. János Pesti u svojoj recenziji, stvorio novi žanr, tzv. rječnik zavičajnog govora na razini monografije, dakle prvi sustavni pregled zavičajne jezične i kulturne baštine Martinaca. O značaju govora Martinaca svjedoči i činjenica da je uvršten u 15 punktova svih skupina hrvatskih govora u Mađarskoj u *Hrvatskom jezičnom atlasu*.

Rječničko blago i pučka kultura Martinaca – Felsőszentmárton szóincse és népi kultúrája je izuzetno bitno dijalektološko djelo s ciljem spašavanja zavičajnog leksika, nastalo u vremenu kada se mjesni govori gube zbog nestanka jezične zajednice. Sakupljena je građa odraz mentaliteta ljudi ovog kraja i značajno doprinosi ojačanju kolektivnog pamćenja i očuvanju običaja, izreka, anegdota, donoseći brojne primjere iz živoga govora. Rječnik je velik doprinos hrvatskoj filologiji i izvrsno polazište za daljnja semantička, antroponimijska, toponimijska i onomastička istraživanja jezika Hrvata u Mađarskoj.

АНЕЛЬ КОЖАБЕРГЕНОВА
(Будапешт, Венгрия)

Жизнь Льва Толстого: опыт прочтения¹

В условиях современной мировой обстановки и происходящих в настоящее время событий становится очевидным, почему идеи великого гуманиста и пацифиста Льва Толстого, выраженные им в различных текстах более ста лет назад, продолжают оставаться актуальными в наше время. Также становится объяснимым и постоянный интерес исследователей к его творчеству и биографии. Среди многих авторов, занимавшихся биографией великого писателя, в качестве примера можно перечислить Б.М. Эйхенбаума, В.Б. Шкловского, С.Г. Бочарова, П.В. Басинского, а также зарубежных ученых Т.С. Ноулсона, Х. Маклина и других. Вместе с тем долгое время авторы биографий разделяли Толстого-романиста и Толстого-мыслителя, тем самым проводя четкое разделение между творчеством графа и его жизнью. Среди примеров исследователей, совершавших попытки сближения двух ипостасей Толстого как художника и философа, можно выделить труды, написанные французским исследователем А. Труайя и американским писателем Э.Н. Уилсоном. В частности, Э.Н. Уилсон в предисловии к переизданной в 2012 году версии своей книги «Толстой: биография», впервые опубликованной в 1988 году, признается: «Когда я снова перечитал эту биографию спустя столько лет и подумал о ее возрождении, я обнаружил, что вынужден переосмыслить эту дихотомию – между “литературным” Толстым и Толстым-диссидентом / мятежником / юродивым. Не было двух Толстых, – романиста и сектанта-анархиста – был один. “Война и мир” – это не просто великая национальная и семейная сага; это роман о личном и национальном возрождении. Она задает глубокие вопросы, как и ее преемница “Анна Каренина”. Это вопросы, на которые Толстой собирался ответить во второй половине своей писательской жизни, иногда в художественной форме, но чаще в произведениях незабвенных и непреходящих нравственных призывов» (пер. А. К.) (WILSON: URL).

Автор Андрей Зорин назвал свою книгу «Лев Толстой: опыт прочтения», и тем самым подчеркнул, что пишет не просто биографию великого писателя и мыслителя, но биографию, прослеженную в творчестве Толстого. Это способствовало объединению в книге «двух Толстых» – худож-

¹ Зорин А. Жизнь Льва Толстого: опыт прочтения. Новое Литературное Обозрение, 2019. 248 с.

ника и философа. С другой стороны, такой интегративный подход автора также позволил ему практически стереть границы между пространством произведений Толстого и пространством его реальной жизни. Тем самым он смог продемонстрировать, что зачастую для художника творчество является не столько отражением его жизни, сколько ее продолжением, ее важной составной частью. «“Война и мир”, “В чем моя вера?” или “Круг чтения” не менее важные факты биографии Толстого, чем его военный опыт, крестьянский труд или семейная трагедия» (с. 6). Кроме того, такой подход исследователя способствовал и более широкому анализу произведений Толстого, открывая читателю новый взгляд на его творчество.

Помимо художественных произведений автор в своем исследовании опирается на достаточно большой объем источников, включающих публицистику Толстого, его дневник и письма, а также воспоминания и переписку близких ему людей (в том числе и архивные материалы).

Исследование разделено на четыре главы: 1. «Честолюбивый сирота»; 2. «Женатый гений»; 3. «Одинокий вождь»; 4. «Беглая знаменитость».

Автор начинает книгу с представления семьи Толстых и сразу же отмечает, что «семья писателя описана в “Войне и мире” с такой выразительностью, что любая реальность обречена померкнуть на этом фоне» (с. 10). Брак родителей Толстого носил прагматичный характер, и он не скрывает этого в «Войне и мире». Тем не менее этот союз без любви оказался достаточно гармоничным. Мать Льва Николаевича в его представлении была идеальной женой, но не испытывала к своему супругу настоящей страсти. Вся ее любовь принадлежала детям. Образ матери как самого дорогого человека Лев Николаевич пронес через всю свою жизнь.

Во второй главе, охватывающей период написания двух его крупнейших романов «Война и мир» и «Анна Каренина», исследователь продолжает усиливать связь между жизнью писателя и сюжетами его романов. Исследователи Толстого обычно проводят параллели между писателем и героями «Войны и мира» Андреем Болконским и Пьером Безуховым, обнаруживая в обоих черты самого Льва Николаевича. Вместе с тем самым автобиографичным персонажем прозы Толстого считается Константин Левин из «Анны Карениной». История любви Левина и его невесты Кити во многом схожа с историей женитьбы самого писателя. Прежде чем влюбиться в свою будущую жену, Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в дом Щербацких. «Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидел ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери» (ТОЛСТОЙ 2006а: 24–25). Положение Толстого в доме доктора Андрея Евстафьевича Берса было отчасти сходным, но более сложным, так как «в отличие от Левина Толстой был еще и знаменитым писателем»

(с. 59). Так же, как и Левин, являясь другом и частым гостем в доме Берсов, Толстой был заворочен жизнью счастливой семьи, которой сам он в детстве был лишен. Как и у Щербацких, у Берсов было три дочери. Но если в романе замужество двух старших сестер Щербацких избавило Левина от необходимости выбирать, то самому Толстому не удалось избежать процесса выбора, вызвавшего даже определенные драматические события между сестрами. Берсы были убеждены, что писателя интересовала в качестве жены Лиза, старшая и самая серьезная из сестер, но выбор Льва Николаевича в итоге пал на среднюю дочь Софью.

Семья Берсов сыграла важную роль не только в истории «Анны Карениной», но и в «Войне и мире». Образ любимой героини писателя Наташи Ростовой был вдохновлен младшей дочерью Берсов – Татьяной. Младшая сестра жены Льва Николаевича, «исполненная радости жизни» Таня Берс, была любимым спутником Толстого. Она проводила с ним часы на пчельнике, рыбалке и охоте, а ее любовные приключения послужили материалом для романа. Для достижения необходимой меры реализма в романе Толстой нуждался в подробностях любви, описаниях раскаяний и страданий, о которых Татьяна ему рассказывала. Так, например, описание первого поцелуя Наташи и Бориса Друбецкого основано на признании, которое она сделала Толстому, о ее детской влюбленности в своего кузена Александра Кузминского.

В то же время Таня была не единственным источником вдохновения для создания образа Наташи. «Я взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа», – однажды сказал Толстой о своей любимой героине» (с. 81). Исследователь углубляет присутствие Софьи в эпилоге романа, где Наташа предстает перед читателем в образе преданной жены и заботливой матери. В то же время, как замечает автор, преображение, случившееся с Наташей, не повторилось в реальной жизни. «Татьяна Берс сохраняла свое победительное женское обаяние долгие годы после замужества» (с. 81).

Вместе с тем исследователь не ограничивается сопоставлением биографических фактов из личной жизни Толстого и его окружения с биографиями его персонажей. Автор также вписывает прозу Толстого в контекст социальных изменений, происходивших в российском обществе XIX века, и отслеживает в трудах писателя его реакцию на эти перемены.

Первые декабристские кружки, великие реформы, начавшиеся после отмены крепостного права, и зарождавшееся в России общественное мнение вдохновляли многих русских писателей XIX века, в том числе и Толстого. Андрей Зорин связывает появление романа «Война и мир» с увлечением писателя декабристами. По мнению автора, пытаясь обнаружить истоки самопожертвования декабристов, Толстой углубляется в прошлое, что и повлекло за собой рождение «Войны и мира». «По распространенной точке зрения, возникновение первых декабристских кружков было связано с заграничным походом русской армии – молодые офицеры осво-

бодили Европу, почувствовали на себе воздействие европейской свободы и уже не могли мириться с угнетением, которое застали на родине. Толстой оборвал свое повествование на изгнании французской армии из России – с его точки зрения, дух свободы не был импортирован из-за границы, но возник из единения дворян со своим народом в ходе войны» (с. 72).

Роман «Анна Каренина» становится своеобразным выражением мнения Толстого по поводу другой проблемы, волновавшей умы интеллектуалов того времени, – проблема женской эмансипации была предметом диспутов не только в России, но и во многих европейских странах. В вопросе женской эмансипации Б.М. Эйхенбаум видит влияние на Толстого французского социолога Пьера Прудона, с другой стороны, А. Зорин делает акцент на следование Толстым идеям Артура Шопенгауэра. Так, Толстой вслед за немецким философом придерживался мнения, что основная роль женщины заключается в воспроизведении и воспитании потомства. «В “Анне Карениной” окончательная деградация героини происходит не тогда, когда она изменяет мужу, и даже не тогда, когда уходит от него к любовнику, но когда она решает не иметь больше детей, чтобы оставаться сексуально привлекательной для Вронского. Именно отказ от материнства превращает ее в наркоманку и истеричку» (с. 105). Вместе с тем в то время как французские критики усматривали влияние Флобера на «Анну Каренину», и видели в романе Толстого следы изучения французской литературы, Б.М. Эйхенбаум считал, что «Анна Каренина» представляла собой не следование французским литературным традициям, но их преодоление (ЭЙХЕНБАУМ 2009: 641–642). Андрей Зорин идет дальше и видит в «Анне Карениной» попытку Толстого переписать флоберовскую «Мадам Бовари» в соответствии со своими духовными принципами.

Третья и четвертая главы книги посвящены духовным поискам Льва Николаевича и его постепенному отдалению от литературной деятельности. В этих главах подобно мозаичному узору автор собирает перед читателем путь борьбы Толстого длиною в жизнь: борьбы с институтами власти и религии, с социальной несправедливостью, борьбы за пацифизм и всеобщее благо.

Например, исследователь описывает яростную реакцию Толстого против войны России с Японией в 1904 году. «В статье “Одумайтесь!” Толстой обрушился не только на ритуализованное массовое убийство, которое представляла собой война, но и на идеологию племенного патриотизма, заражавшую людей ненавистью к другим народам и расам» (с. 189).

В то же время еще более яростную борьбу Толстой вел с самим собой. Одной из главных духовно-нравственных проблем Толстого, которую выделяет в книге исследователь – это отношения Толстого к сексу и сексуальности. «Он рассматривал половой инстинкт как принудительную силу, лишаящую человека сознательного контроля над собой. В отличие от государства или церкви этот источник принуждения находится внутри тела, что делает его только более опасным, поскольку его власть осу-

ществуется не с помощью внешних репрессий, но через манипуляцию желаниями и чувствами. Толстой считал, что человек должен сбрасывать оковы своей животной природы постоянным нравственным усилием, которое само по себе значит больше, чем любой достигнутый результат» (с. 153). Вместе с тем похоть была вовсе не единственным пороком, с которым Толстой считал необходимым бороться. «Для того чтобы чистая христианская любовь могла воцариться в его душе, ему следовало преодолеть “заботу о славе людской”, гордость, гневливость, недобрые чувства к другим, исключительное предпочтение своих родных, пристрастие к физическому комфорту, страх смерти и другие врожденные страсти» (с. 154).

В биографии Толстого, написанной Э.Н. Уилсоном, исследователь отмечал склонность Толстого к мифологизации своих воспоминаний. Уилсон утверждал, что художественный роман всегда рассказывает о правде через вымысел, и поэтому писатели, по его мнению, – это великие лжецы, которые по какой-то причине вынуждены переписать свое прошлое, переделать свои воспоминания, чтобы сделать свое существование более интересным или более объяснимым для самих себя (WILSON: URL). Толстой, по его мнению, также переписывал свои воспоминания, наделяя их определенной долей мифа, который создавал он сам. Автор Андрей Зорин также подчеркивает, что Толстому была свойственна мифологизация собственных воспоминаний, особенно детских. Он замечает, например, что в повести «Детство» Толстой создает идиллический мир, который основывался не столько на реальном опыте, сколько на литературном воображении писателя. И так же, как в «Детстве» Толстой формирует идеализированный образ дворянской усадьбы, он создает идиллическую картину своей семьи на страницах «Войны и мира». Здесь кажется уместным привести пример из «Анны Карениной», когда в предпоследней части, ожидая Анну в кабинете в доме Вронского, Левин рассматривает портрет Анны на стене: «Это была не картина, а живая прелестная женщина с черными вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивою полуулыбкой на покрытых нежным пушком губах, победительно и нежно смотревшая на него смущавшими его глазами. Только потому она была не живая, что она была красивее, чем может быть живая» (ТОЛСТОЙ 2006б: 273). Когда Анна входит, она оказывается «менее блестяща в действительности, но зато в живой было и что-то такое новое привлекательное, чего не было на портрете» (Там же: 274).

Таким образом, в рецензируемой книге автор представляет читателю Толстого – идеалиста, «бескомпромиссного максималиста» в вопросах литературного текста, брака и моральной жизни, в своих художественных произведениях воплощавшего идеалы, которые не могли быть достигнуты в жизни реальной. Подобно тому, как Толстой пытался создать в Ясной Поляне свою собственную утопию, на страницах художественных и публицистических произведений он воплощал свои идеалы любви, семьи,

религии, государственного устройства, человеческой духовности и нравственности.

В целом, рецензируемая книга, на наш взгляд, соответствует своему названию и интересна в первую очередь тем, что демонстрирует читателю, насколько тесно переплетены жизнь писателя и его творчество. Но важно отметить и другое неоспоримое достоинство рецензируемой книги – монография А. Зорина представляет читателю новый и интересный анализ произведений Льва Толстого. Также книга раскрывает процесс движения мысли великого писателя и мыслителя: как его идеи художественных произведений зарождались, угасали и перетекали в новые.

Литература

ТОЛСТОЙ 2006а = ТОЛСТОЙ Л.Н. Анна Каренина // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 18. Ч. 1-4. М: РГБ, 2006.

ТОЛСТОЙ 2006б = ТОЛСТОЙ Л.Н. Анна Каренина // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 19. Ч. 5-8 М: РГБ, 2006.

ЭЙХЕНБАУМ 2009 = ЭЙХЕНБАУМ Б.М. Лев Толстой: исследования. Статьи. общ. ред. И.Н. Сухих. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009.

WILSON = WILSON A.N. Tolstoy. Atlantic Books Ltd, 2015. <https://ru.scribd.com/read/353164302/Tolstoy> (дата обращения: 20.05.2022)

ALEKSANDRA SZYMAŃSKA¹
(Łódź, Poland)

Анатолий Самуилович Собенников
Творчество А. П. Чехова: пол, гендер, экзистенция (Москва, 2021)²

Предложенный автором ракурс прочтения известных произведений А.П. Чехова (проза и драматургия) является весьма актуальным. Актуальность исследования гендерной тематики в произведениях Чехова связана с новизной ее социологического и психологического тезауруса. Гендер позволяет исследовать автору не столько сам факт различий между мужчинами и женщинами – разницу в статусах, ролях и других аспектах жизни полов, но и механизмы доминирования, утверждаемого через гендерные роли и отношения. Маскулинное и фемининное рассматривается автором на онтологическом и гносеологическом уровнях. Автором ставится акцент на культурном и экзистенциальном аспектах проблемы.

Монография состоит из «Введения», тринадцати глав, «Заключения», списка литературы, указателя имен, а также упоминаемых произведений Чехова. Во «Введении» автором монографии выясняется интерес к заявленной в заглавии книги проблеме, а также дается ответ на вопрос о выборе творчества Чехова как иллюстративного материала (материалом для исследования стало свыше семидесяти произведений писателя). Автором отмечается рост во второй половине XIX века интереса к проблеме пола, что, по его мнению, неразрывно связано с развитием феминизма. В конце XIX века именно в связи с вопросом эмансипации появляются первые исследования в области гендерной психологии. Автором, вслед за В. Изером, подчеркивается, что медиумом, который составляет основные сведения об антропологических свойствах человека, является литература. Интерес Чехова к новейшим тенденциям в науке, как известно, не случаен. Чехов – естественник по образованию – оставался в курсе новейших открытий в науке. К тому же он входил в литературу в эпоху господства позитивизма, когда сциентизм был популярной позицией. Тезис автора о взаимодействии литературы и науки в творчестве Чехова вполне убедителен и доказан примерами из личной переписки писателя.

¹Aleksandra Szymańska, <https://orcid.org/0000-0002-3380-5396>

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki, Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej, 90-226 Łódź, ul. Pomorska 171/173, aleksandra.szymanska@uni.lodz.pl

² **Анатолий Самуилович Собенников**, Творчество А. П. Чехова: пол, гендер, экзистенция, Издательский Дом ЯСК, Москва, 2021, 287 с.

В аналитических главах монографии прослеживаются отдельные произведения Чехова. Они сгруппированы согласно основному аспекту гендерной проблематики, которая их объединяет. Итак, автором рассматривается в рамках заявленной проблематики психотип Дон Жуана, психотип женщины-хищницы, тургеневский миф о любви, «мысль семейная», курортный роман, гендерные стереотипы в произведениях из народной жизни и др.

Первая глава посвящается раннему творчеству Чехова, в котором гендерная проблематика представлена в юмористическом ключе. Как отмечает автор монографии, Чехова как начинающего литератора в мужской и женской психологии интересуют социально обусловленные парадоксы поведения, которые писатель раскрывает в таких стандартных ситуациях, как ситуация любовного свидания, объяснения в любви, свадьбы или супружеской измены. В качестве примеров приводятся и анализируются юморески «Перед свадьбой», «С женой поссорился», «Мечь женщины», рассказы «Он и она», «Барыня», «Живой товар», «Ниночка», «Женское счастье», «Живая хронология» и др. Как отмечает А. С. Собенников, в этот период позиция Чехова по отношению к вопросу равенства полов во многом созвучна позиции большинства русских психологов того времени, отстаивающих идею равенства полов.

Во второй главе монографии гендерная проблематика в пьесе Чехова «Безотцовщина», а затем в «Драме на охоте» рассматривается с учетом одного из мужских психотипов, а именно психотипа Дон Жуана. А. С. Собенников смотрит на оба текста с позиции женской и мужской психологии любви. Автором отмечается изменение в «Безотцовщине» гендерных ролей. Анализ первой пьесы Чехова позволяет автору отметить следы этих изменений, которые приводят к интересным замечаниям и углубляют прочтение первой драмы Чехова. Психотип Дон Жуана отмечается автором и в герое «Драмы на охоте». В отношениях Камышева с женщинами подчеркивается биологическое, «животное» начало. В поведении героя ощутимо стремление соответствовать гендерному стереотипу. Чехов по ходу романа разоблачает утрату мужских качеств Камышева.

Особо интересной нам показалась следующая глава монографии, в которой рассматривается гендерная проблематика в творчестве Чехова в связи с предшествующей литературной традицией. А. С. Собенникова в основном интересуется восприятие Чеховым тургеневского мифа о любви и его трансформация. Автором подчеркивается, что тургеневский миф о любви переводится Чеховым в иронический модус, чтобы в дальнейшем подвергнуться полной деконструкции. В контексте диалога с литературной традицией выстроена тоже глава VI, в которой рассматриваются отзвуки в творчестве Чехова одной из смысловых и аксиологических доминант в художественном мире Толстого, какой была для писателя «мысль семейная». Из ряда произведений Чехова с семейной тематикой автор монографии особое внимание уделяет повести «Три года», в которой

главный герой «мыслью семейной» проверяет свою жизнь. Автором монографии делается замечание о том, что «путаница» человеческих отношений не приобретает у Чехова характера мировой катастрофы, они изображаются как «экзистенциальная неизбежность». По мнению А. С. Собенникова, Чехов предлагает не идеологический, как у Толстого, а гендерный подход к проблемам любви, брака и семьи. К похожим выводам ведет автора и анализ рассказа «Именины», в центре которого находится не столько семейный конфликт, сколько гендерные роли. Ссора супругов воспринимается автором как ситуация экзистенциальная, в которой поведение героев объясняется именно гендерной ролью.

В рамках интересующей автора проблематики в монографии рассматриваются также драмы Чехова «Иванов», «Леший» и «Дядя Ваня». В названных пьесах исследователя в героях интересует то, что обусловлено мужской и женской природой, гендерными ролями и стереотипами. Отдельно автором монографии рассмотрена пьеса «Чайка». Как известно, в пьесе изображены люди искусства. А. С. Собенников предлагает посмотреть на них в гендерном аспекте, и он приходит к выводу, что игнорирование героями гендерных стереотипов может носить разрушительный экзистенциальный характер. По мнению автора монографии, именно мужское и женское в героях делает текст «Чайки» всегда современным.

В рамках вопроса пола и половой любви в монографии проанализирована ситуация адюльтера в таких рассказах Чехова, как «Несчастье», «Страх», «О любви». Автором монографии утверждается, что ситуация адюльтера в литературе особо насыщена философскими, ценностными и психологическими смыслами. В перечисленных произведениях одна и та же ситуация получает разные смысловые решения, которые автор раскрывает путем тщательного анализа.

В следующей главе упор делается на женских персонажах Чехова, представляющих собой психотип женщины-хищницы, отличающейся наличием сексуальности, умением использовать женственность в общении с противоположным полом. Героини рассказов «Тина» и «Ариадна», как нам показалось на основании данной главы, являются женским вариантом психотипа Дон Жуана.

Особый интерес с точки зрения вопроса о роли полов занимает курортный роман. Как справедливо замечает автор монографии, главная часть курортного романа – это «падение женщины». Но в «Даме с собачкой» Чехова эротическое вытесняется экзистенциальным. Если в двух первых главах рассказа на первый план выходит гендерная проблематика, то в двух последних она заменяется именно экзистенциальной.

Гендерная проблематика в творчестве Чехова освещается также благодаря рассмотрению ее на фоне массовой литературы эпохи у писателей «второго ряда» – И. Ясинского, В. Бибикова и Е. М. Шавровой. Сопоставительный анализ произведений указанных писателей и произведений Чехова приводит автора к выводу, что писатели-современники Чехова

остались в рамках своего времени, а Чехов шагнул в «большое время». По мнению А. С. Собенникова, Чехов преодолел биологический детерминизм школы Э. Золя путем обращения к экзистенциальному.

В предпоследней главе монографии автором рассматриваются гендерные роли в произведениях Чехова из народной жизни. Анализ таких рассказов и повестей, как «Бабые царство», «Скрипка Ротшильда», «Агафья», «Бабы» и др. приводит автора монографии к замечанию о преодолении Чеховым литературоцентризма в пользу изображения «живой жизни» и «живых людей». В людях из народа писатель находит общее с представителями других социальных групп. Много общего с другими социальными группами Чехов находит и в народных гендерных ролях и стереотипах.

Задачу последней главы монографии ее автор определяет следующим образом: «Заключительная глава посвящена истокам экзистенциальных ситуаций, где мужское и женское становится *человеческим*», т. е. речь идет об истоках экзистенциальной философии Чехова. Это – Марк Аврелий, Экклезиаст, античные представления о роке.

В «Заклучении» автором дается ответ на вопрос, в чем состоялось новаторство Чехова в понимании женского и мужского. По мнению А. С. Собенникова, главная заслуга Чехова заключалась «в разведении литературы и жизни». Многие герои Чехова выходят за рамки гендерного стереотипа, что подтверждает анализ репрезентативной группы произведений. Они изображаются в аспекте личной экзистенции. Движение героев в сюжете, что подчеркивается автором, определяется не внешней событийностью, а динамикой внутренних психологических изменений. Развитие персонажа в произведениях Чехова связано, как правило, с его экзистенциальным выбором.

Монография А. С. Собенникова отличается строгой выверенностью материала, глубокой научной базой, актуальностью подхода. Она рассчитана на преподавателей, студентов филологических факультетов, а также всех, кто интересуется гендерной проблематикой. Монография может быть также использована в качестве иллюстративного материала на факультетах психологии.

ДИАНА КОМЯТИ
(Печ, Венгрия)

**Пути ужасной красоты – идеи, темы, взаимосвязи
в мире классической русской литературы¹**

Новая книга Агнеш Дуккон, опубликованная в 2021 году на венгерском языке, представляет собой сборник избранных статей, в котором автор объединяет и суммирует некоторые результаты своей научно-исследовательской деятельности последних десятилетий.

Как отмечается во вступительном слове автора, понятие «ужасная красота», вынесенное в заглавие сборника, заимствовано из поэмы М.Ю. Лермонтова «Измаил-Бей», где поэт этим оксюморонным выражением характеризует жизнь и беспокойную, мятежную душу своего героя.² Однако, по словам автора, противоречивая природа красоты, ее угрожающая, темная сила возникает не только в художественных образах лермонтовского творчества, но в той или иной форме она проявляется в произведениях многих писателей и поэтов XIX века. Антиномичность красоты весьма часто обретает форму противопоставления красоты и добра, эстетики и этики, провоцирует вопрос о возможности или невозможности гармонии и счастья в условиях земного, материального мира. Статьи, вошедшие в сборник, объединяются авторским стремлением ближе подойти к обозначенной выше проблематике красоты, выявить скрытые взаимосвязи между явлениями русской и мировой культуры.

Как в плане хронологическом, так и в плане тематическом сборник охватывает широкие масштабы. В фокусе исследований стоят прежде всего произведения русской литературы XIX века (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский и др.), от которых тянутся нити к предшествующим и последующей эпохам русской и мировой культуры: к Овидию и Шекспиру, к русскому фольклору и древнерусской традиции, с одной стороны, к Бердяеву и С. Булгакову – с другой, и к венгерской литературе и культуре XIX–XX веков – с третьей.

Особое достоинство книги, как нам видится, заключается в том, что А. Дуккон рассматривает явления русской литературы не изолированно, а вписывает их в более широкий общеевропейский контекст. При этом

¹ Dukkon Á. A veszélyes szépség útjain. Esmék, témák, kapcsolatok a klasszikus orosz irodalom világában. L'Harmattan, Budapest, 2021. 358 old.

² «Он обладал пылающей душою, // И бури юга отразились в ней // Со всей своей ужасной красотой!..» (цит. А.Д., стр. 133)

автор находит параллели не только в сфере литературы, но задействует и другие области, напр. философию, психологию, живопись. Этот широкоаспектный подход к произведениям русской литературы XIX века позволяет автору обнаружить такие точки соприкосновения с явлениями мировой культуры, которые до сих пор либо оставались на периферии литературоведения, либо вообще не поднимались ранее в исследованиях. Подобные вопросы рассматриваются в статьях, в которых анализируются параллели между романтическими поэмами Пушкина и поэмой Яноша Арань «Катерина» (39–57), парадоксальность отношений между женщиной и женщиной в «Герое нашего времени» Лермонтова и «Дневнике обольстителя» Кьеркегора (116–130), (возможное) влияние идеи бессознательного Карла Густава Каруса на «психологизм» Достоевского (162–174) и др.

При этом в ходе исследования в поле зрения автора нередко попадают и такие взаимосвязи, генезис которых с филологической точки зрения трудно объяснить, либо вообще не может быть установлен. Как неоднократно отмечает А. Дуккон, подобные «точки притяжения», то есть параллельные темы и мотивы часто возникают не из непосредственного знакомства одного автора с произведениями другого, но здесь скрываются более глубокие процессы: общность умонастроения, схожесть проблем и идейно-эстетических взглядов, близость художественного мировосприятия и т.д., то есть такое духовное родство, которое хоть и не может быть доказано биографическими фактами, но тем не менее существует и заслуживает внимания исследователя. Пользуясь метафорой автора книги, движение мировой мысли можно сравнить с подводным горным хребтом, вершины которого, поднимаясь над поверхностью, производят впечатление обособленных друг от друга явлений, однако в глубине эти вершины связаны в единую горную цепь (293). Заглавие одного из разделов сборника – «Встречи в царстве духа» (*Találkozások a szellem birodalmában*) – как нельзя лучше отражает сущность этой глубинной духовной связи, яркими примерами которой могут служить соприкосновения в творчестве Пушкина и Яноша Араня, Лермонтова и Кьеркегора, Соловьева и Тейяр де Шардена.

Книга состоит из трех больших частей, которые, в свою очередь, делятся на разделы. В первые две части включены статьи, в которых в хронологическом порядке рассматриваются явления русской литературы XIX века от Пушкина до позднего Толстого и Соловьева; поднимаются эстетические, культурологические, философские вопросы, а также вопросы сравнительного литературоведения. Третья часть работы содержит статьи по истории рецепции русской литературы в Венгрии, в которых освещается многосторонность взаимосвязей русской и венгерской литератур.

В первую часть сборника вошли статьи о творчестве поэтов и писателей эпохи романтизма; в фокусе исследований – произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и др., а также некоторые основные моменты жизнен-

ного и творческого пути Белинского. Первые три статьи посвящены лирике и романтическим поэмам Пушкина: рассматриваются параллели и обнаруживаются неожиданные созвучия мотивов между творчеством «певца любви» – Овидия и творчеством Пушкина. Здесь отдельное внимание уделяется преемственности женских образов, которые объединяет общая судьба – они становятся жертвами любви. В образе пушкинской Татьяны усматриваются мотивы, восходящие к «Героиням» Овидия. Далее на материале поэмы «Полтава» анализируется, с одной стороны, влияние Байрона на творчество Пушкина, с другой – преодоление Пушкиным романтического индивидуализма Байрона, что проявляется, в частности, в обращении поэта к национально-исторической тематике, многогранном психологическом изображении героев, обращении к проблеме столкновения истории и человеческой личности. Особый интерес представляет третья статья первого раздела: здесь автор исследует фольклорную основу поэмы Яноша Араня «Катерина», в которой усматривается своеобразное сплетение байронических форм и венгерской народной легенды о «замурованной невесте/девушке». В ходе анализа выявляются весьма неожиданные параллельные мотивы между венгерской поэмой и «Полтавой» Пушкина, как напр. своеобразный «треугольник ревности» между отцом, дочерью и ее возлюбленным; мотив сумасшествия, связанный с признанием вины; тонкое изображение скрытых в глубине человеческой души чувств и страстей; а также роль фольклора, народной легенды в художественном мире произведения.

Следующие четыре статьи сборника объединяет тема природы: в них автор анализирует различные проявления таинственных сил природы, ее противоречивой, чарующей красоты в художественных произведениях первой половины XIX века. Сокровенная, непостижимая сущность природы ощущается в сквозных мотивах лирики Тютчева – в мотивах *хаоса* и *космоса*, *ночи*, *сна* как океана, во взаимоотражениях неба и земли, природы и души. Ночь, ночной пейзаж занимает важное место и в творчестве Гоголя, напр. в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», где в картинах ночной природы угадывается присутствие «темных» сил, стираются границы между реальным и сверхъестественным и создается фантастическая, тревожная атмосфера гоголевских произведений. Наиболее значимой в этом разделе нам представляется статья, в которой автор исследует геологические интересы Гоголя и их поэтическое переосмысление в художественных произведениях писателя. Как отмечает А. Дуккон, географические «объекты», связанные с подземной средой, напр. пещера, овраг, пропасть, а также водные объекты – река, пруд – у Гоголя перевоплощаются в «заколдованные» места, где из-под земли выходят на поверхность темные силы. Также автор указывает на связь «подземной географии» с психологическим аспектом: «подземный» мир ассоциируется у Гоголя с глубинными сферами сознания, в которых скрываются «темные» стороны – инстинкты, страсти и другие «подземные» течения – человеческой души.

Третий раздел сборника, как упоминалось выше, носит название «Встречи в царстве духа». В статьях, вошедших в этот раздел, А. Дуккон фокусирует внимание на скрытых взаимосвязях, внутренних диалогах, выявление которых освещает новые сегменты в широком течении русской и европейской литературы XIX века. Так, анализируя статью «„Гамлет“, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838), автор указывает на то, что в восхищенном отзыве Белинского о шекспировской трагедии и в интерпретации образа Гамлета угадывается атмосфера «эпохи безвременья»: в трагедии датского принца, в столкновении идеалов с реальной жизнью – что, по словам критика, является главной причиной бездействия героя – Белинский и его окружение усматривали трагедию современного русского человека, призванного к большему, но обреченного на бездействие в условиях николаевской реакции. Также интересными представляются, с одной стороны, взаимосвязи в творчестве и переписке Белинского и Тургенева, с другой – сопоставление анализа образа Печорина у Белинского и Вл. Соловьева (тема, кстати заметим, ранее не поднимавшаяся в литературоведении), которые бросают свет на душевные и идейные искания критика в период глубокого экзистенциального кризиса, переживаемого им в начале 1840-х годов. В продолжение размышлений над лермонтовским творчеством рассматриваются параллели между женскими образами в «Герое нашего времени» и «Дневнике обольстителя» Кьеркегора; также в этом разделе мы возвращаемся к понятию «ужасной красоты»: автор анализирует преемственную связь между образом Печорина и героями Достоевского. Как отмечает А. Дуккон, двойственность, дисгармоничность портрета Печорина, которая заключается в противоречии между красивой внешностью и темным, мрачным характером, проявляющимся в никогда не смеющихся глазах, находит свое продолжение в героях Достоевского. Так, Раскольников «замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами», но, по словам Разумихина, «угрюм, мрачен, надменен и горд». В портрете же Ставрогина амбивалентность доводится до крайней степени: его красота является в буквальном смысле «ужасной» – красивое лицо оказывается мертвой маской, за которой скрывается Зло.

Вторая часть сборника фокусирует внимание на эстетических, философских, религиозных исканиях в русской литературе второй половины XIX века. Первый раздел посвящен изучению творчества Достоевского в различных аспектах: психологическом, педагогическом, антропологическом, богословском. Автором рассматривается одна из сквозных тем русского романтизма и творчества Достоевского – тема двойничества: начиная с античности и древнерусской литературы, прослеживается постепенное развитие этой темы, которая получает наиболее полное оформление в больших романах Достоевского. Мотив двойничества как художественное оформление проблемы раздвоения человеческой души уводит нас в сферу глубинной психологии: как показывает автор, образ двойника

предстает как воплощение «вытесненных из сознания в область бессознательного комплексов, то есть таких психических содержаний, которые по тем или иным причинам несовместимы с личностью, и потому они проецируются во внешний мир как чуждые, посторонние, болезненные галлюцинации» (ЕРМАКОВ, цит. А. Д., стр. 171–172). Вместе с тем Достоевский идет дальше научной психологии; в его художественном видении на первый план выходит евангельская антропология: примат духовного измерения личности и возможность обновления – воскресения – через принятие страдания. В этом разделе А. Дуккон останавливает внимание и на другом ключевом образе творчества Достоевского – Великом Инквизиторе, с которым связаны эсхатологические представления Достоевского, что становится важным предметом размышлений многих писателей и философов Серебряного века, прежде всего Н. Бердяева и С. Булгакова.

Второй раздел составляют статьи, в которых так или иначе ставится вопрос о целях и предназначении искусства, и рассматриваются такие темы, как превратности русской жизни в сатире Салтыкова-Щедрина, объединяющая сила красоты, проявляющаяся в произведении сакрального искусства – иконе («Запечатленный ангел» Лескова), духовные и творческие искания позднего Толстого на пересечении священного и профанного, антиномия культуры и цивилизации в творчестве Пушкина и Толстого. Миропонимание Соловьева открывает новые горизонты в восприятии красоты: преодоление темного начала в природе и человеке, победа света над тьмой является ключом к «всеединству», к мировой целостности и гармонии.

Для венгерских читателей и тех, кто интересуется межкультурными связями вообще и русско-венгерскими литературными связями в частности, интересной будет третья часть книги, где рассматриваются некоторые вопросы рецепции русской литературы в Венгрии. В статьях, вошедших в эту часть сборника, автор прослеживает историю публикации произведений Гоголя в Венгрии в период с 1853 по 1944 гг., знакомит нас с жизнью и деятельностью выдающихся переводчиков XX века, анализирует влияние Достоевского на венгерских протестантских теологов (Бела Варга, Калман Уйсаси, Ласло Ватаи).

Книга А. Дуккон затрагивает широкий спектр тем и вопросов, предлагает множество интересных наблюдений и выводов и вносит существенный вклад в достижения венгерской русистики. Богатый материал, тщательно проработанная литература, подробный анализ теоретической базы, лежащей в основе изучаемых культурных явлений и произведений XIX века, открытость исследовательской позиции – все это определяет теоретическую значимость работы. Написанная изящным, легким и доступным языком, книга будет интересна как для исследователей-литературоведов, студентов и аспирантов, изучающих русскую, венгерскую и европейскую литературу, так и для широкой читательской аудитории.

ТЮНДЕ САБО
(Печ, Венгрия)

«Феномен затекста»
Монография под общей редакцией
Т. А. Снигиревой и А. В. Подчиненова
Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2021. – 394 с.

Коллективная монография «Феномен затекста» представляет собой выпуск серии научных изданий Уральского федерального университета, посвященных изучению периферийных явлений литературы.

После основополагающей работы Ж. Женетта о транстекстуальности, где французский исследователь систематизировал явные и скрытые взаимоотношения между текстами, в настоящей монографии сделана попытка ввести новый термин для обозначения особых аспектов межтекстовых отношений, и эта попытка, безусловно, привлечет внимание литературоведов и специалистов гуманитарных дисциплин.

В предисловии к монографии феномен затекста «предлагается рассматривать как систему (совокупность) культурных явлений, возникающих „за” (в значении „после”) текстом. Иначе, затекст – это произведение литературного творчества, иных видов искусств, а также философской рефлексии, созданные в результате воздействия литературы» (с. 8). Выделены два основных типа рассматриваемого феномена, обозначаемые и орфографически: *затекст* как форма авторской саморефлексии и *за-текст* как факт рецептивного пространства, художественного и научного.

Монография состоит из трех разделов, каждый из которых содержит семь глав. Первый раздел имеет постановочный характер, который обусловлен двумя теоретическими главами. В первой из них (*Глава 1*) рассматривается лингвистическая природа термина, а в другой (*Глава 7*) осмысливается его применимость ко всему, что расположено за пределами текста, «за текстом». Автор этой главы относится к функциональности термина скептически, утверждая, что «явление затекста ускользает от однозначного понятийного определения» (с. 119). Автор же первой главы обосновывает использование термина лингвистически. Исходя из двух разных теорий текста, денотативной и коммуникативной, он дает два возможных определения текста – пространственный и темпоральный. Двойственность восприятия текста усугубляет семантика предлога «за», также имеющая пространственный и темпоральный компоненты. А двойственное написание термина (затекст и за-текст) обусловливается образованием слова: в первом случае «классическим префиксальным образом», а во

втором – «переосмыслением предложно-падежной формы „за текст”», тем самым эксплицируя новое терминологическое значение (с. 16).

Материалы остальных пяти глав первого раздела относятся к феноменам первого типа затекста – специфическим проявлениям авторской само-рефлексии. Два автора рассматривают довольно редкую и, как мне представляется, наиболее интересную с точки зрения литературоведения версию затекста, когда авторская рефлексия появляется не за пределами, а внутри собственного художественного текста. В *Главе 3* на материале романа М. Унамуно «Туман» и фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» в качестве затекста анализируется «итоговый текст», включающий в себя рефлексия автора о собственном творчестве и положении в мире искусства и культуры, и прототипом которого считается «Дон Кихот» Сервантеса. А в *Главе 6* проводится анализ «Бледного пламени» В. Набокова, в котором авторский затекст обнаруживается в игре с за-текстом – комментарием и его отношением к основному тексту, с одной стороны, и жизненной позицией автора этого комментария – с другой.

В *Главе 2* описан специфический случай затекста – инскрипт (дарственные слова на книгах), в котором «искусство соединяется с жизнью напрямую, зримо, в строчках» (с. 20). *Главы 4 и 5* по своей тематике примыкают уже ко второму разделу, поскольку в них рассматриваются разного типа эго-тексты. В первой из них в ярких красках представлен мир художника В. Любарова, в том числе его книги-альбомы, в которых «холст и страница [...] существенно дополняют друг друга» (с. 65), а во второй на материале «Детства» М. Горького и «Денискиных рассказов» В. Ю. Драгунского выделяются основные элементы референциальной связи этих произведений с действительностью.

Во втором разделе монографии, тематически наиболее едином, анализируются авторские затексты, то есть эго-документы: записные книжки, мемуары, дневники, а также разного типа тексты, служащие для конструирования авторского автомифа.

В первой главе раздела дается общая характеристика феномена записных книжек и выделяются три дискурсивных тактики авторов, среди которых «главной функциональной значимостью жанра» считается «обретение художественного статуса [записок] в контексте художественного произведения» (с. 123). В следующей главе на конкретном примере записных книжек М. Цветаевой показана эволюция самовосприятия поэта. В *Главах 3 и 4* представлены женские мемуары, в основе которых лежит, с одной стороны, скандальный случай, когда «автор сознательно рассчитывает, что изображение событий в том ракурсе, который он предлагает, вызовет активное неприятие в читательской аудитории» (с. 157), а с другой стороны, происходит «транспонирование» интерпретации определенного произведения (сказки «Зеленая змея») в область реальной истории.

В *Главе 5* второго раздела на материале мемуаров шестидесятников осмысливается проблема жанра, в котором выделяются три составляющих: роман, мемуар и автобиография. В зависимости от их выявленности, как утверждает автор главы, формируются поджанры с ориентацией либо на личную память, либо на память жанра. Примером для первого является «Автопортрет...» В. Войновича, а для второго – «Таинственная страсть» В. Аксенова. Материал следующей, шестой, главы – дневник Ю. Нагибина – можно воспринимать как еще один пример преобладания личной памяти в эго-документе.

Наиболее интригующей главой раздела мне представляется *Глава 7*. В ней рассматриваются три разные стратегии конструирования автомифа. В автобиографической прозе Вик. Ерофеева подчеркивается «идентификационный комплекс» (с. 234), нарушающий традиционные законы жанра *in memoriam* и автобиографии. В активном присутствии Т. Толстой в интернет-пространстве усматривается стремление «конструирования автомифа – образа себя, который отчасти повлияет на литературную репутацию и на восприятие автора читателем» (с. 243). А в жизни и творчестве братьев Стругацких выделены общие составляющие автомифа как такового, например, «примечательный элемент биографии», точный канон, окружение, которое либо враждебно по отношению к писателю, либо состоит из его последователей и учеников и т.д. (с. 264–265).

Третий раздел монографии посвящен проблемам рецепции и соавторства – за-тексту. В большинстве глав авторы сосредоточивают свое внимание на определенном историческом периоде, на его отражении в нехудожественных текстах. В *Главе 4* этого раздела показана авторская позиция ученого-гуманитария Е. Менегальдо, ее взгляд «не совсем извне и не совсем изнутри» (с. 330) по отношению к русским эмигрантам в Париже в первые десятилетия XX века. В следующей главе монографии сравнивается образ советской России в восприятии русской эмигрантки, оказавшейся в Чехословакии, и чешских интеллектуалов, посетивших СССР в 20-е годы. В *Главе 6*, в которой термин за-текст использован в значении «контекст эпохи», на конкретном примере судьбы екатеринбургской писательницы Н. Поповой и ее рассказа «Встреча» продемонстрированы «скрытые и явные взаимосвязи между творческими устремлениями советских литераторов и тем внешним влиянием, которое система стремилась оказывать на них» в послевоенные годы (с. 673). В последней *Главе 7* третьего раздела показано, как отражается жизнь творческой элиты шестидесятых годов в «узловом произведении» Б. Мессерера (с. 373) «Промельк Беллы».

В центре внимания авторов первых трех глав третьего раздела стоит не столько историческая эпоха, сколько творческий процесс и его рефлексии. В первой главе дается обзор истории серии ЖЗЛ, в которой выделены три периода и, соответственно, три разных установки авторов биографий. Вторая и третья главы раздела тематически примыкают к теме

авторской саморефлексии. В первой из них (*Глава 2*) анализируются пометы И. Бунина на полях трех книг, в том числе и его «Воспоминаний», а во второй (*Глава 3*) рассматриваются письма Л. Андреева – своеобразная реакция писателя на реакцию читателей по поводу его рассказа «Бездна».

Как показывает этот краткий обзор монографии, в ней представлен богатый и разнообразный материал, на основе которого рассматриваются возможности применения термина «затекст». Разнообразие материала, с одной стороны, демонстрирует актуальность термина, потенциал, который скрывается в нем для осмысления явлений окололитературной сферы (если литературу воспринимать в узком смысле, т. е. исключительно как художественную), с другой стороны, настораживает возможность такого широкого применения термина.

Автор седьмой главы первого раздела обращает внимание на то, что ни во внетекстовой реальности, ни в случае авторского и читательского конструктов практически невозможно ограничить и определить то, что находится или возникает «за» и поэтому затруднительно четко очертить круг явлений, толкуемых термином затекст/за-текст. Другая сторона проблемы, как мне кажется, заключается в том, что не в достаточной мере ограничен и оговорен другой аспект термина, а именно за пределами чего существуют затексты, по отношению к чему можно говорить о них. Материалы монографии свидетельствуют о том, что это чаще всего не только один текст, но и жизнь или жизнь и творчество отдельного писателя, или целая эпоха, и только иногда одно конкретное художественное произведение или определенный корпус текстов. Поэтому монография побуждает к дальнейшим размышлениям о сущности затекста и его отношении к первичному тексту.

Как утверждаетса в Предисловии, благодаря коллективному исследованию «вырисовывается общее направление» изучения явлений, обозначенных термином затекст/за-текст (с. 10). Есть надежда, что после выявления широкого круга его возможных применений, профессионально сделанного в этой монографии, работа продолжится и определится более узкий, специфический круг его употребления в следующем выпуске уникальной серии о периферийных явлениях литературы.